

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ 9 1992

9 1992

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ —

крупнейшая страховая организация страны — предлагает коммерческим банкам новый вид страхования — **СТРАХОВАНИЕ РИСКА НЕПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА**, а предприятиям, организациям и кооперативам, получающим кредиты, — **СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАЕМЩИКОВ ЗА НЕПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ**.

Вы можете оформить договоры страхования как отдельных кредитов, так и всех кредитов, выданных банком (или полученных предприятием) за год, на страховую сумму в размере кредита и процентов по нему.

Договор с Росгосстрахом — это залог устойчивой хозяйственной деятельности Вашего предприятия, покрытие непредвиденных потерь при минимальных затратах.

Заключить договор страхования риска непогашения кредита и ответственности заемщиков за непогашение кредитов Вы можете в Правлении Росгосстраха по адресу: 103381, г. Москва, Неглинная ул., 23. Телефон для справок: 200-46-82.



ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9

1992

СЕНТЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Руслан КИРЕЕВ. Песни Овидия. Повесть	3
Наталья МАЗО. Сквозняки родных окраин. Стихи	31
Бахыт КЕНЖЕЕВ. Младший брат. Роман. Окончание	33
Лев РУБИНШТЕЙН. Поэзия после поэзии	84
Илья МИТРОФАНОВ. Куклы. Рассказ	88
Асар ЭППЕЛЬ. Пока и поскольку. Рассказ	103
А. И. ДЕНИКИН. Очерки русской смуты. Продолжение	114

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Товар — деньги — товар

Э. РУДЫК.
О собственности работников без гнева и пристрастия **146**

Гуманитарный факультет

Пауль ТИЛЛИХ.
Мужество быть. Перевод с английского Татьяны ВЕ-
ВЮРКО. Послесловие Татьяны ВЕВЮРКО и Сергея
ЛЕЗОВА **152**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Томас ВЕНЦЛОВА.
Путешествие из Петербурга в Стамбул **170**

ОТКЛИК

на собрание сочинений Г. К. Честертон в 3-х томах
(Феликс ИКШИН) **177**

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Давид САМОЙЛОВ.
Друг и соперник. Публикация Г. И. МЕДВЕДЕВОЙ . . **178**

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),
И. А. БРЯНСКАЯ (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы),
Н. К. ЛОШКАРЕВА (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН**
(заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 07.08.92. Подписано к печати 31.08.92. Формат 70×108¹/₁₆.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 134 900 экз. Заказ № 1935. Цена 19 р. 90 к. В розницу — цена свободная.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05, заместителей гл. редактора — 214-63-64,
214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии —
214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Песни Овидия

ПОВЕСТЬ

I

Когда лобненский Шурик, худосочный, кривоzubый, в полосатых, напминающих матрас штанах, с язвочкой в желудке и подковообразным шрамом на лбу, превратился за месяц с небольшим в великолепного Гурнова — не столько к радости своей (радость позже пришла), сколько к беспокойному удивлению, минутами переходящему в страх: шутка ли, переместиться неведомо как в другого человека, погибшего на твоих глазах (но не по его, лобненского Шурика, вине, — нет, не по его, что бы там ни говорил Резинкин), — когда сие фантастическое превращение свершилось и бывшие Шурикины знакомые перестали узнавать Шурика, а приятели покойного Гурнова, к счастью, не очень многочисленные, смачно хлопали по широкому, мускулистому, в кожаной куртке плечу, восклицая: «Как! А говорили, ты умер!» — когда непостижимая метаморфоза эта закончила свой дьявольский труд, опостылевшая станция Лобня была, казалось, забыта начисто, но с некоторых пор начала оживать в памяти.

Как и одноименный город, совсем молодой, Шурик знал его еще поселком, располагалась станция от Москвы в тридцати минутах на электричке. Это если без остановок, с остановками же — тридцать пять или тридцать шесть, лобненский Шурик засекал неоднократно, поскольку был, усмешливо припоминал новенький Гурнов, малым дотошным. Дотошным и дисциплинированным. Выйдя из электрички, не сигал с платформы на опасные для жизни пути, а подымался на мост по деревянным, окантованным металлическим угольником скрипящим ступенькам, медленно возносясь над черными гирляндами нефтяных цистерн, над платформами с песком и досками, оранжевыми тракторами и поставленными на попа контейнерами, а также, случалось, над вагонами с живым — вернее, полуживым — грузом, что обреченно хрюкал, ворочался, пищал и взвизгивал, медленно вымирая от голода и жажды. Сутками простаивали на запасных путях эти чудовищные загоны, затопляя густой, вязкой вонью не только станцию, но и многочисленные пристанционные построечки: крохотный зал ожидания с круглой железной печью в углу и билетной кассой, забранной веером стальных прутьев, магазинчик, еще один магазинчик, а также общепитовскую точку, где под хлопанье тяжелой, на пружине, двери пышнотелая Конкордия разливала по пол-литровым консервным банкам пенящееся пиво. (Резинкину, впрочем, подавалось в кружечке.) Слева, если встать лицом к невидимой отсюда Москве, белели в зелени садов домики, а справа торчали облепленные балконами грязные пятиэтажки, от которых начиналось узкое разбитое шоссе, ведущее через лесок и картофельное поле к международному аэропорту Шереметьево.

Грузные «Боинги» пролетали, снижаясь, над запрокинутой головой Шурика. Ах, как нарядны были их сигарообразные тела! Как волшебным мигали над крыльями цветные фонарики! Какой простор открывался из иллюминатора, к которому мысленно припадал стоящий на мосту подросток, мечтательный и косноязычный, презирающий свое провинциальное естество и оттого не упускающий случая покинуть его (как, проломив сургуч, со свистом покидает пыльную бутылку заточенный в нее джинн),

чтобы воспарить в расчерченное международными трассами небо, откуда совсем игрушечными видятся железнодорожные составы, спичечными коробками — дома, а мальчонка на мосту — оловянным солдатиком.

Недалеко от станции щетинилось антеннами среди закопченных труб деревянное строение, при взгляде на которое даже неискушенному человеку становилось ясно, что каким-либо архитектурным планом тут и не пахло: пристраивали, надстраивали, прорубали новые двери, а старые замуровывали, красили окна кто в зеленый цвет, кто в голубой... Самсй древней (и самой теплой!) считалась средняя часть дома, этакое государство в государстве, Ватикан в Риме (самолеты из Рима тоже пролетали), вот разве что не единовластие царило тут, как на святом престоле, а правил триумvirат старух. Каждая занимала просторную комнату — стало быть, их было три в ватиканской квартире, в четвертой же, с маленьким оконцем, ютились Шурик и его мама-прачка.

Прежде это была кладовка. Тазы с ведрами хранились тут, раскладушки, трехколесный велосипедик, на котором, по преданию, катался, приезжая с родителями из Москвы, вундеркинд Резинкин; массивный шкаф, некогда принадлежащий известному купцу, с сыном которого, по словам того же Резинкина, была помолвлена его двоюродная бабка, ящик с песком, где зимовала морковь, до весны сохраняя сочную свежесть, связки старых журналов, позже, в макулатурные уже времена, со вздохом поминаемые старухами, проволочные скелеты абажуров, чучело совы и прочие замечательные вещи. Теперь от них остались лишь воспоминания. Еще осталась дверца купеческого шкафа, резная и темная, из мореного дуба — так, во всяком случае, утверждала хозяйка, которая, блюдя верность канувшему в небытие жениху, держала дверцу у себя в комнате.

Старухи кашляли, сморкались, что-то бормотали себе под нос, шаркали подагрическими ногами и шуршали бумажками, выковыривая морщинистыми пальцами то конфету из фантика, то колбасу из целлофановой оболочки, то — из газеты — окаменелый сыр; неискушенному слуху звуки эти мало что говорили, но для опытного Шурика служили опознавательным знаком. (Вот так же угадывал по шуму двигателя, что за самолет идет на посадку.)

— Мореная Дверца, — предупреждал мать, и в следующее мгновение, требовательно постучав костяшками пальцев, на пороге вырастала темнолицая сморщенная невеста купеческого сына с охалкой белья, на фоне которого алели длинные ноготки, как, напоминая о былом цветении, продолговато алеют лаковые плоды на сухом облетевшем шиповнике.

— Возьмешь? — цедила.

— Чего ж не взять! — хихикала мать. — Кидайте...

Старуха, расцепив руки, роняла белье на пол, после чего долго отряхивала древние ладошки — вспыхивали юные ноготки, — а взгляд буравил Шуриkinу этажерку с радиотехническими причиндалами: как раз на этом месте стоял когда-то знаменитый шкаф, который шалопай Резинкин выманил якобы для реставрации, и — концы в воду, лишь дверца осталась.

Молчаливо покидала работодательница бывшую кладовку, и тогда прачка принималась разбирать белье, чтобы назавтра унести его, конспиративно прикрытое газеткой, в детский садик, в теплый и сырой подвал, куда очень любил приходить, улизнув от воспитательницы, маленький Шурик. Громыхало тут, как на железнодорожной станции, вот разве что не по рельсам стучали незримые колеса, а в утробе неуклюжих, брызгающих пеной машин, которые давно уже обещали заменить на новые, опрятные и умные, умеющие все делать самостоятельно. Ах, как ждали их обитатели кладовки: мать и сын, но это не в первую очередь, а в первую — когда умрет какая-нибудь из ватиканских старух: матери клялись, что освободившуюся комнату отдадут ей.

Старухи, однако, не умирали. Болели — то одна, то другая, жаловались на давление и желудок, раз даже Мореную Дверцу прихватило так, что пришлось вызывать «Скорую», но умирать не умирали.

«Скорую» вызывал Шурик. На почту летал — лишь на почте тогда и был телефон, — мысленно рисуя, как под вой сирены подкатывает маленький, с красной полосой автобус, распаиваются дверцы — сразу две, и двое в белых халатах, мужчина и женщина, стремительно входят в дом.

Тут уж занемогшей долгожительнице не останется ничего иного, как испустить дух: мыслимо ли, чтобы этакая торжественность закончилась пшиком!

Увы, торжественности не было. Не «рафик» приехал, а древний, с помятым боком «ЗИМ», остановился и стоял, показалось Шурику, долго, потом наконец дверца медленно открылась, но секунду или две никто не появлялся, и вдруг высунулся костыль. Настоящий костыль, желтый, с черной нашлепкой, а следом выбрался небритый мужик с сигаретой во рту. Поверх красного свитера был накинут белый, короткий, с одним почему-то рукавом халат. Опершись о дверцу, делал энергично прощальные затыжки, а взгляд с изумлением обегал разноцветные оконца и осторожные выступы, нечто вроде балкончиков, на которых сушились малиновые стеганые одеяла, низки изогнутых рыбешек, велосипедная шина, синяя железнодорожная шинель, а также пейзаж «Мишки в сосновом бору» в золотой, хоть и облупившейся кое-где раме.

— Ну и марципан! — весело сказал доктор и, отбросив щелчком сигарету, приземлившись к ногам Шурика, как маленький «Боинг», зашкандыбал к подъезду.

Окурок сиротливо угасал, и вместе с ним угасал в душе впечатлительного Шурика огонек надежды. Бабка оклемается, чувствовал он — ох, оклемается! — (это старческое «ох» было характерно для юного Шурика) и оказался прав: не прошло и десяти минут, как эскулап на костыле проскакал обратно, и свитер еще ярче горел на жизнерадостной докторской груди, и рукавов на халате было два, и дымилась сигарета во рту, и дребезжащий «ЗИМ» укатил, заваливаясь на одну сторону, а уже к вечеру Мореная Дверца приволокла очередную порцию белья.

Еще не стемнело, но мать включила торопливо свет, и на этажерке вспыхнули в стекляшках радиоламп огненные точки. Воскресшая гостья смотрела на них как-то особенно пристально, и точки начали вдруг меркнуть, исчезать вместе с лампами. Растворились в уплотившемся воздухе ребристые детальки, потемнели лохматые пучки цветных проводков, и все хлипкое сооруженье о четырех ногах тоже потемнело, загустело, раздалось вширь и ввысь, и замороженный радиолобитель узрел на месте захламленных полочек тяжелый купеческий шкаф с той самой стоящей в старухиной комнате дверцей. Разглядел даже замочные скважины на продолговатых медных пластинках и вырезанные из темного дерева гибкие длинные кисти рук.

Куда вела волшебная дверца? Не в тот ли яркий, праздничный, в огненных рекламах мир, откуда прилетели усталые «Боинги»? Из иллюминатора хорошо виделся не только Марципан с его малиновыми одеялами, но и отсвечивающий солнцем купол аэропорта, повернув же голову, можно было схватить нечаянным взглядом уплывающее назад, чуть накрепившееся — удивительно, как не проливается вода! — круглое, почти безупречной формы озеро, сплошь белое от чаек.

Называлось озеро Киево. Слово это Шурик впервые услышал из уст лобненской школьницы Юлии, узколицей и златоглазой, причем лицо ее делалось еще уже, а глаза еще золотистей, когда она стояла, тоненькая, на железнодорожном мосту под лучами солнца, по-вечернему зависшего над аэропортом Шереметьево.

— Киево? — переспросил он. — Кажется, есть такая авиакомпания.

Про авиакомпанию Юлия не слыхала. Она вообще не жаловала техники, даже японской — ни «Сони», ни «Шарп» не вызывали у нее священного трепета, к самолетам же относилась почти враждебно: чаек пугают, поэтому надо, дескать, перенести аэропорт.

Так сказала, стоя на железнодорожном мосту, лобненская школьница Юлия, и Шурик, который тоже стоял на мосту, усмехнулся ее наивности.

— Лучше уж, — молвил он, — перенести озеро.

Что тут было! Юлия нахмурилась, Юлия топнула ножкой (мост отозвался гулко), а в глазах, в золоте глаз, блеснул серебром клинок гнева. Как смеет он говорить так, озеро тут еще с ледников, его весь мир знает.

— Киево-то? — сказал недоверчивый Шурик. — Это каким же образом?

— По кольцам, — сказала Юлия. — Чайкам кольца на лапки надевают, сама видела. А на кольце все написано.

— Но, чтобы прочесть, — напомнил Шурик, — надо сначала поймать ее. Или убить, — прибавил он негромко.

Юлия нахмурилась. Опустились ресницы, на лбу складочка пролегла, потяжелел портфель в руках, вот только бантики оставались легкими — зеленые бантики в светлых и гладких, как крыло чайки, волосах, которые тихонько шевелил ветер, долетая с озера Кієво, еще помнящего гигантских ящеров с бусинками живых обреченных глаз.

Со стороны Москвы приближался зеленый вихрь — то была электричка на Дубну. Когда она со свистом пронеслась (дубненские электрички не останавливаются в Лобне), Шурик сказал:

— Можно сделать кольцо, которое на расстоянии сообщает о местонахождении птицы.

Под мостом лязгнуло, и посыпался, нарастая, металлический грохот: это маневренный тепловозик, подкравшись, ударил товарный состав — длинное тело его содрогнулось, из конца в конец пробежала звуковая волна, и в шалмане у Конкордии задрезбжали на мокром подносе банки с пивными потеками.

— Как ты сделаешь? — сказала Юлия.

Он загадочно улыбнулся — загадочно и не очень широко, потому что стеснялся своих кривых зубов, — улыбнулся, кивнул: пошли! — и взял портфель из девичьих рук. Юлия подчинилась. Женщина всегда подчиняется мужчине, если это настоящий мужчина, а Шурик сейчас был настоящим: огонь вдохновения пылал в глазах, напряглись мускулы, и ноги твердо ступали по скрипящему настилу моста, который вовсе не мостом был в эту минуту — нет, не мостом! — а быстрокрылым парусником. В океанском просторе неся он, по легким волнам, из которых выпрыгивали, серебрясь, рыбешки, — летающими зовут их моряки, а кроме на много миль вокруг ничего летающего не было, даже чаек: слишком далеко от земли, но что значит далеко, какое это имеет значение, коли борт оснащен хорошей рацией! Весь мир слышит она, и ее слышит весь мир, как будет слышать окольцованную птицу, если вместо глухой железяки лапку обхватит специальный прибор, почти японский, фирмы «Кієво», запатентованное изобретение лобненского кудесника.

2

Гурнов, в котором не без трудностей и накладок обустроился Шурик, подобным фантазиям не был подвержен, он, судя по всему, сызмальства отличался трезвостью взгляда, хотя наверняка уроженец Лобни сказать не мог, он вообще опасался копаться в прошлом своей новой обители, особенно в далеком прошлом, и, как выяснилось, опасался не зря...

В тот день он в отличном расположении духа вышел из мастерской, где доводил до ума «Панасоник», приблизился к бежевому «Вольво», незаметно потер магнитной плоской лобовое стекло, блокируя противоугонное устройство, сунул ключ в дверцу, повернул — о, эти последние мгновенья безмятежной жизни! — грузновато опустился на низкое покорное сиденье, причем грузноватость эта была приятна бывшему лобненцу, поскольку подтверждала реальность его нынешнего бытия, и автомобиль тронулся. Одновременно, машинально отметил он, тронулся красный мотоцикл с наездником в белом шлеме. Гурнов не придал этому значения — мало ли кто раскатывает по Москве! — но когда мотоциклист, лицо которого было прикрыто пластмассовым щитком, свернул вслед за ним сперва налево, потом направо, потом снова налево, потом, едва Гурнов остановился, — остановился тоже и, не таясь, ждал, пока тот купит пачку сигарет, хотя сигареты у Гурнова были, причем хорошие сигареты, не чета тем, что продавались здесь по талонам, — ждал, не подымая пластмассового щитка, и двинулся, как только двинулся «Вольво», — когда все эти маленькие и вроде бы случайные звенья соединились в цепочку, которая вела неведомо куда, Гурнов, человек не робкого десятка, заволновался. Хвост! В детективных фильмах сие именовалось хвостом и требовало от преследуемого умения маневрировать.

Обладал ли Гурнов таким умением? Несомненно, и тем не менее воспользоваться им не спешил, ибо, если хвост будет отрублен (хотя как отрублен? Мотоциклист не отставал и раз даже проскочил на красный свет), то каким образом узнает он, чем, собственно, привлекла внимание его персона? Так с полным самообладанием и даже не без иронии рассуждал король импортной техники, но это сейчас с самообладанием, это сейчас не без иронии — ну, привлекла и привлекла! — первое же время после превращения, когда только-только привыкал к новому облику и, запершись в ванной, подолгу разглядывал в зеркале наливающееся соком и силой уверенное лицо, в котором на глазах отмирали последние черточки скучной лобненской физиономии с подковообразным шрамом на лбу (шрам разгладили в ночь с четверга на пятницу) и язвенной бледностью (боли в желудке как рукой сняло; без опаски уплетал маринованный чеснок и мясо с аджикой) — первое время старался пребывать в тени, в чем вообще-то таилось известное противоречие, ибо Гурнов, в которого стремительно и необратимо трансформировался Шурик, был как раз постоянно на виду. Не случайно, впервые войдя в мастерскую, дитя Марципана сразу выделил среди других ладного, крепкого, излучающего свет — солнечный свет! — молодца в кожаной, на молниях куртке.

Тот не остался в долгу: заметил, снизошел, осведомился, чем может быть полезен.

— Я от Резинкина, — произнес Шурик, как произносят пароль, и пароль подействовал: белозубо улыбаясь, Гурнов протянул руку.

— Александр... Ваш, если не ошибаюсь, тезка. Ты ведь из Лобни? Резинкин рассказывал о тебе. Гений, говорит.

Шурик, юноша скромный, запротестовал было, но Гурнов предостерегающе поднял палец.

— Не трепыхай — он и меня зовет гением. Хотя, если кто из нас гениален, так это он. Пьет?

Шурик замаялся. Но не потому замаялся лобненский Шурик, что не хотел выдавать покровителя своего и отчасти земляка, ибо племянник Мореной Дверцы публично клялся, что Лобня для него как дом родной, — не потому, не только потому, а еще от внезапной тесноты в области сердца (она, теснота эта, и прежде была, но Шурик не замечал), от косноязычия своего, от неумения говорить в полный голос и неумения в полную грудь дышать. О великолепный Гурнов! Стоя в ту ночь у распахнутого кухонного окна, по одну сторону от которого, за Шурикиной спиной, вздыхали и чмокали во сне ватиканские старухи, а по другую взвизгивали в вагонах обреченные свиньи, рокотал, вскрикивая, маневренный тепловозик да время от времени вырывалась из репродуктора шальная скороговорка железнодорожной бабы, вверху же длинно гудели, подмигивая огненным глазком, идущие на посадку «Боинги», — стоя у окна, ощутил Шурик всем своим сдавленным, как те бедные животные, естественным холодный простор вокруг и захотел в этот простор шагнуть — вот-вот, шагнуть, из Марципана выйти, постылого Марципана, из Лобни выйти, постылой Лобни, из самого выйти себя — о великолепный Гурнов! — он спал в своей столичной постельке, ни о чем не подозревая, без храпа спал и сновидений — о несчастный Гурнов! — он спал, не ведая о тучах, которые уже сгущались над ним, зато над Шуриком небо было звездно и глубоко, Шурик вглядывался в него расширенными глазами и слышал — без всяких раций, без всяких колец и лукавых перстней, — хорошо, ясно слышал, как вполголоса переговариваются с землей иностранные пилоты...

Остановленные светофором «Вольво» и красный мотоцикл замерли рядышком, колесо к колесу, и тут поднялось пластмассовое забрало, явив обсыпанную веснушками, отнюдь не злую, а очень даже добродушную ряшку. Незнакомец подмигнул одним глазом, в то время как другой ласкал автомобильного человека — именно ласкал, преданно и влюбленно, как отца родного, и такая чистота была в этом взоре, такая ясность, что Гурнов различил в пространстве зрачка отсвет вспыхнувшего наконец зеленого ока. В тот же миг упал пластмассовый щиток, преследователь тронулся одновременно с преследуемым, колесо к колесу, и проехали так до следующего перекрестка, где опять остановились, и опять поднялось за-

брало, и ласково, как на отца родного, глянула конопатая рожа, и веселый голос произнес:

— Здравствуй, батя!

Лобненский Шурик наверняка б растерялся, он был нерасторопен на язык и медлителен на действия, он, как говаривал Резинкин, выжидал брачного контракта с жизнью, в то время как сия ветреница предпочитает флирт, но то Шурик, человек Лобни, а находчивый Гурнов отвечивал как ни в чем не бывало: здорово, сынок! — и они двинулись дальше. Куда? К бассейну «Москва», источнику бодрости и здоровья, — Шурика сюда на аркане б не затащить было, так стеснялся своей худосочной плоти, зато Гурнов обожал воду. Не заросшую осокой, изгаженную чайками, в перьях и пуху лужу по имени Киёво, а воду прозрачную и легкую, пронзенную насквозь солнечным светом, который распадается слоисто на цвета радуги, и цвета эти играют на теле пловца — розово-матовом, в синих плавках.

Гурнов натянул их, обдав себя под душем сперва почти кипятком, потом почти родниковым холодом, дабы смыть, как наваждение, как дурной сон, воспоминание о наглом мотоциклисте, надел, чмокнув резинкой, очки для купания, спустился на пружинящих ногах по теплому кафелю и, поднырнув, вырвался на залитую солнцем поверхность. Огляделся. Дорожка его была пуста, да и на соседних — ни души, и он, взяв воздуха, снова ушел под воду, теперь уже надолго, горизонтальный, невесомый, удлинившийся, с вытянутыми, ладонь к ладони, руками (на правой кольцо сверкало), — ушел и парил, раскрыв под крепкими стеклами глаза и не топе плавно замедляющего ход тела, не подталкивая (хоть бы палец на ноге шевельнулся!), а навстречу, с удивлением обнаружил вдруг пловец, двигалось другое тело — именно навстречу, по той же дорожке, вот разве что без очков, но глаза были распахнуты — преданные, ласковые, в окружении веснушек глаза.

Гурнов — неслыханное дело! — потерял равновесие. Гурнов забарахтался и попытался было встать на ноги, но такое близкое, такое доступное, в квадратиках кафеля дно ушло косо в глубину, и он, вынырнув, вынужден был держать себя на поверхности круговыми и несколько нервными, что тоже не характерно для Гурнова, движениями рук. А мотоциклист стоял! Стоял, улыбался, приглаживал ладонями светлые волосы.

— А ты, батя, — сделал он комплимент, — клево плаваешь. Сразу видно, что на море родился.

Тут наконец дно вернулось. Гурнов уперся в него мускулистыми ногами и поднял очки.

— Во-первых, молодой человек, я не на море родился. — И помотал головой, вытряхивая из ушей воду.

— А где? — еще шире раскрыл глаза конопатый увалень. (Увалень, впрочем, лишь на вид: вон как плавает, вон как держится в мотоциклетном седле и играет татуировкой на бицепсах!)

Гурнов замешкался. Гурнов знал, где родился лобненский Шурик: в вагончике родился, что стоял в тупике на заросших крапивой ржавых рельсах, — несколько лет обитала мать в этой ночлежке на колесах и здесь же разрешилась однажды под утро, не дождаввшись «Скорой», — обронила, скажет потом сыну, да и как не обронить, если на «Скорой» разъезжают хромоногие эскулапы с сигаретой во рту! — но то Шурик, а Шурика нет, так что крапивный тупик тут ни при чем, вон из головы, забыть! — а про южнобережный поселок Гурзуф, что подарил миру Гурнова, завсегда с бассейна «Москва» мало что ведал: стороной объезжал его, бывая в Крыму.

— Вообще-то, — молвил он, — я польщен, что у меня вдруг объявился сыночек.

Увалень расплылся, обнажив крепкие, белые, прямо-таки гурновские зубы.

— Я долго искал тебя, папочка.

— Зачем, милый?

— Как зачем? Разве ты не рад видеть отпрыска, которого оставил, когда ему было четыре месяца? Минус четыре.

— Минус?

— Минус, папочка, минус — если за ноль принять день моего появления на свет. У тебя как с математикой-то? Нам еще, — посулил он загадочно, — математика пригодится. — И вновь обнажил белые, крепкие, совсем как у Гурнова, зубы.

Но ведь зубы, подумал записываемый в отцы, это еще не доказательство. Не документ с подписями, не метрика, не свидетельские показания...

Сам он никогда не пытался разузнать что-либо о своем родителе, за чем, ему хватало поросших крапивой ржавых рельсов, где стояло когда-то общежитие на колесах, — Шурик еще застал его. Потом вагончики исчезли, но рельсы остались, только еще больше поржавели и еще больше заросли крапивой, в которой сверкали консервные банки со вздернутой крышкой да поблескивали изогнутые цветные стекляшки явно бутылочного происхождения, — одна из них и оставила на лбу подковообразный шрамик. Чуть в стороне, на вытопанном пятачке, лежала галоша, аккуратно высланная изнутри газеткой, на которой светлели крошки хлеба — культурные, видать, люди пировали! Сквозили обглоданные рыбы скелеты, белела алюминиевая ложка, погнутая и скрюченная, валялись шпильки для волос, расческа с двумя или тремя зубьями, обложка букваря, а также использованный презерватив — не здесь ли, подумал Шурик, и был зачат он, прямо у вагончика, ибо в вагончик хахаля не приведешь, впритык, рассказывала мать, стояли койки, — по собственной рассказывала инициативе, он о прошлом не спрашивал, зачем ему прошлое, в будущее была устремлена мечтательная Шурикина душа, только в будущее, где огромными резными листьями серебрились на солнце пальмы, где на белых кортах летали быстроногие мужчины (Шурик занялся теннисом уже на последней стадии метаморфозы), а бледнолицые женщины, хрупкие, как из фарфора, — фарфоровые женщины! — поджидали их на террасах кафе за вазочкой тающего мороженого — без всяких, разумеется, чад в возрасте минус четыре.

— Тебя как зовут-то?

— Левушка, — расплылся юнец. — Как и хотел ты.

Гурнов щелчком сбил с плеча капельку воды.

— Ты уверен?

— В чем, папа? В том, что Левушкой хотел? Или — что отпрыск твой? Твоя кровинушка... Могу, если хочешь, предъявить доказательства.

— С печатью? — улыбнулся Гурнов.

— Еще с какой! Только надень, пожалуйста, очки, — попросил белобрысый негодяй.

Белобрысый... Теннисист задумчиво смотрел на новоявленного сыночка. Вообще-то, припомнил он, лобненский Шурик посветлел, когда началось превращение, и быстро посветлел, за два или три дня, но все же не до степени белобрысости.

— Очки, батя, очки! Которые на лобике у тебя... — И, протянув руку, аккуратно опустил водозащитные стекла. — А теперь — ныряй.

— Нырять?

Резинка, одернутая чужой неумелой рукой, сдавливала уши.

— Ну, хочешь, сначала я? — предложил любезный юноша.

Сдавливала, да, но поправлять не торопился, ибо это было б расценено как согласие на ныряние.

— Жду тебя там, папочка! С доказательствами! — Шантажист подмигнул и, набрав полную грудь воздуха, погрузился в воду.

Гурнов огляделся. Бассейн, разливший свои хлорированные воды на месте бывшего храма, был по-прежнему пуст, в отдалении равнодушно гудела Москва, и прямо над головой сверкало солнце — совсем как в том пальмовом, с фарфоровыми женщинами, беззвучном мире, о котором грезил под храп ватиканских старух лобненский Шурик и который, оказывается, готовил ему исподтишка этакий сюрпризик. За что? Чем прогневал он, как выразился бы Резинкин, капризное провидение — то самое, что в один прекрасный день погладило по головке оброненного в крапиву, и в клевер превратилась крапива, в мягкий, душистый, с розовато-кремовыми цветочками клевер, и посветлели волосы (однако не до белобрысости!), и плечи раздалились, и расправилась подковка на лбу, и выровнялся почерк (Шурик писал, как курица лапой), и вылетели из башки ду-

ракие мысли о дурацких перстнях, и силой налились мускулы, и левая рука стала правой, ибо левой был теннисист Гурнов, что, несомненно, давало преимущество на корте и что, очень может быть, послужило причиной (одной из причин) смерти, свидетелем которой Шурик был, он не отрицает, но лишь свидетелем, нечаянным и пассивным, то есть никого не выталкивал, дабы занять освободившееся место, просто его, беспомощного, втянуло в воронку чужой судьбы, засосало со свистом, однако это еще не повод для сюрпризов из прошлого, по счетам которого он не намерен платить, как не намерен нырять за доказательствами, — ишь, захотел чего, красавец татуированный! — но тут его взяли за ноги, не сильно взяли, но цепко, дернули на себя, слегка приподняли и бережно опрокинули в теплую воду.

Что увидел, разжав глаза, аристократ Гурнов? Не усыпанную пшеном круглую ряшку, нет, — нечто более крупное, нечто более белое, безупречной, классической, сказал бы Резинкин, — формы, и не с двумя, а с одним, точно посередине глазом — оскорбленный Гурнов чуть не захлебнулся, глаз же взирал на него с королевским бесстрашием, а внизу, как шарфик вокруг шеи, желтели припущенные плавки.

Прежде, чем наступать дно, которое снова ушло в невиданные глубины, производимый в папаша разгледел на левой ягодице родимое пятно в форме рыбки. Небольшой такой рыбки с плавником и хвостиком. Это-то, как выяснилось, и было доказательством. Это и было печатью, о которой столь неосторожно обмолвился шутник Гурнов, — точно такая, объявил Левушка, вынырнув, красуется у родителя, то бишь у Гурнова, в чем он, Левушка, к радости своей и теперь уже полной уверенности, убедился, пардон, полчаса назад — в душевой, собственными глазами.

— И тоже ведь, палочка, слева. Обратил внимание?

Гурнов медленно стянул очки. Не вверх поднял, как давеча, а стянул, будто плавки, вниз. Стремителен и чудесен был процесс превращения, напорист, и он следил за работой таинственных сил с вниманием неослабным, отмечая каждую новую черточку, каждый новый штрих и каждую родинку, но следил за лицом, следил за шеей (именно с шеи началась метаморфоза — укоротилась слегка и расширилась, утоп кадык), за руками следил, за ногами, за грудью и животом, за пупком, который, наконец-таки, ушел внутрь, как то и положено у взрослого человека, но ему и в голову не приходило подвергнуть обзору ту часть тела, что самой природой скрыта от наблюдения.

В тот же день, вернувшись из бассейна домой, — прямиком, не заезжая в мастерскую, — исправил оплошность. И убедился (включив в качестве дополнительного источника света настольную лампу): Левушка прав, рыбка плавала себе безмятежно, как в аквариуме у Юлии.

3

Цвела черемуха, когда Юлия в парадной школьной форме — чайкой распластался белый фартучек — вела Шурика к древнему озеру. Цвела черемуха — поверх крашенных заборов, зеленых и голубых, как марципановые окошки, клубились душистые облака, но то все-таки был не белый цвет, не настоящий белый — настоящий они увидели, когда взору их предстали в пронзительном гомоне полчища птиц. Резкие, остервенелые какие-то крики рвались из медленно разеваемых клювов — крики любви? Крики гнева? А может, голода? — уж больно стремительно атаковали рыжебородого человека с целлофановым мешочком, в который он размеренно запускал руку, что-то бросал в воздух, и чайки с предсмертными воплями расхватывали на лету, удивительным образом не сталкиваясь друг с другом. Какая, восхитился Шурик, реакция! Какое искусство лавировать в толчее! Стало быть, уже тогда ценил эти качества, поэтому удивительно ли, что Гурнов заморозил его, — ах, как быстро, как весело, как точно реагировал на все, хотя с равным правом можно было сказать, что это не он реагировал, нет, это мир приспособлялся к нему, угадывал ритм его, его тайные желания и возможности, которые, впрочем, пребывали в гармонии. Шурик сам был свидетелем, как Гурнов подхаживал не спеша к остановке, на которой бурлила толпа, а следом подкапывал откуда ни возьмись чистенький — сверкали стекла — автобус и

тормозил таким образом, что дверца раздвигалась как раз перед гурновским носом. Пока народ отталкивал друг друга, хрипел и матюгался, Гурнов спокойно входил в салон, садился и брал забытую кем-то газетку, которая всегда оказывалась «Советским спортом», — иных газет баловень судьбы не читал, — открывал наугад и пробегал удовлетворенным взглядом отчет о победе родной команды. Другие команды, нелюбимые, пусть даже их было большинство, или не выигрывали, или сведения об этом не находили Гурнова.

Роняя перья, чайки обстреливали бородача, невозмутимо погружающего руку в бездонную свою кормушку, — прямо-таки водоворот клокотал и ченился. Юлия пошарила в карманах фартучка, не нашла ничего, и тогда добрый Шурик расстегнул портфель и долго копался в поисках съестного. О да, добрый, хоть и надеялся, вызывая «Скорую», что Мореная Дверца даст дуба, однако старая карга жила и жила и при этом сохраняла ясный ум — настолько ясный, что, увидев Шурика, который давно уже был не Шуриком, а Гурновым, так пристально всматривалась в него, так цепко и грозно, что сквозь кожаную куртку, по которой хлопали, не подозревая о подвохе, дружки покойного Гурнова, стал медленно проступать лобненский заморыш.

К сожалению, даже засохшей крошки не оказалось в Шурикином портфеле, зато под руку попал листок с контрольной, уже проверенной, и юный авиаэксперт, умеющий на слух отличить «Бонинг» от «Каравеллы», сотворил уверенно-быстрыми движениями самолетик, который тут же — Юлия даже полюбоваться не успела — запустил, недлинно размахнувшись. Глупые чайки сликировали на него с алчным криком. Голодный, взъерошенный, сорящий перьями ком, в который слепились птицы, через миг распался, однако самолетика и след простыл. Куда делся он? Пытливый Шурик долго будет ломать голову над сей лукавой загадкой, но ломать зря, не по зубам окажется ему метафизический орешек (орешек-то был метафизический), и, лишь когда интеллектуал Резинкин, глядя на Гурнова сквозь треснутые очки, откроет везунчику всеобщую теорию метаморфоз, Шурик, вернее, бывший Шурик, вспомнит свой первый визит на доисторическое озеро и постигнет в беглом смятении, какая огненная зависть охватила — спалив! — бумажную птицу к птицам живым, одна из которых ружула за жертво в шуршащую осоку.

Юлия не заметила этого. Она вообще много чего не замечала — это при ее-то наблюдательности, при ее умении обнаружить на сирени первую лопнувшую почку, первую и пока единственную, потому что Шурик, как ни старался, второй отыскать не мог: лишь приготовились, лишь замерли в ожидании, а эта взорвалась, и Юлия, которая кормила в аквариуме рыбок, услышала взрыв и выбежала на улицу с голубым пластмассовым совочком — тут-то ее и застал Шурик возле голого куста сирени.

Оказалось, не такого уж голого, один узелок с одежкой раскрылся, на что она торжествующе указала гостю. Он вежливо посмотрел, удивился слегка ее воодушевлению — подумаешь, почка! — но другой не нашел, хотя глаз у Шурика был тренированный: вон как ориентировался в тоненьких цветных проводах и микроскопических клеммах! На совочек посмотрел, чуть влажный, с прилипшей розовой крошкой, и они отправились вдвоем докармливать рыбок.

Родителей дома не было. В Венгрию укатили родители, по туристической путевке, с дочерним наказом привезти компрессор для аквариума, витаминизированного корма, а также снотворного для черепахи, что никак не впадала зимой в спячку, — ворочалась и шуршала ночи напролет подобно ватиканским старухам.

— И тебе не страшно? — спросил взрослый, шестнадцати неполных лет мужчина. — Одной-то?

— Я не одна, — сказала Юлия и посмотрела на аквариум. — Но сегодня страшно. Гроза будет... Я, — призналась она, — ужасно грозы боюсь.

Взрослый, шестнадцати неполных лет мужчина шагнул к окну, за которым недавно взорвалась почка, и опытным взглядом окинул небо. Облитый солнцем, шел на посадку отечественный «ИЛ» — трудно шел, медленно, из последних дотягивал сил, а вокруг — ни единого облачка. Какая гроза, Юлия, о чем ты! — но внезапно странное томление ощутил

в груди, пересох рот, и взгляд соскользнул с небесных высот на грешную землю, к кустам малины, а точнее, к прутьям, еще, как и сирень, не зазеленевшим, — вдоль забора сквозили, поверх которого недвижимо бледнело печальное лицо мальчика-соседа. Какая гроза, Юлия, о чем ты, а сам уже волновался, не грозу предчувствуя (Шурик был плохим синоптиком), что-то другое, и это другое, предчувствовал он, случится сегодня, может случиться, вот-вот, может, но не случится — нет, не случится! — чего насмешливый Гурнов не простит ему.

Мальчишеские глаза над сквозящей малиной не двигались, ждали чего-то и тоже вроде бы собирались зазеленеть.

— Кто это? — спросил Шурик.

— Тортила, — ответила юная хозяйка. — Она тоже грозы боится.

— Какая, — возмутился он, — Тортила? Какая гроза, Юлия, о чем ты говоришь!

Она сказала, что говорит о черепахе, — это же черепаха возится, разве не слышит он и разве не о ней спрашивает?

— Я спрашиваю, — сказал Шурик, — о том типе, что глазеет сюда. Вон!

Не подходя к окну, издали бросила Юлия взгляд на малинового мальчика.

— Это Саня. Он любит меня.

Это, сказала она, Саня, он любит меня, и вся напряженная, но не потому вовсе, что смотрел кто-то, а потому, что надвигалась гроза, — вот из кого вышел бы отличный синоптик! — вся напряженная налила молока в блюдце, из которого полакал сначала пятнистый, как маленькая пантера, кот, а потом, с топаньем выбравшись из-под шкафа, окунул черный фыркающий нос ежик, — а мальчик все смотрел поверх малины, все смотрел, — Шереметьево же кричало на весь мир: «Гроза! Гроза идет!» — и его слышали в аэропортах Парижа и Сингапура, Лондона и Мадрида (ах, с каким упоением впитывал Шурик эти произносимые мелодичным голосом названия — сперва на русском произносимые, потом на английском: со станции Лобня ходил в Шереметьево-2 рейсовый, за десять копеек, автобус), — а мальчик все смотрел поверх малины, все смотрел, не замечая, как посвежел ветер, как набежали на безупречное небо сперва облачка, а потом тучи, и небо потяжелело, и сгустился мрак, и блеснула — пока что далеко — первая молния, и Юлия прошептала: ты не уйдешь? — и взрослый, шестнадцати неполных лет мужчина, ответил: конечно, нет, куда я уйду, я буду здесь, пока не кончится гроза, а гроза и не собиралась кончаться, вокруг грохотало, будто десятки маневренных тепловозов ударяли одновременно десятки составов, и застыли у взлетных полос неуклюжие самолеты, и замерли чайки на древнем озере Киево — чайки не боятся дождя, вода соскальзывает по перьям, как по желобкам и Юлия постелила гостю в соседней комнате на диване, рядом с клеткой, в которой жили оранжевые попугаи, но гость не торопился ложиться, гость присел на кровать к хозяйке и взял ее холодную руку, и, успокаивая, рассказывал про кольцо, которое будет сообщать о местонахождении птицы, а Юлия слушала и не верила, таких колец, говорила, нет, и Шурик соглашался: нет, но он изобретет, он обязательно изобретет, вот увидишь, и она видела, видела уже сейчас, по его вдохновенному лицу, озаряемому вспышками молний, а мальчик все смотрел и смотрел — при очередной вспышке Шурик выхватил взглядом бледное лицо над забором, — смотрел, не обращая внимания на грозу, не заметив даже, как она началась, и когда кончилась — не заметил тоже, зато Юлия заметила, Юлия успокоилась и затихла, прикрыла глаза, и мужчина, который охранял ее, тихо поднялся, на цыпочках прошел к своему дивану и, не раздеваясь, лег поверх одеяла, — да, не раздеваясь, что будет особенно потешать насмешника Гурнова, — лег и долго лежал с открытыми глазами, вслушиваясь в ночную, а вернее, уже не ночную, уже предутреннюю жизнь чужого, густо населенного — почти как Марципан — дома, только, в отличие от Марципана, не старухи шастали здесь, сморкаясь и кашляя, а жили, дышали, ползали, плескались, чистили клювы маленькие загадочные существа, у которых, наверное, тоже есть свое радио, только человек не слышит его, пока не слышит, но эту мысль изобретатель Кольца, с улыбкой окрещенного Юлией перстнем

Киёво, додумывал уже во сне, а мальчик все смотрел и смотрел, и когда Шурик уходил утром, то зазеленела не только сирень — кто бы отыскал теперь среди раскрывшихся почек ту, первую! — не только прутьки зазеленели, но и глаза над ними, глаза малинового мальчика, который терпеливо и безнадежно (а вышло, не так уж и безнадежно) любил Юлию. Какая Фарфоровая Женщина сравнится с нею!

4

Но это Гурнов понимал, а Шурик — нет. Колдующий над вскрытым «Рекордом» лобненский Шурик — ибо кто же подпустит чужака, пусть даже и протезе Резинкина, к «Филлисам» и «Хиттачи»! — взирал на аккуратно внесшую себя, бледнолицую, хрупкую — фарфоровую! — женщину с тоской и беспомощным обожанием.

— Что-то не записывает, — пожаловалась она, ставя на обитый жестью стол новенький, еще с этикеткой, небольшой красный «Шарп».

— Неужели? — А пальцы — гибкие, зрячие пальцы, мягкие и белые, не чета Шурикиным — уже бежали по аппарату. — Ай-яй-яй... Другой бы на его месте почел за честь запечатлеть такой голос.

— Голос как голос.

— Ну, не скажите! Вы когда-нибудь слышали его?

Ах, как произнес это великолепный Гурнов! Как улыбнулся! Шурик, хоть и сзади сидел, видел эту улыбку, и отвертка в его руке сделалась влажной.

— Не слышала... Он ведь не записывает.

Мастер молчал, но кожаная куртка на мускулистых плечах, таких широких — по сравнению опять-таки с Шурикиными (на четыре размера увеличился за время метаморфозы), — кожаная куртка разгладилась и хитро блестела. Незаметно клавиш нажал, потом еще один, и в тишине прозвучало: «Не слышала... Он ведь не записывает».

Юлия — та бы ахнула от неожиданности, а Фарфоровая Женщина спокойно осведомилась, сколько она должна за работу.

— Ну что вы! — оскорбился Гурнов. — Это я вам должен. Порцию ананасового мороженого. Что вы делаете сегодня вечером?

У Шурика даже щеки вспыхнули. Фарфоровая Женщина — ничего, а у него вспыхнули, но дисциплинированно довел шуруп до конца, замазал отверстие и вдавил гарантийную печатку. Сильно и решительно вдавил, будто клятву дал — темную, самому неясную клятву.

Через неделю баловень судьбы погиб. На глазах у Шурика случилось это — он еще успел заметить, что левша Гурнов работает на испытательном стенде «Осьминог» при включенном рубильнике (по правую руку был рубильник), и остановился неслышно, замер, перестал дышать, и тут-то мощный разряд вышиб дух из неосторожного тела, которое спустя три дня сожгли в крематории Никольского кладбища.

Шурик мучился. Шурик не спал ночами и все прикидывал, успел бы или не успел предупредить, крикнуть, броситься к «Осьминогу», чтобы опустить рубильник, пока однажды его не хлопнули на улице по плечу.

— Привет, старик! А я думаю, Гурнов это или не Гурнов? Постригся, что ли?

Растеряня по голове провел марципановый юноша, и ладонь, заметно окрепшая в последнее время, с удивлением обнаружила на месте свалывшихся вихров ровные шелковистые волосы. В тот же день — это был исторический для Шурика день, граница, водораздел, по ту сторону которого остался смрадный железнодорожный поселок, а по эту неспешно разворачивал проспекты свои, бульвары и площади столичный град, — в тот же день, запершись, стал обследовать себя в зеркале и ошеломленно обнаружил, как сквозь ветхую расползающуюся сетку ненавистной лобненской физиономии проступает, светясь, молодое крепкое лицо возрожденного кумира.

Уже готовый явился он, чистенький, без шлейфа прошлого, о котором бывший Шурик, а ныне Гурнов понятия не имел и не стремился, его не интересовали разные подсобные помещения, где под лязганье ножниц и стрекот швейных машин рождался ослепительный костюм, где само-

забеганно ткали тонкое сукно и отливали блестящие, с фирменным знаком, пуговицы. Можно было, конечно, наведаться в тот южнобережный поселок, под кипарисами которого бегал босиком маленький Гурнов, на пляжах которого загорал и, вытянув руки, нырял с пирса (Шурик, с детства не переносивший воды, открыл после превращения, что отлично плавает), в котором проходил многотрудную школу мужского братства (у лобненского Шурика не было друзей, ибо не считать же Резинкина другом!), а также школу общения с прекрасным полом, законченную им, разумеется, с медалью, — можно было б и наведаться, и пожить, но зачем отягощать себя излишним грузом? Зачем вдыхать запахи кухни? И все же нельзя сказать, что до красного мотоцикла, так бесцеремонно ворвавшегося в его жизнь, подсобные службы совсем уж не давали о себе знать. Что прошлое отмерло, отпало, как отпадает хвост у ящерицы, и ничем не доставало вольного человека. Доставало. То один хлопнет по плечу, то другой, то незнакомый телефонный голос примется расписывать Сандуны, где хлестали друг друга венчиком, — неужто не помнишь? — и он, сосредоточившись, смутно припоминал звонкую, с отяжеленной, ласку мокрых горячих березовых ветвей; то явится из дальневосточной тайги мужик с холщовой сумкой, а в ней — смолистые кедровые шишки, начиненные орехами: это вам, дескать, от Евдокии Яковлевны в благодарность — вы знаете за что. А то смугловатая красотка, невысокая, плотно сбитая, встречается у приемного окна ослепительной улыбкой — будто кедровых орешков, только белых, полон алый рот. Гурнов видит ее впервые, но то новый Гурнов, а старый, судя по лукавым ее глазам, знал ее давно и близко.

Дружески руки ее касается, тоже смуглой, пухлой, в перстнях и колечках, но ей мало этого.

— А поцеловать меня ты не хочешь?

— Прямо здесь?

И уже знает, что ответит она, угадывает по дрогнувшим озорно губам, с которых в следующую секунду слетают слова, которых и ждал он:

— Раньше не боялся!

О, это раньше! Оно надежно, и оно коварно (красный мотоцикл уже приближался), оно заманчиво, как неведомая страна, но, как опять-таки неведомая страна, по которой путешествуешь один и без знания языка, чревато опасностями, оно одаривает орешками и дружески хлопает по плечу, но оно же готово в любое мгновение высунуть большой рыжий кулак рэкетира Левушки и крепко кулаком этим садануть. Но Левушки нет еще, а безымянная красавица уже здесь, уже улыбается белокедровым ртом и осторожно, с легким акцентом, упрекает, что не поцеловал. Что ж, он готов. Даже не обернувшись, наклоняется и чмокает смуглую щечку, от которой исходит аромат розы (болгарской, как выяснится чуть позже), — не обернувшись, нет, ибо он не лобненский Шурик, он свободный мужчина, он пришел в этот мир хозяином, а не гостем и уж тем более не попрошайкой, пришел братъ, а не смотреть, как берут другие, пришел радоваться, а не бояться, и ему нет дела до того, что кто-то, может быть, притаился у смертоносного «Осьминога» и ревниво, завистливо наблюдает за ними, как однажды наблюдал за Фарфоровой Женщиной худосочный юноша, тоскливо сравнивая ее со своей пассией, такой, оказывается, неизящной, такой будничной, пахнущей огурцами с грядки...

— Ты домой? — выйдя из электрички, спросил в тот вечер на лобненском мосту худосочный юноша. Ему направо было, в сторону международного аэропорта Шереметьево, ей — налево, в сторону Киёво, но обычно прогонял ее до самой калитки, до заросшего малиной забора, поверх которого круглосуточно маячила голова влюбленного Сани, а тут остановился и спросил, домой ли она.

— Конечно, — удивилась Юлия. — Куда же еще?

— Ну мало ли! — ухмыльнулся Шурик. — Женщины — народ загадочный... Пока! — И, выбросив вверх руку, почти как Гурнов, хотя превращение еще не началось, еще Гурнов был жив и в этот как раз момент угощал Фарфоровую Женщину ананасовым мороженым, — выбросив приветственно руку, двинулся легкой походкой, тоже отчасти гурновской, в сторону Шереметьева.

Юлия озадаченно глядела вслед, как-то враз потяжелев, — женщины всегда тяжелеет, когда смотрит на уходящего мужчину, только Шурик еще не знал этого, не имел опыта — опыт позже явится, вместе с гурновской статью, гурновскими повадками и гурновским голосом, — опыт явится, и обладателю его не составит труда распознать, как внутренне напряглась пахнущая болгарской розой смуглолицая незнакомка.

— Ты не рад мне?

— Ты с ума сошла! — сказал Гурнов. — Посмотри на мою физиономию — разве не сияет она подобно персику на солнце?

— Сияет... И Кристе, — прошептал, приблизившись, белокедровый рот, — Кристе ужасно хочется попробовать его.

— Так в чем же дело? Идем!

И двинул вон из мастерской, даже не предупредив, что уходит, — он был вольный мужчина, бесстрашный и праздничный, он распахнул дверцу вишневого «Жигулей» (тогда еще король импортной техники ездил на «Жигулях»), он простер руку, он сказал: «Прошу, Христа, прошу... Я ужасно соскучился по тебе», — и они помчались в гостиницу «Россия», где остановилась болгарская гостья, — Гурнов уже сообразил, что болгарская: запах духов, акцент, имя Христа, которое он произносил впервые в жизни: в самолете, что когда-то, во времена Марципана и Мореной Дверцы, снижался над запрокинутой головой лобненского Шурика, она была еще безымянной.

— Я ужасно соскучился по тебе, — повторил он, уже в номере, разливая привезенное ею темное балканское вино, его любимое, заверила она, с чем он после первого же глотка радостно согласился. — Расскажи, — попросил, — о себе. Я ведь так мало знаю тебя.

Криста склонила набок голову.

— По-моему, ты совсем не знаешь меня.

Она сказала это без упрека, ласково сказала, но в глубине отважной гурновской души закопсилась тревога. (Быть может, потому, что глубина души — самая глубина, доньшко, — оставалась Шурикиной.)

— Ну уж, совсем! Когда мы, — сдвинул он брови, — виделись последний раз?

— Не знаю. Не считала... Терпеть не могу цифр.

— По-моему, — сказал он, — это был август. Мы всегда встречаемся с тобой в августе.

— Разве всегда? А снег? Помнишь снег? Ты еще учил меня кататься на лыжах.

— То были водные лыжи, дорогая. Мы катались на водных лыжах.

С веселым недоверием смотрела болгарская женщина — ах, как славно, как близко смотрела! — и он, воодушевляясь, припоминал, в каком купальнике была она — синем купальнике, в какой шапочке — красной шапочке, темно-красной, подобно этому вину (и притупил глоточек), как летел катер, вздымая брызги, в которых вспыхивала радуга, однако с катера не радугой любовались — что им радуга! — а ножками ее, у нее ведь потрясающие ножки, у нее потрясающая фигура, весь берег глазел, ошалев, когда она шла к причалу с веточкой жасмина в руке, белого, как снег (не потому ли и запало в память: снег?), — шла, никого не замечая вокруг, лишь следила, скосив глаза, за шмелем, который так и норовил опуститься на цветок, но цветок все уплывал да уплывал из-под мохнатых, доверчиво зависших лап, что перевернуто отражалась в лепестках желтыми тычинками. Тогда она остановилась, босая, замерла, и все вокруг замерло тоже: люди на берегу, чайки в воздухе (не с озера Киёво — другие), быстрые солнечные зигзаги в воде и зеленая электричка на высоком мосту, из которой завистливо глядел лобненский Шурик.

— Кто глядел?

— Шурик, Христа, некто Шурик, молодой зануда со станции Лобня. Мы ведь с тобой в Водниках катались, это по Савеловской дороге, самолеты пролетают над ней, когда садятся в Шереметьеве.

— Я не летаю на самолетах, — призналась Криста. — Боюсь...

Гурнов даже бокал поставил. Кого же в таком случае видел в идушем на посадку сверкающем лайнере зоркоглазый марципановый прыщ? В кого, задрав голову, всматривался с перекинутого через пути пешеход-

ного мостика? Самолет подмигивал, и это, догадывался трачкин сын, был тайный знак, посул был — вот именно, посул! — сигнал из будущего, из того самого будущего, где с фужером балканского вина расположился в центре столицы король импортной техники, а рядом женщина сидела, прекрасная и доступная, с гигантскими серьгами в маленьких смуглых ушках, я ничего, жаловалась со смехом, не помню, ни катера никакого, ни жасмина, но по глазам ее видно было, что жасмин — ерунда, катер — тоже ерунда, главное для нее — это он, ее московский друг (а в Софии — софийский? Гурнов поморщился. «Не будь, — сказал себе строго, — лобненским Шуриком»), — самолет подмигивал и шел себе дальше, навстречу распахнувшей взлетно-посадочную грудь покато́й земле, слегка накренившейся в сторону Ки́ево, а Шурик тем временем спускался по окантованным металлическим угольником, в окурках и семечной скорлупе деревянным ступенькам, спускался тяжело и обреченно, как спускался в ад, и, как из ада, снизу подымались, белесо клубясь, миазмы потусторонней жизни. Хрюкали в загоне на колесах истощенные свиньи, блевал мужик, уперев голову в товарный вагон, на котором было выведено зеленой краской «Х..», причем выведено монументально, с самолета читалось, хотя буквы кое-где пооблезли, то ли смытые северным дождичком, то ли выжженные среднеазиатским солнцем, то ли — попеременно — тем и другим, лился мазут из цистерны, кричала ворона, и где-то неподалеку, в Марципане, возможно, жарили на прогорклом масле рыбу.

Запах этот нехорошо возбуждал Мореную Дверцу. Старуха кружила по дому, останавливалась, закрывала глаза, а носик кверху задирала — как ищейка — и всякий раз оказывалась у бывшей кладовки, хотя мать, опасаясь гнева Мореной Дверцы, не покупала рыбы, лишь однажды принесла из детского сада уже готовую, уже жареную, пять или шесть маленьких кусочков (в детском саду порции маленькие), разложила на тарелке, нарезала огурцы, хлеб нарезала, селти вдвоем, и тут — негромкий, по-хозяйски требовательный стук.

— Мореная Дверца! — прошептал набитым ртом Шурик.

Мать вскочила, взгляд ее заметался, ища, куда бы спрятать опальное блюдо, прикрыла тарелки газетой и лишь тогда отперла дверь.

В руках у старухи белело сложенное стопочкой бельё.

— Вы, что ли, вонь развели? — И уличающе показала сморщенным подбородком на стол.

Газета зашевелилась, дрогнула и чуть приподнялась — Шурик похолодел даже. Пройдут годы, и он испытает сходное чувство, когда лобненская физиономия его, столь презираемая оброненным в крапиву, начнет быстро зарастать тонкой, розовой, ненадежной кожей столичного льва. Очень тонкой, очень ненадежной — малейшая неосторожность, сквознячок какой-нибудь (ведьма с бельем не прикрыла двери), и — сдвинется, соскользнет, явив темную, тяжелую плоть. Кожица, однако, утолщалась не по дням, а по часам, крепла, жирком наливалась, блеском, и, когда в безмятежный московский август впорхнула смугловатая болгарочка, он чувствовал себя в полной безопасности. И зря!

— А ты... — молвила Христа, выходя из ванной, где пробыла совсем недолго, он даже сигареты не выкурил и теперь напряженно и излишне глубоко делал последние затяжки, хотя по законам гурновской жизни должен был пребывать сейчас в состоянии счастливой опустошенности. — А ты... — сказала Христа, и серьги, единственное, что было на ней, тяжело качнулись в ушах, когда она присела к нему на краешек кровати, чуть дрогнувшей под ее небольшим, но упругим, плотным и вертким телом, таким тревожно незнакомым, Гурнов, во всяком случае, его не узнавал, как не узнавал и языка, каким она сумбурно и пылко изъяснялась с ним, без слов, одними движениями, ритмом, касаниями и покусываниями; все это, чувствовал он, вызывает к памяти его, к знанию кода, ведомого лишь им одним, ответа ждет и удивляется, что ответа нет или ответ неправилен, совсем, совсем неправилен, ну, что ты, милый, неужто забыл? — а вот так? а вот это? — и опять он отвечает невпопад, опять не угадывает; откинув голову, рассматривает его со смешливым изумлением, которое тоже рассчитано на узнавание, тоже к диалогу приглашает, к игре — что ж, игра так игра! — и он шутливой рукой прикрывает чрезмерно пытливые глаза, только игра не задается, снова, чувствует, все не то, не то и не так, она не узнает это-

го жеста, ее ресницы, щекотно пробежав по ладони, озадаченно замирают — озадаченно! — он нервничает — король нервничает! — он в панике — король в панике; неслыханно! — он быстро завершает все, чересчур быстро, и с замиранием сердца ждет упрека, готова наспех жалкие оправдания, но она без единого слова ускользает в ванную, — все, можно закурить, однако сигарета еще дымится, когда незнакомка выходит с каплями воды на смуглом, прекрасном, так и не познанном им теле, присаживается по-хозяйски и смотрит на него так, как смотрела Мореная Дверца на ту ожившую газету. — А ты, — произносит, — изменился, малыш.

Малыш! Она сказала ему: малыш, — и он не сердится, хотя можно и посердиться, он не радуется, хотя отчего бы и не порадоваться, он понятия не имеет, как реагировать: то ли сейчас родилось это прозвище, вот только что, то ли прежде называла так, однако прежний язык для него, что иностранная речь, и сам, стало быть, он иностранец. (Не она — он.)

— Все меняется, старушка.

Криста берет у него сигарету (король покорно разжимает пальцы, не зная опять-таки, было ли так раньше, не было ли), затягивается неглубоко и возвращает сигарету на место.

— Но ты у меня, — улыбается, — не туда почему-то меняешься... В обратную сторону.

Кровать вздрагивает, снимается и плывет — в обратную, как сказала она, сторону, на станцию Лобня Савеловской железной дороги, где, хихикая и потирая руки — ага, вернулся! — его поджидают ватиканские старухи, не три, правда, две, одна окочурилась-таки, но освободившуюся комнату не отдали матери, хватит с вас, сказали, того, что есть, вы ведь одна теперь, сын в Москве, и комната стала превращаться мало-помалу в кладовку: кто-то сунул ведро без дужки и насыпал в ведро угольного перегару, кто-то положил на хранение телевизор из папье-маше — реквизит кукольного театра, выкинутый за ненадобностью, кто-то складывал в баночку согнутые гвозди; Шурикина мать тоже получила угол, неудобный и темный, маленький, поскольку, рассудили старухи, у нее уже есть кладовка, но и этот угол оставался незанятым, даже радиотехнические причиндалы, остатки Шурикиного детского увлечения, не перенесла сюда, хотя Гурнов отрекся от них, выкини, сказал, этот хлам, старухи же скалились и качали головами, выкидывай не выкидывай, бормотали, а марципанову печать не смоешь, у-у, грозил пальцем, не смоешь, и напорочествовали, ведьмы: целехонька. Низверженный король понял это в гостинице «Россия», где на смятых простынях в фиолетовых штампиках сидела голая баба, чужая, ненужная, с золотыми бомбочками в ушах, и, склоняясь над проштампованным, как простыня, возлюбленным, шептала с расширенными глазами:

— А ты мне такой даже больше нравишься!

5

Марципанова печать, незримая и вечная, как проклятье, удостоверения, конечно, принадлежность Лобне, но имелись свидетельства и иного плана, тот же, к примеру, фирменный гурновский знак, о котором сам носитель его узнал с запозданием, да и то лишь благодаря рэкету Левушке, предъявившему веское, выпуклое, увеличенное водами бассейна «Москва» доказательство своего кровного родства с королем импортной техники, и знак этот в отличие от невидимой марципановой печати, которую Криста тем не менее разглядела, был отнюдь не эфемерен.

Двойное чувство вызывал он в душе новоявленного папаша. С одной стороны, в распоряжении Гурнова оказался сертификат, снимающий всякое сомнение в его, Гурнова, подлинности, пусть даже демонстрация сертификата и была сопряжена с определенными неудобствами, а с другой — вторжение в его суверенный мир красного мотоцикла лишило этот комфортабельный мир стабильности. В любой момент мог явиться бандит Левушка и потребовать... Чего? Чего потребовать? Фантазия Гурнова, которая, конечно же, уступала болезненно-яркой фантазии лобненского юнца, без труда переносившегося то в идущий на посадку «Боинг», из иллюминатора которого он обзирал с ленцой пакостный городишко и

собственную жалкую фигуру на железнодорожном мосту, то на берег заросших пальмами теплых вод, откуда за тысячи километров посылает радиосигнал перстенек на шершавой птичьей лапе, — растревоженная фантазия владельца сертификата рисовала, как негодяй с рыбкой на ягоdice подкарауливает его в безлюдном подъезде, приставляет нож к шее, упитанной, холеной гурновской шее, чуть вздрагивающей от укола качественной стали, и произносит ласково: «Ну, что, папуля? Не махнуться ли нам средствами передвижения?» Далее Гурнов видел себя верхом на мотоцикле, почему-то босым и в очках для купания, «Вольво» же, отнюдь не средство передвижения, не только средство, а живое преданное существо, уплывает, полное недоуменной тоски, по симферопольскому шоссе. Гурнов тихо стонет. Не себя жаль ему, он ведь не лобненский Шурик, который любил пожалеть себя, ох, любил, причем не столько себя прошлого, сколько себя будущего, зажатого в переполненной электричке с сосисками в одной руке (повезло, достал!) и тортом в другой, вскинутой над головами, дабы не потревожили купленное с полочки лакомство, которым обрадует жену и детей, — не себя жалел великолепный Гурнов, а великолепного, на четырех колесах, друга, которого отдал на поругание негодяю. Гурнов стонет и просыпается, бросает взгляд на женщину, которая с закрытыми глазами лежит рядом, бледно-фарфоровая в падающем из окна слабом свете (Фарфоровая Женщина), спускает ноги с кровати, нащупывает тапочки — прохладный мех ластится к ступням, — и идет в кухню. Не зажигая света, достает из холодильника бутылочку содовой, наливает полстакана и медленно пьет.

Когда-то уже стоял так, тоже в кухне, только другой, за распахнутым окном ворочалась, жила, пульсировала, точно сердце в паутине металллических вен, одышливая станция, возились и пели во сне ватиканские старухи, и он мечтал, мечтатель, о том времени, когда ничего этого не будет, — вот оно, это время, пришло: в тихий московский дворик выходит гурновское окно, тихо спит гурновская женщина (Фарфоровая Женщина), ему, однако, не по себе, что-то, чувствует, подкрадывается, все ближе, ближе, — протянув руку, хозяин снимает трубку.

— Салют, папочка! Надеюсь, не разбудил?

Радостный, бодрый, дневной совсем голос — будто из бассейна говорит, с плавательной дорожки.

— Вообще-то сейчас...

— Пятнадцать минут третьего, — заботливо подсказывает сынок. — Даже шестнадцать. Но я знал, что не спишь. Правда ведь, не спишь?

— Теперь — нет.

— И раньше не спал. Лежал, о сыне думал... Что там у тебя в руке, батя? Не где трубка — в другой? Сигарета?

На стакан кашивает глаза полуночный Гурнов — содовой немного совсем, два глоточка, и ему вдруг ужасно хочется выпить их.

— Я не курю по ночам.

— Совсем? — удивляется Левушка. — Раньше вроде курил.

— Мало ли, что было раньше.

— Знаю, папочка, знаю. Знаю и восхищаюсь!

В трубке слышится приглушенный женский смех и плеск воды — уж не в бассейне ли и впрямь?

— Чем восхищаешься?

— Не скромничай, папа! На Южном Берегу до сих пор помнят Желтого Дельфина.

С тоской глядит Гурнов на воду, выпить которую не решается, как не решается спросить, кто такой Желтый Дельфин, — зачем обременять память? Хватит с него лобненского Шурика, который ладно б один был, а то ведь тянет за собой Марципан и ватиканских старух, озеро Киёво и наивную Юлию, детсадовский подвал с тарактиящими стиральными машинами и бессменную работницу их, женщину трудолюбивую (Гурнов объективен), но темную, не умеющую, к беде своей, усвоить ту простую истину, что Шурика нет давно, тютю Шурик, и глупо искать его, глупо беречь его детские цапки и уж тем более являться к занятому человеку домой и называть его в присутствии изумленной публики сыном. Изумленной, ибо кто же поверит, что эта согбенная провинциалка, неистребимо пахнущая стиральным порошком, крапивой и жареной рыбой (права,

выходит, была Мореная Дверца!), с неестественно белыми, вываренными руками, — кто поверит, что эта общипанная курица произвела на свет этакое орла? Смех, право! Смех да и только, но люди невосприимчивы к комическому, и лишь когда Гурнов, который славится чувством юмора, громко и весело именует ее мамочкой, все с облегчением переводят дух, по достоинству оценив шутку. Прачка тоже улыбается — глазки блестят, чернеет беззубый рот, шевелится вылезшая из-под косынки седая прядка. Ироничный человек отводит ее бережно в сторону — в конце концов это мать Шурика, а он, в известной степени, его, лобненского Шурика, правопреемник! — и ласково пеняет на то, что не позвонила по телефону, это сберегло б время ее и силы; тут она совсем теряется, потому что совсем не узнает своего сына, тот был так нетерпим, так резок, так колюч, а этот вежлив и добр, другой совсем человек, который ей очень нравится, ей вообще по душе культурные люди, но любит все же одного Шурика.

— Я не умею по телефону...

— Да что же тут, — удивляется, — уметь!

Но это опять-таки культурный удивляется, чужой, а Шурик — тот понял бы сразу, потому что тоже не умел говорить по телефону, откуда! — в Марципане телефонов отродясь не было... А впрочем, был! Был телефон в Марципане, был, у Мореной Дверцы стоял — черный, высокий, с рогатинами аппарат, который никогда не звонил, ибо провода болтались не подсоединенные, но раз Шурик видел мельком в открытую дверь, как старуха прижимает к уху трубку и, закрыв глаза, тихо, отрешенно кивает... С кем беседовала ватиканская карга? Уж не с купеческим ли сыном, которому дала клятву верности? Бабке простительно, из ума выжила, а вот король импортной техники в полном вроде бы рассудке, что, однако, не мешает ему слушать среди ночи ахиною о Желтом Дельфине, о чердаке (Левушка чердак к чему-то припел), о каком-то причале...

— Шестой, папочка. Шестой. Тот самый, где у Сигизмунда нос отгрызли.

Скосив глаза, на трубку смотрит озадаченный Гурнов, на провод смотрит — нет, это не доисторическая черная штуковина, посредством которой марципановская ведьма общается с призраками, это современный, голландского производства аппарат, привыкший к цивилизованной вполне речи, как женской, в меру вкрадчивой, в меру интимной, так и деловой мужской, и вдруг — Сигизмунд, у которого к тому же отгрыз неведомо кто...

— Крысы, папа. Портовые крысы. Неужели забыл?

Тут Гурнов все-таки допивает содовую, но допивает остороженько так, втихаря — это в нем, видать, осталось от Шурика, украдкой пожиравшего принесенную из садика рыбу.

— Он что, пьяный был? Сигизмунд-то?

— Почему пьяный? — удивляется Левушка. — Трезвый... Трезвый, как стеклышко, только мертвый.

— Мертвые, — замечает Гурнов, — не бывают трезвыми.

— А какие ж они? Пьяные?

И правда... Зажмурив глаза, размышляет некоторое время, но проблема носит явно метафизический характер и потому трудна для специалиста по импортной технике, это вотчина Резинкина — уж Резинкин разложил бы все по полочкам, в таких делах он дока. Ах, как вдохновился бы, узнай про труп на пирсе (с отъеденным к тому же носом), как виртуозно распутал бы тонкими музыкальными — в детстве на скрипке играл — пальцами ниточку за ниточкой, но король импортной техники не прибежит к его услугам — нет, не прибежит! — король понимает, что о самозваном наследничке лучше помалкивать, и, когда в дверях возникает, как привидение, белая фигура, кладет аккуратно трубку и выключает телефон.

— Кто это? — спрашивает Фарфоровая Женщина.

— Сумасшедший, — отвечает супруг. — Кто же еще?

Берет стакан, в котором была содовая, опрокидывает над разинутым ртом и терпеливо держит.

— Сумасшедший или сумасшедшая?

Несколько капель падает на горячий, блаженно замерший язык, которым надо, однако, шевелить, чтобы развеять ревнивые подозрения, совершенно зряшные, ибо хоть время от времени и журчат в голландском аппарате вкрадчивые женские голоса, хоть и назначаются свидания и дарятся цветы, три гвоздики, не больше, или три пиона, он ведь не вульгарный Шурик, который приволок Юлии охапку тюльпанов, благо по гривеннику штука уступили, но с условием взять все, — хоть и целуются ручки дамам и отпускаются комплименты, от которых розовеют нежные лица, хоть и приминается сиденье «Вольво» округлыми женскими формами, замирающими от не всегда безупречного прикосновения крепкой мужской руки, застегивающей на груди ремень безопасности, хоть и не отклоняются приглашения посмотреть забарахливший видик, не в мастерской посмотреть, дома, причем сделать это в отсутствие мужа, — хоть все это и имеет место, Гурнов — кто поверит (кроме Резинкина; Резинкин догадывается!) — великолепный, неотразимый Гурнов, олицетворение мужской стати, неукоснительно блюдет — кто, кто поверит! — супружескую верность.

6

Резинкин догадывается... Пообтершийся, пооблезший Резинкин с плешью в серых волосах и мешочками под глазами, самолично брал под опеку — и не раз — носителя мужской стати, с женщинами знакомил (в меру доступными) и даже подарил было ключ, показав дверь, куда его в случае надобности можно сунуть, и сунул, и зажег свет, и описал полукруг рукой — ну-с? — и Гурнов тоже описал, только взглядом: обшарпанная тахта, плетеное садовое кресло, еще одно кресло, но уже массивное, тяжелое, с выпрыгнувшей пружиной, прислоненный к голый стене кусок зеркала, молочный бидон, из которого торчит засохшая мимоза, два стакана, а также географический атлас, раскрытый на карте юго-восточной Азии, — таков был подарок Резинкина, а ключ — вот он, и протянул на ладони, но великолепный Гурнов взять ключ отказался.

— На фига он мне!

Так весело, так игриво сказал Гурнов, и простота речи, почти уличная, почти мальчишеская, придала respectable'ному господину особый шарм. Вот только кто мог оценить его — прекрасного-то пола не было рядом! Не было и не будет — сюда, во всяком случае, не приведет.

Резинкин пронизательно глянул на давнего своего протеже.

— Первый раз вижу мужика, который отказывается от хаты. Да еще в центре Москвы! — Вынув засохшую мимозу, внимательно понохал бидон и нехорошо поморщился. — Это делает честь твоей супруге. — И опять поморщился, что могло в равной степени относиться как к содержимому емкости, так и упомянутой супруге, которой бывший Шурик хранил стародавнюю верность, хотя изначальный Гурнов, тот, царство ему небесное, светоносный Гурнов, за которым лобненский подмастерье тоскливо и жадно наблюдал из сумрачной ниши между стеллажами для запчастей и испытательным стендом «Осьминог», не принимал всерьез Фарфоровой Женщины, она была для него не первой и не последней, что, настанет час, засвидетельствует фактом своего существования рэкетир Левушка, да и сама Фарфоровая Женщина поняла это, и когда некоторое время спустя опять принесла в мастерскую красный «Шарп», то была приятно удивлена, что ее тут узнали.

— А вы изменились, — сказала она, и сердце Шурика тревожно забилось; не гурновское сердце — Шурикино, полное плебейского благоговения перед фарфоровым совершенством, а также страха, что, говоря «изменились», она имела в виду вовсе не того, кто, праздничный и веселый, угощал ананасовым мороженым, а скрюченного — язва покусывала — доходягу, чьи глаза по-кошачьи светились из глубины мастерской. Тогда она скользнула по нему равнодушным взглядом, прошла как по неодушевленному предмету, но, оказывается, запомнила.

Он сам завел речь об этом, небрежно припомнив кое-какие подробности, в том числе младшего своего коллегу, который сидел возле той вон штуки...

— Гнутый такой?

Гурнов захохотал.

— Гнутый! Именно гнутый! — И даже причмокнул от удовольствия. — Как хорошо вы сказали, душа моя! Ничего, что я называю вас так?

— Вы еще не так называли, — произнесла, опуская глаза, Фарфоровая Женщина.

Память у нее была и впрямь отменной: не только Гнутого помнила («Гнутый! — ликовал Гурнов и чувствовал, как твердеет, распрямляясь, ствол позвоночника, как звонко наливаются силой мускулы и раздаются плечи. — Именно Гнутый!»), но и кафе, где угощались мороженым, и сорт мороженого — ананасовый, который с тех пор не попадался ей, хотя спрашивала, но ей: вы что, девушка, какое ананасовое, откуда? — и она честно отвечала, что не знает откуда, но ела — здесь, у вас, за тем столиком (и столик запомнила!), — розовенькое такое, кисленькое; так это, объясняли ей, крем-брюле, на что Фарфоровая Женщина снисходительно улыбалась: уж она-то может как-нибудь отличить одно мороженое от другого — не темная лобненская девица, которую тамошний кавалер если и угощает, то чем-то приторно-белым, из бумажного к тому же стаканчика, и та ничего, рада: высунув язык, облизывает проворно губы, а у кавалера при виде этого красного юркого языка аж дух захватывает («Гнутый! Именно Гнутый!»), и невдомек целомудренному пращинуному сыну, что верх невоспитанности — облизывать губы... У тебя, добродушно осведомился Гурнов, есть платок-то? — ни с того ни с сего, Юлия растерялась даже, тебе, говорит, платок нужен? — и протягивает на ладошке, как когда-то протягивала Шурику землянику, которую они собирали на пару в лобненском лесу, однако Гурнов не берет платка, оставь, разрешает, себе, пригодится, и улыбается белозубо, большой, сильный, Фарфоровая Женщина глядела на него с восхищением, а Юлия — с тревогой, ты очень, прошептала вдруг, изменился, Шурик, я не узнаю тебя, — и прекрасно, молвил он, прекрасно, как там малиновый Саня, все еще любит тебя?..

— Первый раз, — повторил Резинкин, — вижу мужика, которому не нужна хата. — И снова внимательно понюхал бидон. — Свиньями пахнет — как в Лобне, помнишь? А было вино! Было изумительное вино — какое послевкусие! Какой букет! Теперь — не букет, теперь — вот что! — И брезгливо швырнул мимозу на грязный паркет. — Куда, ответь мне, пожалуйста, делось вино?

— Туда же, видимо, — предположил Гурнов, обводя взглядом стены, на выцветших обоях которых темнели девственные четырехугольники — следы картин и книжных полок, — туда же, надо думать, куда и хозяева.

Резинкин ударил по выпирающей из кресла пружине.

— Хозяева... — Пружина вибрировала (точно дымок вырывался из старого кресла), и несостоявшийся скрипач вслушивался с концертным лицом в убывающий звук. — Хозяева... — К географическому атласу потянулась рука, и в тонкое пружинное соло вонзились, отмеривая ритм, сухие краткие звуки переворачиваемых страниц. — Хозяева, если не ошибаюсь, здесь! — И ткнул пальцем в карту.

Гурнов с любопытством глянул через плечо маэстро.

— Итальянцы, что ли?

— Не всем же евреями становиться! Каждый превращается во что может. Италия, — печально и строго сказал Резинкин, — страна музыки и юриспруденции. Я консультировал их по римскому праву.

— И за это они оставили тебе квартиру?

— Квартиру они оставили жэку. — И вновь тронул пружину, но теперь уже не одним пальцем, двумя, по очереди, с разной степенью интенсивности — инструмент отблагодарил дивными звуками, почти итальянскими. Какая, восхитился исполнитель, акустика в пустых домах — этих оболочках судьбы, этих мертвых куколках, из которых повывлетали бабочки, этих порожних сосудах! И Резинкин в такт затихающей струне ударил ноготком по бидону, в котором плескалось когда-то, благоухая, дивное вино... Квартиру оставили жэку, а ключ ему отдали — вместе с Миланом, ибо собак за границу перевозить накладно и хлопотно, и он принял, хотя Милан оказался сухой, к тому же беременной — трех щенят принес. Одного Резинкин вручил, привязав бантик, подруге на день

рождения, а двух сам выкармливает, что по нынешним временам очень даже непросто.

— Ты правильно делаешь, что не обзаводишься детьми. Хотя дело не в жратве, прокормить можно. Дело в другом... Дети — это ведь что такое? Продолжение наше, да? — а кому сейчас охота продолжаться? Никому. Все спят и видят, как бы согнуться куда, пропасть бесследно и возродиться в новом качестве — привет! — Снова понюхал с неудовольствием бидон, опустил задумчиво и наклонил-таки над стаканом. Полилась мутноватая жидкость. — Смотри, сколько грязи на улицах, а знаешь почему? Идет великая линька. Люди сбрасывают прежнюю кожу — прочь ее, фу! — а она... — Резинкин аккуратно поставил бидон на стол. — Она, — поднял он палец, — не мертвая, кожа-то! Живая... Скулит по ночам и грызет ножки стула. А то вдруг щениться начинает. Это ужасно! — Он попробовал содержимое стакана. — Это ужасно... Но ничего... Ничего... Хотя букет, надо сказать, претерпел изменения.

Так говорил, отхлебывая настоенное на мимозе вино, знаток римского права — Гурнов слушал прозорливца с улыбкой на лице, но тревожно. Он был не прочь занять ребенка, отчего же, но где гарантия, что это будет его ребенок — его, великолепного Гурнова, а не лобненского придурка, который — Резинкин прав! — не отмер совершенно, жив и скулит по ночам (Марципан снится вдруг Гурнову, железнодорожный мост и многотелесая Конкордия, держащая под толстым зеленым, как лошадиная струя, напором консервную банку), — Шурик не умер, затаился, мерзавец, и напоминает о себе всякий раз, когда король импортной техники, скинув раззолоченный мундир, ложится в постель с женщиной. Потому-то и блюдет король супружескую верность, один-единственный раз согрешив — в гостинице «Россия», но глупая Фарфорова Женщина все равно ревнует.

— Ты верен ей, как верна своему купчику моя двоюродная бабушка. — И, взяв еще глоток, поиграл во рту мимозным напитком.

Бесконечно мог говорить о Мореной Дверце, некогда писаной красавице, и таким же якобы красавцем был купеческий сын, которому она дала на Сухаревке клятву верности, но времена были неустойчивые, во французского фабриканта превратился русский купец, в Колхозную площадь — бывшая Сухаревская, однако невеста, блюдя клятву, отшивала жениха за женихом — а женихи были, уверял Резинкин, о-го-го! — не выпорхнула, словом, из собственной судьбы, чтобы оккупировать чужую, — ссохлась, потемнела, стала похожей на единственную наперсницу свою, дверцу мореного дуба, и теперь уже не разобрать было, кто стоит прислоненный к стене, а кто бродит, шаркая ногами, по дому.

— Я тоже не оккупант, — подытожил Резинкин, выливая из бидона остатки мимозной жидкости. — Я теоретический человек, но я не оккупант и поэтому дышу спокойно.

7

До Левушки и Гурнов дышал спокойно, но бандит Левушка, понимал, не остановится ни перед чем, будет преследовать и терзать, догонять на каждом мотоцикле — а их в Москве вон сколько! — звонить по ночам (ложась спать, Гурнов теперь отключал телефон) и даже появляться на экране телевизора, что уже было однажды: мелькнул на фоне моря в синих плавочках, хотя, кажется, без татуировки...

Проверяя звучание отремонтированного «Филлипса», пустил запись, и вдруг — после короткой музыкальной прелюдии: «Привет, папуля! Это я, твой сын Левушка. Не соскучился?»

Гурнов торопливо нажал кнопку. Огляделся. Абиратов, запрокинув голову, пил из бутылки молоко, Цыпин по-прежнему корпел над стареньким «ВЭФом», а приемщица Рита разговаривала по телефону. Лишь пристроившийся возле «Осьминога» кот внимательно наблюдал за мастером.

Кто принес «Филлипс»? Девица в темных, на пол-лица очках, гибкая и стройная, — Гурнов, хоть и хранил верность супруге, отметил это с удовлетворением... Убавив звук, снова пустил запись.

«А я по тебе, — продолжал Левушка, — соскучился. Дефицит отцовского внимания...» Так и сказал: дефицит внимания, и эта неожиданная ученость — в каком-то на вид простачке! — породила в Гурнове, с одной стороны, тревогу, а с другой — смутное чувство гордости, очень мимолетное, которое он, однако, успел засечь и беспокоился еще больше. Конечно, в отличие от Резинкина он не был искушен в психологических тонкостях, ясно и просто предпочитал жить, весело, под солнцем удачи, а не под хмурым небом вечной рефлексии, но даже он, неискушенный, уловил в метнувшейся змейкой нечаянной гордости некий родительский отенок. Этого еще не хватало! А вкрадчивый голос тем временем приглашал отобедать в ближайшую субботу в ресторане «Русь». «Это Салтыковка, ты должен знать, папа. Я заказал отдельную кабинку, так что нам не будут мешать».

Не будут мешать! Гурнов, не задумываясь, отклонил хамское приглашение — разумеется, мысленно, — но тут же понял, что никто, собственно не приглашает его. Извещают, вежливо, интеллигентно так («дефицит внимания!») приказывают, а он даже ответить не в состоянии — кому отвечать, как! Не на пленку же записывать... Чувство беспомощности посетило великолепного Гурнова — сугубо лобненское чувство, марципановское, Шурик — тот жил с ним постоянно, но особенно по вечерам накатывало, в электричке, когда возвращался из института домой.

Отходила электричка в двадцать три ноль семь, сразу после дубенской, летевшей без остановок. Обычно являлся минут за десять, но электричка уже стояла, прижавшись к платформе всем своим змеиным телом, пустая, темная, с опущенными пантографами и разинутыми дверьми, в которые он втягивался, подобно кролику в пасть удава, и сразу как-то уменьшался, сжимался, слабел — усилия стоило сдвинуть с места внутреннюю стеклянную дверь. Дверь взвизгивала: видимо, в металлические пазы попадал мусор, не мог не попасть, столько его накапливалось за день на сиденьях и под сиденьями, на выступах окон — билеты, отрывки яблок, сплюснутые бумажные стаканчики из-под мороженого — уменьшенного Шурика с головой всасывало в эти отходы, чтобы вывезти вместе с ними, выдворить из Москвы, где ему не было места, родился в Лобне и живи там, вот разве что женишься, говорил знаток законов Резинкин, и получишь прописку, но говорил с улыбочкой, которая означала: кому нужен в Москве косноязычный провинциал?

Два неярких плафона горело в вагоне, спереди и сзади, тишина стояла, лишь время от времени взвизгивала отодвигаемая дверь. Вот мужик вошел, без пальто, но в зимней шапке, вот проковыляла до ближайшего сиденья старуха, вот тревожно остановилась и быстро оглядела вагон бледная девица (впрочем, бледными при свете плафона казались все), вот дверь вдруг дернулась — сама по себе, ибо за стеклом не маячило человеческой фигуры, — вздрогнула, пискнула (не завизжала на сей раз — пискнула) и поехала медленно в сторону, а за ней — ребенок, совсем маленький, едва до ручки достает, но вошел смело и, быстро-быстро перебирая ножками, двинулся по вагону — уже не ребенок, уже лилипут, ну конечно, лилипут, Шурик рад ему, и это не только радость большого нормального человека, что он большой и нормальный, а еще радость праздничного какого-то события, давно минувшего, с музыкой и огнями. Цирк, вспоминает Шурик. Цирк! То ли в пятом, то ли в шестом классе ходила с матерью, были дрессированные петуши и летающие люди, женщина в золотой челуе просовывала между ног голову и вертела туда-сюда, клоун в небесного цвета колпаке бросал, высунув от старания язык, огромный цветной мяч, зрители отбивали со смехом, и вдруг прямо в мать угодил — мать оттолкнула двумя руками, смущенная от неслыханного такого везения — шутка ли, столько народу, а попало ей! — счастливая, похожая на девочку, даже волосы растрепались, как у ребенка, и, как у ребенка, блестели глаза, — так и не пришла в себя до конца представления, а были еще лошади с бантами в хвостах, еще ходили по тонкому канату люди с шестом, а под конец выступал фокусник, превращал розы в аквариум с рыбками (как у Юлии, но поменьше), веревку превращал в шест, по которому проворно вскарабкался гимнаст, а гимнаста — в двух маленьких человечков, в двух лилипутиков,

точно такого видел потом в электричке, деловой походкой проследовал через весь вагон и снова долго боролся с дверью, теперь уже задней, а в передней тем временем выросли двое, их слегка покачивало, будто поезд шел восток, к Шурику направились, дай, потребовали, закурить, но он виновато развел руками: не курит, дескать, что было абсолютной правдой, курить начал, лишь превратившись в Гурнова, они, однако ж, не отступали, козел, говорили, вонючий, что тоже, признавал в душе Шурик, было правдой, и потому не протестовал и не сопротивлялся, когда растегнули молнию на папке, перевернули вверх дном и вытряхнули конспекты, после чего пошли, удовлетворенные, дальше, но Шурик, превратившись в Гурнова, широкоплечего, с крепкими мускулами, догнал их, взял за шиворот обоих и стукнул лбами на глазах Фарфоровой Женщины, о которой они, проходя мимо, бросили невежливое слово, — стукнул так, что аж головы зазвенели и вылезли из орбит глаза, мерзавцы смотрели на него этими вытаращенными глазами и, конечно, не узнавали пассажира из той давней, на двадцать три ноль семь, электрички.

Обычно возле окна садился, а по ту сторону темного стекла ехал в зыбком призрачном вагоне другой Шурик, тоже зыбкий и призрачный, ночной, избегающий дневного света, — точно прятал себя, берег для чего-то и сберег-таки, пережил подлинного, во плоти, Шурика, что перебрался, перетолз, перетек в великолепного Гурнова, еще более подлинного, еще более во плоти, вот только, к сожалению, с рыбкой на ягодице, — да, пережил и в иные мгновения, обычно по ночам, возникал смиренно рядышком, такой же, как в стекле, призрачный и безмолвный, — прочь гнал его великолепный Гурнов, он вообще терпеть не мог ночи с ее миражами и думками, с ватиканскими шорохами по углам, с отдаленным высоким самолетным гулом, какого днем не услышишь в Москве, с нелепицей снов и невнятицей мыслей, иногда вдруг стремительно и жутко проясняющихся. Чуть, бред! Пусть Резинкин думает обо всем этом, он философ, он обожает ночь, я, говорит о себе, ночная птица, а Гурнов утро любит, день, яркое, на голубом небе, солнышко, щебетание птах в зеленых больших деревьях, аромат кофе, стук теннисного мяча, но, случалось, призрак лобненского Шурика являлся и днем, как тогда, например, в гостинице «Россия», озадачив (но не испугав!) болгарскую гостью, или теперь, в собственной его мастерской, где отремонтированный «Филлипс» извещает голосом почтительного сына, что столик в ресторане «Русь» заказан на субботу. «Мы отлично проведем время, папа! Я приготовил небольшую сюрпризик».

— Вот тебе! — скрутил король фигу, и этот исполненный энергии и красоты сугубо дневной, сугубо будничной жест вспугнул зыбкого, из вагонного стекла, Шурика.

8

И все же в ресторане «Русь» он в субботу оказался. Без опозданий, минута в минуту, как и было назначено «Филлипсом», хотя еще накануне, ложась спать, твердо знал, что никуда не поедет. Однако ночью осенило: сюрпризик! Самозванец посулил сюрпризик — что ж, долг платежом красен, и уж его-то сюрприз, надеется он, не уступит Левушкиному. Бандит жаждет пообщаться с родителем? Отлично, он устроит ему такое свиданье, благо Левушка сам выбрал ресторан «Русь», место в некотором отношении идеальное. С тем и заснул, и когда утром Фарфоровая Женщина осведомилась, поздно ли будет сегодня, ответил со светлой решимостью: поздно.

Жена настожижилась. Какое-нибудь, спросила, мероприятие, и он подтвердил с ослепительной улыбкой: вот именно, дорогая, мероприятие — это мертвое, это фарфоровое словечко как нельзя кстати подходило к задуманному. Впрочем, все ее слова были фарфоровыми — и слова, и голос, и правильные, как у кладбищенских изваяний, формы — только дикарь Шурик мог польститься на это, а Гурнов, цивилизованный человек, который в свое время мудро ограничился тем, что угостил даму крем-брюле, принятым ею за ананасовый деликатес, должен теперь расплачиваться за лобненского придурка. Пить с глаза на глаз

кофе из фарфоровых чашечек, скалить в улыбке белые, как из фарфора, ровные зубы, вести фарфоровые разговоры.

— Но сегодня суббота. Разве по субботам бывают мероприятия?

— Бывают, любовь моя, бывают. Если мне не изменяет память, мы расписались с тобой как раз в субботу.

Спутница жизни придерживает чашечку у губ — губы безукоризненны, тут Шурик не ошибся, — и взгляд ее туманится.

— Ты так любил меня тогда...

— Я? Ошибаешься, моя прелесть, тебя не я любил.

Длинные ресницы трепещут в недоумении.

— Не ты?

— Гнутый, дорогая! Тебя Гнутый любил. Помнишь Гнутого? Возле «Осьминога» сидел, скрюченный весь, и пялил на тебя зенки. Вот он бы носил тебя на руках.

— Ты тоже носишь.

— Но мечтаю, — ласково признается муж, — уронить. Гурнов на моем месте так и сделал бы. Настоящий Гурнов... И ты разлетелась бы вдребезги, фарфоровое мое сокровище. Еще кофе?

Ах, как произносится это! — от зависти задохнулся б плебей Шурик, который сызмальства ценил хорошие манеры и потому сызмальства предпочитал заведению Конкордии кафе в аэропорту Шереметьево-2, куда они приезжали с Юлией на рейсовом, за гривенник, автобусе попить пузырящийся душистый напиток под названием «Малиновый» — в Лобне такой разве достанешь! — да съесть по крошечному бисквиту. Цветисто расписанные, с иностранными буквами самолеты неуклюже ползали туда-сюда — брюхатые, грузные, на черных маленьких колесах, которые как только выдерживали такую тяжесть, однако выдерживали и даже разгоняли этих неповоротливых гигантов до немыслимой скорости, и гиганты взлетали, после чего сразу поджимали черные свои лапки, подобно (заметила Юлия) чайкам с озера Киёво и, опять-таки подобно чайкам, улетали в дальние края, но в отличие от птиц ни на минуту не теряли связь с землей.

Это уже заметил Шурик. День и ночь колдовал над киевским перстнем, и вот первый опытный экземпляр готов; в коробку с сухими травами кладет его для конспирации (мать добавляет травы, когда стирает белье старухам), — а сам в комнату уходит, бывшую кладовку, запирается, прижимает дрожащими руками наушник к уху. Пи-и, пи-и... Среди тысяч других узнал бы эти позывные — как мать узнает голос ребенка, как станция, к которой, выбежав из Марципана, летит триумфатор, узнает своего крестника и приветствует его вскриками электричек, как узнает землю идущий на посадку «Боинг» и подмигивает огоньком, подмигивает, как узнает залыхавшего гостя сирень, на которой взорвалась когда-то почка, — теперь она швыряет под ноги ему горсть позолоченных листьев, как узнает удачливого соперника мальчик Саня, все так же глядящий поверх облетевших кустов малины, — влюбленный мальчик, малиновый мальчик, круглолицый, с зелеными глазами, которые завистливо поедают счастливица, по-хозяйски распахивающего калитку, Юлия, зовущего, Юлия, и Юлия тут как тут, в халатике с короткими рукавами, хотя осень на дворе, ветер и улетели, снявшись, чайки Киёво.

— Палец! — требует изобретатель. — Палец давай!

Секунду она недоумевает, но только секунду — вот он, ее палец, совсем тоненький, и таким громоздким, таким тяжелым выглядит кольцо, которое надевает на него гордый Шурик, но ничего, что громоздкое, ничего, что тяжелое, — птица с таким не улетит далеко, — это ведь только начало, он усовершенствует, он сделает его легче, он сделает его тоньше — почти как обручальное, и пусть хоть на край света летят чайки — кольца на поджатых, в чешуйчатой броне лапках протянут след в небе, незримый для постороннего глаза, неслышный для постороннего слуха, но след этот не затеряется в пространстве, Шурик ухватит его.

Юлия замороженно трогает подарок. Ветер лохматит ее, кричит ворона — вороны в отличие от чаек никуда не улетают, грузно шлепается с яблони запоздалый плод. Еще один самолет идет на посадку — наш, узнает по звуку Шурик и, припав к иллюминатору, видит с немыслимой высоты две человеческие фигурки, мужскую и женскую, — с высоты времени,

как сказал бы Резинкин. Ветер развеивает волосы Юлии — ветер времени, — она придерживает их одной рукой (на другой — перстень Киёво) и что-то говорит, улыбаясь, но что — не разобрать, слишком велико расстояние, но чем больше расстояние, тем живее девочка внизу — какая Фарфоровая Женщина сравнится с нею!

Уваленъ с мотоциклетным шлемом в руке подходит к Фарфоровой Женщине, вытаскивает из шлема полуувядшие одуванчики и протягивает со словами: это вам, мамочка!

— Он назвал меня мамочкой!

Гурнов улыбается.

— За моего сынка, небось, выдавал себя. — И вспоминает прозрачные — слишком прозрачные! — воды бассейна «Москва», от посещения которого с тех пор воздерживался.

— Он сказал, что может предъявить доказательство.

— Как! — бледнеет супруг. — И тебе тоже?

С него станет! Что ж, записываемый в отцы тоже готов предъявить доказательство, причем сделает это не откладывая, сегодня же: месторасположение «Руси» очень даже благоприятствует этому.

— Ты что-то скрываешь от меня, — говорит та, кому король импортной техники хранит немислимую, чудовищную, патологическую — по мнению Резинкина — верность. — Может, это и правда твой сын, откуда я знаю! Мне ведь ничего неизвестно о твоём прошлом.

— У меня нет прошлого, дорогая. И я рад этому. Хотя кое-кто хочет навязать мне его. Но ничего... Ничего! Мероприятие! — ах, умница моя, как замечательно сказала ты: мероприятие! — мероприятие, я думаю, пройдет на славу. Лишь бы явился, прохвост!

9

Левушка явился. Уже подъезжая к ресторану, что разбросал свои терема и сарайчики на высоком берегу салтыковского пруда, заметил Гурнов на фоне райских кущ красную, как божья коровка, точку мотоцикла. Было тихо и безжизненно, чайки и те не кружились — видя воду, бывший Шурик всегда вспоминал о чайках, — лишь одинокий рыбак в джинсах стоял с удочкой на низких деревянных мостках, к которым была прикована океанской цепью утлая лодочка. Бесшумно закрыв дверцу, приглашенный двинулся было к ресторану, но тут в лодке подпрыгнула рыбешка. Гурнов остановился. Шурик — тот в жизни своей не рыбачил, скучно, считал, и долго, да и куда, если поймается, девать улов — в Марципане ведь не пожарить, Мореная Дверца сразу зашмыгает своим острым носиком, однако, превратившись, обнаружил в себе навыки спиннингиста.

— Это ты, папа? — сказал рыбак, не оборачиваясь, и вздернул удочку. Увы, на сей раз крючок был пуст. — Сорвалось... Но ничего, нам с тобой хватит. — Аккуратно положив удилице на деревянный, в мокрых пятнах настил, сошел на берег. — Спасибо, батя, что приехал. Тут чудесное место, и рыбешка ничего, хотя с черноморской не сравнить, конечно. Это правда, что ты загарпунил под Алушкой камбалу на четыре кило?

— На четыре с половиной, — сказал Гурнов. — Или даже на пять... И тут же съел, живьем прямо. Этого не рассказывали?

— Рассказывали, папа. Мне о тебе еще не то рассказывали... А вот и Владимир!

Перед ними стоял человек во фраке, темноглазый, с прилизанными волосами — типичный официант, сошедший со страниц иллюстрированного журнала, — а может, и не сошедший, может наоборот, это он шагнул туда, лобненский Шурик, — шагнул в иллюстрированный мир из мира реального, который грохотал поездами и стиральными машинами, вонял свиньями, бил в нос запахом киселя, украдкой вынесенного из детского сада, галдел прожорливыми чайками, здесь же стояла благостная тишина, вот разве что билась рыба в лодке да официант во фраке и бабочке приглашал бархатным голосом к уже накрытому столу.

— Кажется, — проговорил он, вглядываясь в Гурнова, — мы встречались с вами, — но проговорил как-то очень уж раздумчиво, очень уж интимно, будто не здесь встречались, не в иллюстрированном мире, а прежде, давно, когда худосочен и кривоногий был оброненный в крапиву, и крапива

жгла брненное тело (в детстве Шурика донимал зуд), и казалось, спасения от зуда нет, однако существовал таинственный лаз, темный и узкий, неведомая сила проволокла по нему Шурика, сдирая кожу, — не беда, выросла новая, гладкая, без крапивных пупырышек.

— Мир тесен, — заметил он, и они двинулись, предводимые официантом Владимиром (встречались! Точно встречались!), а навстречу шла баба с тазиком, чтобы взять рыбу из лодки, выпотрошить, бросить на сковородку — еще живую, еще бьющую хвостом, а после выложить на блюдо, которое внесет торжественный Володя. И согласится:

— Правда, тесен. Если не ошибаюсь, вы тогда были с болгарской гостьей.

С Кристой... Не Шурика, стало быть, знавал — Гурнова, но мир и впрямь тесен, ибо Шурика знавал тоже, хотя и не помнит теперь. В одной аудитории сидели, одни схемы чертили и даже обсуждали на пару, какой термоэлемент заложить лучше в перстень Киёво.

Праздник устроила мама в честь поступления единственного сына пусть в вечерний, но все-таки институт. Испекла пирог, вина купила — гостей ждала, и гости явились: седая, с железными зубами коротышка, соседка по вагончику, что стоял когда-то на заросших крапивой путях. Звали ее Женечкой. Огляделась, шмыгнула носом, у тебя, небось, сказала, не курят, но мама разрешила: кури! Сегодня — кури, и Женечка запаливала одну сигарету за одной, окутывая себя дымом, который скрадывал морщины и мешки под глазами, убирал седину и придавал лицу моложавую округлость. «А помнишь ли? Помнишь?» — доносился из дыма хриплый голос, и перед глазами Шурика разворачивались картины маминой юности, когда его еще не было на свете, но был некто Коля Лошадь (уж не его ли папочка?) и был просто Коля, который припер однажды ведро вишни (а Желтый Дельфин, рассказывал Левушка, вытаскивая тонкие рыбьи косточки, приволок корзину персиков), налопались до отвала, а остальное засыпали сахаром, получилась хорошая настоечка, но слабая, и тогда Коля Лошадь вбухал четвертинку водки, потом еще полчетвертинки («Меньше, — подправила Женечка. — Сам-то почти стакан шарахнул»), весь вечер сидели в вагончике, пели песни («В после-едный троллейбус, — донеслось из сигаретного дыма, — сажусь на ходу...») да пялились на электрички, которые тормозили как раз перед носом у них — это когда в Москву шли, из Москвы же — набирали скорость; в Лобне все останавливались, кроме дубненской, дубненская со свистом проносилась мимо, едва касаясь рельсов, как (рассказывал Левушка) едва касался волн Желтый Дельфин на своих водных лыжах (Кристу и гостиницу «Россия» вспомнил Гурнов: так вот откуда взялись водные лыжи!), весь Гурзуф восхищался финтами на воде, но что такое Гурзуф, большие корабли проходят, не останавливаясь, вот Ялта — это да, Ялта сама как гигантский корабль, многопалубный, в россыпи огней и оркестров, Гурзуф по сравнению с ней тихая шлюпка, ну, в крайнем случае списанный теплоходик, там как раз был такой, «Митридат» назывался, в нем еще устроили общежитие для дорожных строителей (вернее, строительниц), сюда-то Левушку и принесли из роддома прямо в каюту номер семь, ты должен помнить ее, папа!

— Увы! — сказал Гурнов. И прибавил, что помнит станцию Лобня Савеловской железной дороги, там однажды обронили малыша в крапиву, но малыш вырос мудрым и не искал отца, отцов, Левушка, искать не надо, ибо в итоге самого себя найдешь, к тому же лично у него есть алиби.

Король не блефовал — алиби было: грозовая ночь в домике Юлии. Тот, кто не отважился, ложась спать, скинуть брюки, так устроился, поверх одеяла, поскольку в соседней комнате — в соседней! за прикрытой дверью! — почивало существо иного пола, — тот ну никак не мог стать родителем балбеса, зачатого на старом корыте «Митридат», мимо которого, как дубненские электрички, проносились быстрокрылые кометы. Но ладно, грозовая ночь, ладно, Юлия и зеленоглазый мальчик Саня за прутьями малины, можно предъявить и кое-что посущественней — в ответ на сюрпризик, который заготовил Левушка, нет-нет да поглаживающий (с рыбой было покончено) коричневым, натуральной кожи дипломат.

— Здесь, папа, все, что нам с тобой требуется.

— Да мне вроде бы, — сказал Гурнов, промокая салфеткой губы, — не требуется больше ничего... Кофе и счет, пожалуйста!

Официант, бывший соратник по перстню Кієво, подмигнул одним глазом, но с места не двинулся.

— Счет готов, — молвил черноморский бандит и, щелкнув замочком, открыл дипломат. Достал школьную, на восемнадцать листов тетрадку, пустил веером испещренные цифрами страницы. — У тебя как с математикой, батя? Я, помнишь, говорил, что математика нам понадобится.

— Помню, сынок. Я помню все, что было со мной, и, честно говоря, с меня достаточно. Чужого не надо... Рыбку-то включил? — показал глазами на обглоданные косточки.

— Обижает, отец! Ты мой гость сегодня. — И заботливо подлил пепси.

— За рыбку сам, значит, платишь?

Левушка поставил бутылку.

— С тех пор, — проговорил он с гордостью. — как твоему сыну стукнуло восемнадцать, он за все, папочка, платит сам.

— А до восемнадцати?

— До восемнадцати, — вздохнул ракетир, — тебе придется компенсировать. С минус четыре — мы ведь расстались, когда мне было минус четыре, не правда ли? — до плюс восемнадцати. Вот, можешь познакомиться с документиками. — И осторожно подвинул дипломат. — Все согласно закона! Желтый Дельфин уважал законы.

— Уважал? А Сигизмунд на пятом причале? У которого нос отгрызли?

— На шестом, батя. Сигизмунда на шестом нашли, но Желтый Дельфин к этому не причастен.

И на том спасибо, подумал, тихонько отодвигая взрывоопасный чемоданчик, король импортной техники, которого Резинкин донимал распросами о смертоносном «Осьминоге». Зря донимал! Нет кровушки ни на лобненском Шурике, ни, слава Богу, на великоленном Гурнове, то бишь Желтом Дельфине, у которого полный дипломат подвитов, но страшный шестой причал среди них не фигурирует.

— Хотя кое-кто, — намекает Левушка, — думает иначе. Вот можешь поглядеть на досуге. — И снова заботливо чемоданчик подпихнул. — Тут все твое прошлое, папа!

— Благодарю, — сказал Гурнов, отстраняя злосчастный саркофаг. — Только это, милый, не по адресу. По адресу мы сейчас поедим.

Собственно, это и было сюрпризом Гурнова, хитроумно рассчитавшего, что от ресторана «Русь» до Никольского кладбища рукой подать, и даже заблаговременно приобретенного букетик гвоздик...

Крематорий ничем не выдавал себя, а тогда курился белесый дымок, на который, впрочем, никто, кроме Шурика, не обратил внимания. Со скорбной миной взирал, как под звуки дивной музыки (меломан пробудился на миг в прачкином сыне) опускается в адское чрево бывший сослуживец, на душе же было чувство, сходное с тем, какое испытал много лет назад обитатель кладовки, вызывая к загибающейся Мореной Дверце «Скорую помощь»: комната! Наконец-то у них будет комната... Тогда надежды не оправдались, хромоногий эскулап воскресил старуху, но кто воскресит уплывшего в топку! Никто, ячейка судьбы, как выразился бы Резинкин, зияла освобожденная, и Шурик волновался в смутном предчувствии грядущего новоселья. Оно грянуло, и лицо марципанового человечка прояснилось, разгладилась подковка на лбу, заблестели, посветлев, волосы, глаза тоже заблестели — тебя, говорили ему, не узнать, и действительно не узнавали, проходили, не здороваясь, мимо, вот разве что мать не заметила превращения, по-прежнему Шурика видела в нем, лобненского Шурика, сына своего, — такой уж был у нее пункт! — и тихо удивлялась, что он не радуется вместе с ней ни телефону-автомату, откуда можно теперь напрямую звонить в Москву (она и звонила, но все реже и реже, ибо чувствовала, что от важных дел отвлекает занятого человека), ни наконец-то проведенному в Марципан магистральному газу, ни долгожданному появлению в детском саду новых стиральных машин. Прачечной, хвасталась, не узнаешь, а Гурнов и не собирался узнавать и, бывая — очень редко! — на Шурикиной родине, с удовлетворением отмечал, что в небытие уходит прежняя Лобня. Не скрипят, как раньше, ступеньки под ногами: бетонная лестница сменила деревянную,

снесено заведение Конкордии, выпвел и зачах — хоть и с магистральным газом — Марципан, как бы вдавленный в землю кирпичными девятиэтажками, со стороны которых ветер доносил хрюканье да знакомый запашок: опасаясь голода, народ разводил на лоджиях свиней и прочую живность. Изменения эти веселили Гурнова: чем меньше останется от прежней Лобни, тем лучше, он не стал бы возражать, если б скверный городишко вообще исчез с лица земли, или пусть на худой конец переименуют, что ли, и только раз, когда после очередного ревнивого допроса Фарфоровой Женщины сел, раздосадованный, в «Вольво», и «Вольво» привез его незаметно на берег Киёво, любителю новизны приятно было убедиться, что озеро не изменилось. Все так же мельтешили и кричали чайки, так же атаковали бородача с целлофановой кормушкой в руке — вот только не рыжей, а седой была теперь борода, — и так же в кармане у паломника не отыскалось ни единой крошки, чтобы угостить птиц. К машине вернулся, сел и медленно поехал вдоль крашеных заборов, над которыми — как и тогда — клубился черемуховый цвет.

Утопал в белом и домиж Юлии, только не черемуха была это, а сушилось бельё. Тихо вышел он из машины, тихо к калитке приблизился — все тихо, почти бесшумно, но бесшумно для обычного человека, та же, которая умела поймать звук лопнувшей почки, не могла не услышать, как, точно плененная чайка, бьется в груди человеческое сердце.

— Шурик! — донеслось из распахнутого окна, на котором стоял аквариум с красно-синими пачками стирального порошка.

Гурнов окаменел. Узнала, стало быть, — узнала! — и даже, судя по голосу, не удивилась, точно все это время ждала его. Гурнов окаменел, а чайка в груди колотилась, ополоумев. Что было это? Трепет радости? Конвульсия страха? Лишь психолог Резинкин мог разобраться тут, но Резинкин отсутствовал, зато меж белых штор появилась женщина с младенцем.

— Шурик! К тебе пришли!

Прямо на Гурнова смотрела располневшая Юлия, но обращалась не к нему, к другому, и этот другой вышел на крыльцо — с недочищенной картофелиной в одной руке и ножом в другой. Вопросительно на гостя глядел зеленоглазый малиновый мальчик, терпеливый Саня, который дождался-таки своего часа, но в то же время как бы и не Саня, другой совсем человек — знакомым показалось Гурнову его исхудалое лицо с подковообразным шрамом на лбу.

К машине попытлся король импортной техники, нашарил дверцу, втащил себя на сиденье, и «Вольво» сорвался с места. Быстро скорость набрал: шоссе было узким, зато совершенно пустым, лишь незримый мотоцикл шел рядом — незримый и неслышный, оттого-то преследуемый так долго не замечал его, но час настал, и посланец «Митридата» материализовался, чтобы всегда отныне быть рядом, — к кладбищу, во всяком случае, подкатили одновременно.

С гвоздиками и дипломатом вышел Гурнов из машины. Букет Левушке отдал — послушный сын принял его без единого слова, а взрывоопасный саркофаг нес сам. Молча шествовали среди вмурованных в стену мраморных плит, пока не остановились у выведенных золотом слов:

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ГУРНОВ

Покойник

— Вот тот, — скромно сказал взявший на себя роль гида, — кого ты ищешь.

Левушка внимательно прочел надпись.

— И правда, — расплылась в улыбке конопатая ряшка. — Все как в Ялте.

— В Ялте?

— Ну да! Мне уже показывали в Ялте твою могилу. А еще, говорят, в Кременчуге есть... Где тут водичка?

Отправился, заботливый сынок, искать воду и какую-нибудь посудину для цветов, Гурнов же тем временем — живой Гурнов, не покойник, — возложил, как венок, доставленный по адресу дипломат и на цыпочках

двинулся быстренько к выходу. Десяти минут не прошло, как автомобиль его вырулил на шоссе Энтузиастов, а еще через десять мчался по Москве — мимо пышных цветочных базаров, делающих похожей столицу на кладбище, мимо желтых ларьков, возле которых мужики лакали из трехлитровых банок пиво (о Конкордия! Ей и не снился такой размах), мимо пустых универсамов и ломящихся от товара комиссионков, где между двухсотрублевыми трусиками из Парижа и бразильскими кроссовками сверкала золотом бутылка отменного кьянти, мимо горластых торговцев газетами, что нарождались чуть ли не каждый день (Гурнов покупал «Совершенно секретно» — для себя и информационный бюллетень сексуальных меньшинств — для Резинкина), мимо разодетых в фирму нищих музыкантов, которые, бросив шляпу на асфальт, тоже фирменную, наяривали в подземных переходах американские блюзы. Вылетел на Колхозную площадь, вновь переименованную в Сухаревскую, и тут увидел в зеркале заднего вида красный мотоцикл. Низложенный король прибавил скорость, но мотоцикл приближался, а когда между ним и «Вольво» втерся юркий «Жигуленок», встал по-лошадиному на дыбы. На улице Чехова свернул Гурнов, пронесся мимо станции метро «Новослободская» и выскочил к родному Савеловскому вокзалу, густо облепленному лотками и жаровнями, киосками «Фанты» и поставленными на попа ящиками, книжными развалами и автоматами пригородных касс. У последних хозяин брошенного «Вольво» на миг задержался, но Левушка, тоже оставив мотоцикл, уже бежал к нему с дипломатом в руке, и тогда он метнулся к электричке с поднятыми пантографами, влетел в первый же вагон, и двери с упругим резиновым стуком съехались — прямо перед Левушкиным носом. Электричка тронулась. Залыхавшийся безбилетник отер пот со лба, глянул сквозь стекло на полупустые сиденья и остался в тамбуре, дабы выйти на первой же остановке. Раньше это была Окружная, но теперь появилась еще одна станция — Гурнов не знал даже ее названия... «Тимирязевская» — прочел, когда справа побежала платформа, но как-то очень быстро побежала, очень юрко — поезд не только не тормозил, но явно набирал скорость, причем набирал так стремительно, что название следующей платформы он уже схватить не успел. Это была Окружная, он узнал ее; все электрички останавливались здесь — все, кроме дубенской. Неужели?.. Обеспокоенно глянул сквозь стекло внутрь вагона. Пассажиры, судя по всему, были дальними и устраивались надолго: женщины вязали, мужики играли в домино и карты, кто-то, поджав ноги, улегся спать, а кто-то накрывал ужин, постелив вместо скатерти газетку. Другие без скатерти обходились: передавали из рук в руки большую, из-под портвейна, бутылку с водочной этикеткой (из-за дефицита тары водку с некоторых пор разливали в винные емкости), отхлебывали из горлышка и, закусывая, грызли по очереди большой желтый огурец. Еще одна станция пролетела за окном — то ли Бескудниково, то ли Лианозово, по мосту загрохотал поезд, над водной гладью с белыми корабликами, где когда-то великолепный Гурнов развлекал спортивными играми смешливую Кристу, а лобненский Шурик с завистью глядел на них из проносящейся электрички. Но проносящейся не так быстро, эта же разгонялась все сильнее и сильнее: подпрыгивали костяшки домино на лакированном сиденье, опрокинулась бутылка с молоком, по проходу катался, разматываясь, клубок шерсти, и хозяйка, растрепанная женщина в очках, никак не могла поймать его, так швыряло из стороны в сторону. Захрипело радио — кажется, требовали сесть по местам, привязать ремни и воздержаться от курения. К стеклу прильнул пассажир в тамбуре, прижался лбом и смотрел, не отрываясь, как уходит земля из-под колес, как уменьшаются дома и сужаются дороги (по одной медленно двигался красный мотоцикл), как в оловянных солдатиков превращаются люди... Пролетели Долгопрудный — до Лобни отсюда было двенадцать минут, но это если на электричке, сейчас же и одной не прошло, как показались разветвленные ниточки железнодорожных путей с гирляндами цистерн, длинный тонкий мост, кирпичные девятиэтажки и ошестинившееся антеннами приземистое строение с разноцветными окнами, у самого маленького из которых, почудилось лобненскому Шурику, стоит, воздев к небу глаза, старая женщина с большими белыми, словно вываренными, руками.

Сквозняки родных о к р а и н

* * *

И ни прощенья, ни отреченья,
ни синего звездного освещенья.
И полночь длится, и снег томится,
дымится призрачная столица,
под снегом боится дышать земля —
и в небо, греющее до дрожи,
в лоскутья красной прозрачной кожи
вонзились спицрутенами тополя.

И воздух мечется обреченный,
меж красным небом и ночью черной,
покорный, плачущий, прирученный...

Без правоты, без прав, без ответа
стой на своем и не жди рассвета.
Нет прощенья — и не надо:
стой на своем и не жди пощады.
И упирайся глазами слепо
в фонарные бельма — бесцветный слепок
красного неба над пустырем,
загнанным в прямоугольный проем.

Попытка к бегству

— Ты знаешь край? — А ты? — Смотри в экран.
Как шум и блеск волны непререкаем.
Лимон и лавр. И мы с тобой вступаем
В любимейшую из Господних стран.

Пройдем же грань, где за стекляннным краем
Нас не отыщут злоба и обман,
Где не загонят холод и туман
В дома, которых мы не выбираем.

Где нас не остановит снегопад —
Патруль весны, трясущей всех подряд,
Где грязный дым над нами не хозяин...

— Что, полегчало? Можно и назад.
Потрогай мрамор, брось прощальный взгляд —
И вспять, на сквозняки родных окраин.

* * *

Ехал рыжий сумасшедший
рядом с тихим скрипачом.
Ехал тихий сумасшедший
рядом с лысым скрипачом,
а что они по крови братья —
я тут, правда, ни при чем.

На шагаловской открытке
мокрый ветер завывал.
Над голубеньким вагоном
мокрый ветер завывал.
И петух орал с балкона —
бурю, что ли, вызывал?

А на рыжем сумасшедшем
был оранжевый картуз.
А на тихом музыканте
был коричневый костюм,

и сразу видно: это братья,
и не взяты им за ум.

А в голубеньком вагоне
их никто не замечал.
А они стояли тихо,
что-то тихо бормоча,
и сочилась в вентрешетки
легендарная печаль.

Сбоку женщина сидела,
и разглядывала их,
и перчатку поправляла,
и смеялась про себя.
Она им сестра по крови —
это общая судьба.
Она им сестра по крови,
а в другом ей — Бог судья.

* * *

Пижма зацвела. Пошли дожди.
Значит, скоро осень, расставанье,
хорошо бы, навсегда. Желанья
выдают усталость. Подожди
обижаться — подойди, послушай:
лопаются пузыри над лужей,
хлюпает промокшая листва,
нет у нас ни крова, ни покрова:
нашей жизни скудная основа
непонятно чем еще жива.
Ты ж учился мастерству разлуки!
Греются заласканные руки,
льнут вслепую, тянутся в приют.
Расставанье — нет такой науки.
Есть дурной рецепт: при черной муке
пьют и плачут, плачут и поют.
Плакало мое предназначенье.
Ну, да Бог с ним! Времени теченье
вынесет тебя или меня
к морю, в августовское свеченье,
где по горло соли и огня.



Младший брат

РОМАН

Часть четвертая. СВОБОДА

Глава первая

Августовская духота к вечеру рассеялась. Пахло свежим сеном и еще почему-то — горелыми зелеными листьями, паровозным дымом, мазутом, копотью. В заплеванном тамбуре электрички Марк высунулся в выбитое дверное окно и тут же, передернув плечами, втянул голову обратно.

«Ладно, — думал он, — допустим, ленинградские комитетчики и пришлют рапорт о конфискованных письмах на Лубянку, ну, поместят его в досье Клэр, настрочат заключение — мол, неблагонадежна, не пущать или как там у них. А могут и не прислать. Подумаешь, ГБ. Такая же неэффективная советская контора, как все остальные. Но даже если пришлют, даже если... то с какой стати этим материалам пересекаться с досье Соломина М. Е., старшего гида-переводчика Конторы по обслуживанию иностранных туристов?»

Пьяный старик, мирно пошатывавшийся с ним рядом, вдруг наклонился к Марку и что-то забормотал. «Переделкино, — различил он, — на черта мне это твое Переделкино? Ты слышь, ты дай мне лучше закурить, парень. Ну, бывал я в твоём Переделкино, Симонова как тебя видел, я и в Калуге бывал, и в Ташкенте, я на Сахалине пять лет! — вскрикнул он. — Пять лет! По оргнабору! Я и в Гагры ездил отдыхать в пятьдесят восьмом...» Откусив у Маркова «Данхилла» фильтр, он вставил сигарету в беззубый рот и замолк, истекая коричневой слюной.

«Разумеется, — Марк отвернулся, — никому в жизни не придет в голову, что я мог иметь касательство к этим проклятым письмам. Вот и выходит, что сам я все-таки в безопасности. И получается, по справедливости, что надо выкарабкиваться. Спасайся, кто может! Даже сама... сама Клэр упрашивала меня не торопиться. Как она говорила — вот именно. Нельзя стремиться к несбыточному. Что ж, послушаемся, зачем переть на рожон?..»

В Очаково настырный старик вышел, зато ввалился чуть не взвод гогочущих солдат, прижавших Марка прямо к холодной железной стенке вагона. Он все-таки удержался у дверей, ради воздуха и ветра.

«Хоть бы зубы заболели, и то было б легче, — думал он. — Но, впрочем... я же не сжигаю своих кораблей. Станет совсем нестерпимо — сбегу. Скатаюсь тихой сапой в Сирию. Через полгода — в Индию отправят. А уж в Калькутте — прямоком в американское консульство. А? Сергея Георгиевича тут же инфаркт хватит. И ничё, одной гадиной на свете меньше. Светку жалко. Отца жалко. Мать. Или не сбегу? Кто же в здравом уме меняет родину на бабу? И все же, как бы там ни было, сейчас у тебя, дорогой Марк, задача одна — сидеть и не рыпаться. Даже переговоры с адвокатом, может быть, вести только через отца».

— Дело нешуточное, — ворковал каких-то два часа назад толстенький плюгавый Ефим Семенович, — дельце нелегкое, а точнее выразиться,

Окончание. Начало см. №№ 7, 8, с. г.

и просто тяжелое, поскольку государственное дело, да, государственное! — Он поднял указательный палец. — Хлопот будет заметное количество, расходов тоже...

В подвальную юридическую консультацию у Чистых прудов — в желто-сером огромном доме, украшенном барельефами драконов и птиц-фениксов в стиле «Мира искусства», — Евгения Петровича с сыном направили знакомые из Совета церквей, Бог весть откуда узнавшие о несчастье, постигшем «еретика» из Малого Институтского переулка.

— Расходы мы возместим, — торопливо вставил отец, — и по счету, и все, что сверх того...

— Отблагодарим, Ефим Семенович. — Марк перехватил скептический взгляд адвоката, направленный на отцовские обтрепанные брюки. — Давайте уж, чтобы вам не волноваться... — Сторублевая бумажка мистера Грина столь же мгновенно, сколь незаметно, перекочевала из ладони Марка в нагрудный карман адвокатского фланелевого пиджака.

— Ни на минуту, представьте себе, не сомневался! — воодушевился Ефим Семенович. — Но во избежание иллюзий должен честнейшим образом предупредить, что далеко не все в моих скромных силах, и на оправдание нашего подзащитного рассчитывать, увы, вовсе даже и не приходится. Да. — Он посыпал номерами и названиями статей Уголовного кодекса. — Пока еще неясно, по какой из них предъявят обвинение на суде вашему...

— Сыну.

— Сыну. Неясно, дорогие вы мои, туманно! Арестовали по одной, судят по другой — прераспространеннейшая, доложу вам, практика! Сами понимаете, я тоже личность официальная, работник, если позволите, нашей советской адвокатуры, так что линию защиты придется нам с вами проводить далеко не простую, в некотором смысле даже сложную будем мы с вами вести линию защиты. Да! Сразу могу вас обрадовать, шестьдесят четвертой статьей и не пахнет, измены родине в наличии не имеется. Будут вашему Баевскому инкриминировать либо распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советский государственный, так сказать, и общественный строй, либо антисоветскую агитацию. Первое было бы много симпатичней.

— Почему? — удивился отец.

— Спрашиваете! Наивный вы человек! Есть разница между тремя годами и семьей? А? То-то же. Короче, будем брать быка за рога. Через пару недель выхлопочу разрешение на ведение дела, прочту этот несчастный роман — и, засучив рукава, примемся мы с вами за труды праведные.

— Когда мы сможем с ним повидаться?

— Тогда же, когда и я, — поскучнел Ефим Семенович, — по окончании предварительного следствия.

— То есть когда?

— Разве от меня это зависит, товарищи вы мои? По закону срок — два месяца. Бывает, и до года доходит. Тут уж все зависит от подследственного. Любишь кататься — люби и саночки возить, да!

Было, было в жовиальном адвокате нечто от тех врачей, что в разговорах с умирающими продолжают неумеренно употреблять местоимение «мы» и уменьшительные суффиксы. Однако репутация у него была самая благоприятная. Двум его подзащитным из диссидентов вдруг дали неожиданно мягкие сроки, третьего и вовсе отпустили с условным приговором.

Правда, во всех помянутых случаях подзащитные искренно калялись на суде и разве что не били себя в грудь кулаками.

— Но не беспокойтесь так, не нервничайте. — Он одарил отца и сына ласковым лучащимся взором. — Время предварительного заключения так или иначе засчитывается в срок. К тому же, — он понизил голос, — чем позже суд, тем больше у меня шансов, ну, вы понимаете... А вдруг выгорит, возжелают обойтись без шума, и обойдется все покаянным письмом... или пойдет вообще безо всяких романов, знаете как, хулиганство там, тунеядство, мелкая спекуляция... Вон Глузман с Лобановым как дешево отделались — сказка!

— Вы всерьез, Ефим Семенович?

— О-хо-хо, молодой человек! Вы не отдайте себе отчета, что могли этим голубчикам, пардон, впаять? Создание организации, направленной на

свержение существующего строя, — не желаете? Десять лет строгого режима плюс пять ссылки — не хотите? А так они отсидят свое, может, и московскую прописку обратно получают, а то и под амнистию подпадут. Еще вопросы?

Тут выяснилось, что даже по окончании следствия ни Евгению Петровичу, ни Марку не полагалось никаких свиданий с обвиняемым, ибо в глазах закона они вовсе не были никакими родственниками ему. Постояв в очередной театральной позе, на сей раз — обхватив руками голову, адвокат обещал «похлопотать» и «об стенку расшибиться». На том и растались. Отец заторопился в церковь, Марк — на Киевский вокзал.

Сошли наконец бессовестно матерившиеся солдаты. Поезд пустел, и Марк вернулся в вагон. Свете наскучил ее французский роман, и от прикосновения ее руки Марк вздрогнул. Сжигать корабли опасно, не сжигать, быть может, куда мучительней.

— Очень боишься? Право слово, отец совсем не такой зверь.

— Зря ты ему сказала про наше родство.

— Наверно. Но у меня тоже есть нервы. Он мне железно дал слово повременить со статьей — и вдруг эта идиотская газета. Я ему сгоряча все и выложила. Не мог, говорю, ради жениха единственной дочери постараться, раз в жизни... Но послушай, ведь твоей-то вины во всей этой истории совсем нет, правда?

— Правда. Ты захватила сумку? Нам на следующей. Как бы дождя не было.

— Будем надеяться.

Ползли по небу темные серые тучи, холодный ветер обещал скверную ночь. И сияли в наступающей тьме начищенные медные купола церквушки, отчаянно шумела кладбищенская листва, черным огнем горели в ней перезрелые вишни, еще не расклеванные воробьями.

— Пожалуйста, Марк, не расстраивайся так. Я тоже по-своему люблю Андрея, я понимаю, что дела плохи, но ведь не конец же света. Надо и о себе подумать. А у нас может все остаться по-старому. Ну, отложим свадьбу, что изменится? Приглашения я еще не начинала рассылать, жить будешь по-прежнему у меня, и в Сочи поедем, как хотели. Что отец? Он другого поколения, ты тоже должен войти в его положение...

Раскрасневшаяся Света тараторила нервно и быстро, не без нотки извечного женского оптимизма.

— Ты такой странный вернулся из этой командировки. — Она заглянула Марку в окаменевшее лицо. — И у меня идея... Давай я тебя полечу. Погоди, не кидайся, я не о лекарствах вовсе. Мне Соня достала тибетские травы... даже женьшень, кажется...

— Отстань! — буркнул Марк. — Обойдусь. Ты чего от меня хочешь? Твой папаша, можно сказать, засадил в тюрьму моего любимого брата, и я же теперь должен тащиться к нему на поклон! Благодарю, мол, сердечно, многоуважаемый Сергей Георгиевич, удружили по-родственному, век буду за вас Бога молить...

— Не трожь моего отца! — оскорбилась Света. — Ты забываешься, Марк! Интересная ты личность! Как приезжать на дачу по выходным, коньячок попивать, как жить у меня на квартире на его же деньги, как на свадьбу с него брать, подарки заказывать — ты тут как тут, а как наступает время расхлебывать кашу, заваренную твоим замечательным братцем, — у тебя, видите ли, принципы появляются! Хорош гусь!

— Ты как со мной разговариваешь?

— А как еще прикажешь?

Марк промолчал.

— Ты вообще мне исподтишка хамишь с самого возвращения. Ты думаешь, я железная? Ты не представляешь, какой хипеж подымется в Союзе, если узнают, что ты брат того самого Баевского? Ты не понимаешь, в какое идиотское положение он поставил не только отца, но и нас с тобой.

Хоть и переругивались они со Светой, но шли споро. Кладбище давно осталось позади. Дом творчества тоже, и по обе стороны дороги тянулись когда легкие, а когда глухие заборы писательских хором. В сумке у Марка побулькивала примирительная бутылка джина, поднесенная ему в Ленинграде Дианой.

— Ну и логика у тебя, дорогая. Поверь, что Андрей с куда большим удовольствием шел бы сейчас с нами, а не в Лефортове сидел.

— Рассказывай! — отпарировала умная Света. — Будто ты не замечал, какой пижон твой братец! В печенках у меня сидит все это юродство, изобретение себе поэтической биографии. Ах, мы непризнанные, ах, мы подпольная литература, ах, нас посадить могут, мы нищие, мы гениальные... Что он, законов не знает? Или хоть поосторожней был бы, что ли. — Она неожиданно сбилась с тона торжествующей добродетели. — Заложили же его... не могли не заложить...

— Постой, — встрепенулся Марк, — погоди, ты хочешь сказать...

— Ничего я не хочу сказать, — досадливо отмахнулась Света. — Отец, кажется, и сам ни черта не знает.

С участка Сергея Георгиевича доносился залиvistый лай, меж яблонь, увешанных тяжелыми зелеными плодами, носился щенок Женька, за два месяца ухитрившийся вымахать до не то что внушительных, но уже собачьих, а не щенячьих размеров. Нахмуренный хозяин обнял и расцеловал дочь, на Марка взглянул сначала пристально, потом укоризненно — и, наконец, протянул-таки ему руку.

— Как помидоры, Сергей Георгиевич? — Марк кивнул в сторону грядки, на которой всего три недели назад сам возился с прополкой. — Урожай есть?

— И очень хороший, — откликнулся хозяин, — сегодня попробуем. Я на эту грядку еще навоза добавил. Растет, как на дрожжах. Ладно, что вы мнетесь, будто неродные? У меня сегодня все по-холостяцки... но уж накормлю-напою с грехом пополам. Давайте-ка только на веранде рассладемся — духота в доме страшная.

После нескольких натянутых фраз расселись в дачных сумерках за некрашеным дощатым столом, свет зажигать медлили. Марк налил себе и прозаику Ч. по полному стакану — да тут же и опрокинул свой одним глотком. Сергей Георгиевич, впрочем, поступил точно так же.

— Забористая штука! — Он шумно принялся нюхать корочку. — Сколько, говоришь, градусов? Семьдесят?

— По-нашему, сорок.

— И елкой вроде припахивает?

— Можжевельником.

— Да, — неопределенно молвил прозаик, — умеют, черти, не то что у нас — все водка да водка... Как съездил?

— Нормально.

— Мать-отец живы-здоровы?

— Мать в отпуск собирается, в Коктебель. Отец, конечно, расстроен, а что поделать! Вы-то как в Набережных Челнах?

— Работа кипит, читатель отличный. Жрать, впрочем, как и всюду, нечего. Послезавтра пойду на прием в ЦК. Собрали на стройку цвет рабочего класса со всей страны и не могут им побольше колбасы этой несчастной подбросить, тоже мне проблема. Зло берет. Ну, справимся как-нибудь. Отец, говоришь, расстроен. Да и сам ты, вижу, не больно весел. Так?

— Чего там веселиться!

— Сам виноват! — отрезал Сергей Георгиевич. — Мы об этом романе говорили до твоего отъезда? Говорили. Что у тебя, язык бы отсох признаться? Нет, струсил. Потом Светку подсылаешь. Последнее, между прочим, дело — за бабьей спиной укрываться. Она темнит, я, разумеется, полагаю, что все это женские капризы. И вдруг как обухом по голове — он тебе, видите ли, чуть не родной брат! Эх ты! Могли бы ведь сесть за стол, обговорить все по-человечески...

Голос Сергея Георгиевича, то негодующий, то сожалеющий, звучал слишком резко на этой тесной и тихой веранде, заставленной ветхой плетеной мебелью да заваленной всяким дачным барахлом. В одном углу пылились останки велосипеда, в другом — мертвый телевизор. Стопки пожелтевших газет и журналов распространяли еле уловимый запах тления. А на дворе раскачивались, скрипя, полувековые сосны, повизгивала неугомонная Женька. «Тут должны быть ежи, на этом участке, — подумал Марк, — да, ежи».

— Светка, — распорядился Сергей Георгиевич, — поди в дом. Там мне пластинок прислали из Англии, и битлы, роллинг, как их, стоунз.

Баба с возу — кобыле легче, — доверительно изрек он, когда за дочерью затворилась дверь. — Что вы со свадьбой решили?

— Отложить, — сказал Марк. — Во-первых, отпуска мне что-то не дают, во-вторых... сами понимаете...

— Очень хорошо, — с видимым облегчением выдохнул захмелевший прозаик Ч. — Дай-ка еще твоего джина. Помалкиваешь, молодой человек, хитришь! А ведь знаю я, что у тебя на уме. Знаю! Пей, пей. Ты молоко-сос, Марк Евгеньевич! Ты видел настоящую жизнь? Ты на фронте был? Тебя из партии исключали? Ты ночного стука в дверь боялся когда-нибудь? Вот и рассуждаешь, твою мать, как Спиноза. Добро, зло, гуманизм... Ты — чистенький. А Сергей Георгиевич — сталинист, второй Булгарин. Сергей Георгиевич похабные статейки сочиняет. Так?

Марк покачал головой.

— Катись, юноша, я тебя насквозь вижу. Тебе известно, сколько я в жизни делал добра? Нет? А врагов у меня сколько? Я кровь проливал за свое отечество. — В голосе его зазвучала живая обида. — Я русский писатель! В кунцевскую больницу хотел перевести, почти договорился...

— Кого?

— Да Владимира Михайловича твоего, старого дурака. Отдельную палату обещали. Незаслуженно, мол, репрессированный, заслуженный старый большевик.

— Не захотел?

— Нет, — односложно ответил прозаик Ч. — Я кровь проливал, — снова добавил он, — не для того, чтобы всякая шваль нам ставила палки в колеса. Кто ж спорит, неаппетитная статья. Есть полемические поддержки. Но ты уж извини, Марк Евгеньич, надо бить врага его же оружием. А как он поливал наше самое святое в своей книжонке, тебе известно не хуже меня.

— Я... — начал Марк.

— Не вздумай только петь мне Лазаря на ту тему, что романа ты не читал и вообще думал, что твой братец кочегар или кто там, дворник, — предупредил его Сергей Георгиевич. — Баевский твой в глубокой жопе, заодно с ним и ты, так что суди сам.

— Я...

— Помалкивай! Поправить уже ничего нельзя. То есть можно бы, если б твой брательник был поумнее, но — глуп. На нынешнем уровне и прозаик Ч., прости, винтик, в лучшем случае гайка. Он, Баевский, не из жидов по матери?

— На четверть татарин.

— И он всегда был такой... не наш?

— Мы о политике никогда... — промямлил Марк, — я стихи его любил... спорил... он говорил, что политикой не интересуется...

— Спорил, да недоспорил. Значит, он полагает, что с эмигрантским сбродом и с ЦРУ якшаться — это не политика? Пасквили сочинять — не политика? Интересно. Теперь вот посадят его — и опять вой по всему миру, в Советском Союзе-де писателей репрессируют. И папаша твой...

— Он-то здесь при чем?

— В метрике прочерк у твоего братца, — неохотно пояснил прозаик Ч., — раскапывать мы не стали. А отец твой оказался фигурой заметной. Глядишь, баптисты какие-нибудь вонючие из Америки протест пришлют... Ох, раньше не то было, раньше давили мы врагов без оглядки... в старые времена...

Эта последняя фраза, произнесенная с кровожадностью, совсем не свойственной Сергею Георгиевичу — тем более что никого он в «старые времена» особо не «давил», — как-то смутила и его самого, и Марка.

— Я и близок-то с ним особо не был, — начал гость, медленно подбирая слова, — видались у отца, ну, у общих знакомых... Стихи его мне нравились... Приятно же чувствовать себя братом поэта... да и росли мы врозь... Вы же сами знаете, Андрей — незаконный ребенок. Отец, правда, его матери всегда помогал. А нас познакомил всего лет двенадцать назад.

— Значит, в амбицию не полезешь?

— Нет.

— Отлично. Только не худо бы тебе, зятек, еще и заявлениице составить. Так, мол, и так, антипатриотический поступок Баевского А. Е. решительно осуждаю... Ну, еще что-нибудь подсочинишь... Помогу.

— Вот этого уже не могу никак, Сергей Георгиевич. Увольте.

— Понимаю, — сочувственно отозвался прозаик Ч.

Сумерки сгустились, вместо лиц собеседников виднелись лишь светлые пятна. Впрочем, Сергей Георгиевич то и дело устраивал подобие небольшого костра в своей трубке, да и Марк курил не переставая.

— Дело твое. Между прочим, знаешь, сколько пришло писем в ответ на статью? Семь тысяч пятьсот шестьдесят. В завтрашнем номере будет подборка. Отлично. А то радиоголоса уже разоряются, лают на весь свет...

— Я кое-что слышал, — сдержанно сказал Марк.

— И про Розенкранца? Нет? Ну этого, со штанами? Так он уже умудрился комитет защиты Баевского сколотить. Сам видишь, дружков у него и без тебя хватает.

Еще выпили, снова закурили. Раскрыли наружную дверь. Собака, лая, бросилась к Марку на колени, а с нею на веранду ворвался запах влажной летней земли, жасмина, отцветающего шиповника и еще чего-то такого, чему и названия-то нет на человеческом языке, — жизни, быть может.

— Словом, живи себе у Светланы, я против тебя лично ничего не имею. А заявление, к слову, осталось бы строго между нами.

— Зачем же оно тогда вообще?

— Вот сюда его спрячу. — Сергей Георгиевич хлопнул по внутреннему карману летнего пальто, висевшего на спинке стула. — На всякий пожарный. Для укрепления нашего с тобой взаимного доверия. А?

— Идет, — неожиданно сказал Марк.

В голову ему пришла счастливая мысль — в обмен на заявление, которое, разумеется, не могло иметь никакого значения и уж тем более никому не могло повредить, попытаться кое-что выведать у прозаика Ч., который исписанную Марком бумагу действительно спрятал в карман, украшенный синей с золотом иностранной этикеткой.

— А хреновые были дружки у твоего Андрея! — засмеялся Сергей Георгиевич после нескольких осторожных вопросов. — Заложили они его, зятек, как орешек раскололись. В сущности, вся эта диссидентская шатия такая — молодец против овец, а против молодца и сам овца.

Вот и вся информация, которой удалось разжиться Марку в обмен на его довольно красноречивое, по стилю напоминавшее отречения тридцатых и пятидесятых годов, «заявление». То ли хитрил искушенный мастер пера, то ли и в самом деле не посвящал его друг-полковник кое в какие тайны ремесла. Вернулась Света. Кое-как отужинали, с грехом пополам досидели остаток вечера. К ночи заморосило, посвежело. Сославшись на подпитие, хозяин дома не стал подвозить их до станции; впрочем, проводил пешком до самого кладбища.

Глава вторая

«Просыпаюсь рано рано вспоминаю: никогда мерно капает из крана обнаженная вода ей текучей мирной твари соплеменнице моей удается петь едва ли плакать хочется скорей долгим утром в птичьем шуме слышу жалобы сквозь сон эй приятель ты не умер нет по-прежнему влюблен.

Дай твоих объятий влажных тех которые люблю без тебя я этой жажды никогда не утолю дай прикосновений нежных напои меня в пути чтобы я в пустых надеждах мог печально изойти насладиться сердца бегом покидая сонный дом становясь дождем и снегом льдом порошей и дождем».

Было.

Дворницкая. Первые от руки страницы дурацкого романа.

Мастерская Якова. Ты не можешь обычных картин, вот и весь твой авангардизм, говорил я.

Он назло мне эту картину... ветку черемухи на потертой кухонной клеенке, клетчатой. Просто ветку черемухи. И по самой клеенке узнавались пятидесятые годы. Тогда еще не было красивых.

Были муравьи, появлялись весной на коммунальной кухне, и общего рыжего кота звали Василий, как же еще.

Никогда не мучил зверей. Ни кошек, ни лягушек. В лагере ребята из старшего отряда, кусок стекла, кровь. Кинулся защищать, получил под дых, плакал на траве, а лягушку убили и бросили. Иван смеялся. Кошек нет, а низших насекомых в детские годы препарировал в заметном количестве — из любопытства к смерти. Особенно гусениц.

Гусениц.

Летом пятьдесят седьмого фестиваль, и непарный шелкопряд в подмосковных лесах. На каждой рыжей сосне. Сотни, тысячи неподвижных белых бабочек, мохнатых, со сложенными крыльями.

И не любил никогда, о нет, любил, конечно, и тогда в Сочи нравилось, что маленькая и голос резкий, и было хорошо, ах чем она-то виновата?

Мы их в морилки сажали — знаешь, такие стеклянные банки, затянутые марлей, и чуть-чуть спирта на донышке. Или не спирта? Смеси с формалином, кажется, уж и не припомню. Бабочки так спокойно давали себя снимать с бугристой коры, и скоро набиралась полная банка мертвых, чуть трепетавших крыльями, и мы их выбрасывали на траву. А кучки яиц на деревьях — кладки, по-научному, — мазали керосином. Это ведь диверсия была. В Москве фестиваль, страшные дела — понаехало иностранцев, навезли сифилиса и детям раздают отравленную жвачку

в карман светло-серого летнего пальто этикетка финнлен кажется я тоже хотел себе такое потемнее и покрой поспортивнее только в конторе на складе ничего похожего а прошлым летом мелькали в обычных магазинах чистая шерсть и синтетики всего пять процентов чтобы не мялось на такую погоду самое то но размеры начинались с пятьдесят четвертого что за черт расстраивался потом сообразил маленькие раскупают быстрее а внутренний карман глубокий и шелковая подкладка да у делового человека такой и должен быть

бумажник, визитные карточки, знакомства со своим дальним родственником Баевским не поддерживал и решительно, да, именно решительно отмежевываюсь от его преступных действий, направленных на подрыв советского строя.

Андрей так радовался джинсам от кости и этикеткой щеголял не думал я что ты такой пижон — и напрасно марк я пижон не меньше твоего ох иногда до смерти хочется с какой-нибудь красивой дурой мчаться в открытом автомобиле как в том французском кино

вот если это поможет твоему брату очень поможет сказал я он это все продаст и сможет лишних два месяца прожить в литве ну и дешевая у вас жизнь изумилась двана а ему мало чего нужно хозяйка берет сорок рублей в месяц как она говорит с картошкой ну еще на молоко мелочь грибы сам а пить он в таких поездках вовсе не

Это одно из лучших мест на земле, Клэр. Там серовато-синие реки и золотые закатные озера в сосновых лесах. Там я был почти счастлив, как ты в своей Ирландии, а море...

что море я люблю его до страсти но такая тоска девочка особенно ночами под окнами и всегда искал комнату подальше от пляжа пусть лучше шумят деревья знаешь любимая сухой шум южных деревьев акаций эвкалиптов да шуршат а пока стручки зеленые можно расщепить на конце и сделать свистульку завтра сделаю только соотечественники тебя побьют ты еще не знаешь как противно она пищит

боже мой ну почему же именно я

что ты хочешь от меня родная я многого не знаю да и откуда бы я же никогда не трогал пальцами другой жизни мы тут как гусеницы в стеклянной банке а я еще из просвещенных из привилегированных я встречаюсь с вами с австралийскими овцоведами пакистанскими юристами американскими дантистами английскими клерками и барабаню свои тексты и мало кто спорит а о чем спорить с китайцем который доказывает какое счастье три кило риса в неделю по карточкам зато по госцене и всем носить синие комбинезоны удобно да и пачкается меньше

так тоскливо было в этой дурацкой квартире пока не встретила с тобою прямо задыхалась то есть не святая конечно приходили и уходили подкатывались к завидной невесте струйский а что струйский мы дав-

но друг к другу охладели ты и лариса просто так совпало а поговорить у нас всегда о чем найдется и чтобы ты знал — он совсем не хотел туда на работу его отец чуть не силком заставил и ничего зазорного не вижу чем больше там порядочных людей тем лучше а ты еще доиграешься со своими приятелями и твой иван тоже себе на уме

что же я делаю

конечно любил не так как наталию но все-таки и вивальди и звон бокалов в шкафу и свежий ветер когда поздним вечером с таганки ты прав андрей он накатывается как жизнь и так же неотвратимо уходит хотя оставь это для стихов лучше выпьем еще

нет с тобою этот страх перед прибором почти пропал море шумит а я не слышу и шумит листва но не слышать и ее только твой голос твоё дыхание сестра моя невеста неужели мы могли бы никогда не встретиться смешно подумать нет это судьба и что бы ни было мы навсегда останемся вместе не плачь разлука неважно я никогда не был такой счастливый недолго ну и пусть довольно каждому дню своей заботы

кто же виноват

никто

кто виноват в шуме прибора в разлуке в смерти

так уж заведено и не смей меня любимая зачем богу наказывать нас и за что кто мы ему такие

слышишь цикаду в листве у нее глаза как телескопы

так в подмосковье большие кузнечики днем верещат на лугу а ночами залезают на деревья и поют с высоты словно ночные птицы поймать трудно да и ни к чему в неволе перестают петь

Костю ты непременно полюбишь. Попроси его Вилла-Лобоса одну пьесу сыграть, он знает, какую. Я часто слушаю его запись и все время вижу одно: осеннюю набережную северной реки, и цепочку фонарей, и туман. Попроси, слушай и думай обо мне, она такая грустная и светлая

нет они в политическом лагере хотя формально и за хулиганство ты должна рассказать ему обо всем в мельчайших деталях дай-ка сначала перескажи все мне для верности так жалко ребят

нет нет я совсем ни при чем я обыкновенный человек в точности как ты и это огромный грех требовать от обыкновенных людей героизма то-то же ты ведь и сама не героиня клэр правда а андрей может еще и выкрутится со своим псевдонимом — вдруг не раскроют

цикады да цикады китайцы сажают их в клеточки и продают смешные китайцы в широкополых соломенных шляпах с потешными клеточками из бамбука

а на арбате в комиссионке шары знаешь из слоновой кости ажурные такие один а внутри другой и третий и пятый доходило и до двух дюжин продавщица объясняла что внутренние вырезались через отверстия во внешних кропотливый труд и разве дорого двадцать восемь рублей если на такую игрушку может целая человеческая жизнь потрачена странные вещи вы говорите товарищ ну и не покупайте если не хотите

Стояла мягкая осень. Среди цветов, украшавших арбатские переулки и дворы, особенно ценились золотые шары, теперь растущие, кажется, только в провинции. Крупные ярко-желтые, они раскачивались на высоких голых стеблях под теплым ветерком, приносящим морозный запах разбитых арбузов с уличных развалов. Дети в фуфайках с начесом перебрасывались антоновскими яблоками, и никто не отваживался первым надкусить твердый, как камень, плод, но мало кто хотел и дожидаться глубокой зимы, когда те же яблоки, пожелтевшие и пахучие, извлекались запасливыми матерями из картонных коробок, наполненных соломой. Цветовая гамма осени тех лет небогата, над дворами развевается застиранное белье, и хозяйки, крихтя, выносят из подвалов массивные оцинкованные корыта. О, я напишу еще об этом времени, я еще вгляжусь в него сквозь слезы — окна раскрыты настежь, из одного, подвального, доносится скрипучая музыка, и молодая еще Людмила Зыкина выводит свои густые рудалы. Настурции, маки, садовая ромашка — вы видите, я ошибся насчет цветовой бедности — сообщали тогда всему одно- и двухэтажному захолустью столиты неповторимую щемящую прелесть, которой я не умел еще оценить, а теперь вспоминаю с тревогой и болью, не уступившими покуда места долгожданной и сладкой тоске по невозвратному.

а звонить из москвы в америку можно
и даже не очень трудно
так давай я тебе денег оставлю
ну ладно прости
а письма

да письма как я забыл я буду много писать тебе

мы так и не успели наговориться родной да и можно ли наговориться
когда любишь как я хочу повезти тебя в ирландию в этот городок и
пожить на ферме и в италию но не на сицилию и амстердам тоже пожа-
луй нет

но кто же мог расколоться все эти проклятые андреевы дружки а
знали об авторстве тоже многие владимир михайлович не в счет яков и
владик не в счет и иван конечно не в счет однако сколько безымянной
сволочи художники графоманы собутыльники он же повсюду читал отрыв-
ки только непонятно откуда в статье все эти детали явно кто-то близкий

ты ему точно понравишься у него вкус хороший хотя сам вовсе не
бабник он вообще человек усталый — храбрится изображает но мы с ним
страшно похожи я вас непременно сведу

что же в этом невозможного сама говорила приедешь через несколь-
ко месяцев он вернется из литвы даже если я буду женат у меня будет
машина и права скажу что командировка тебя посажу рядом а на заднее
сиденье андрея ивана инну все будут к тебе подлизываться и стрелять
сигареты и ты почувствуешь себя богатой иностранкой филантропкой по-
кровительницей диссидентов и подпольных русских писателей мы отпра-
вимся в маленькие городки куда иностранцев не пускают но на машине
совсем безопасно мы поедем в боровск и в углич да милая тот самый
где убили царевича димитрия

а у билла друг китаец профессор мы иногда ходим вместе в ресто-
ран он все заказывает сам на своем языке и дети по воскресеньям ходят
в китайскую школу хотя совсем американцы почему вспомнила да так
я его просто люблю он тихий такой и своему дяде старику в гонконге
послал денег издать книгу стихов я перевод слыхала так пронзительно и
неуловимо похоже на андрея а недавно старик умер и джон это наш
китаец ужасно горевал

ты права да ты права это лилипутский цирк грандиозная детская
игра только пистолеты и автоматы у этих детей настоящие и тюрьмы вот
и приходится прижиматься к земле не поднимать головы если сам не
хочешь стрелять да ты опять права — злые дети но я-то чем виноват я
здесь родился здесь мой дом я обязан принимать правила игры даже
подыгрывать разумеется у вас по-другому но ведь тоже есть правила и
тоже нелегко

Как быстро кончился дождь. Последние, самые невесомые капли
пролетают почти параллельно поверхности земли и беззвучно падают
в лужи, расходясь мелкими кольцами. В просветах между тучами сквозят
созвездия, чей рисунок едва различим в эту смутную погоду. Чужой по-
трескавшийся асфальт под моими ногами сияет отраженным ртутным све-
том, неузнаваемое российское небо стоит гигантским надувным куполом,
да и сам я, мнится, похож на античную тень, без дела шляющуюся по
земле и смущающую живых своими запоздалыми откровениями. Кончатся
мой долгий труд, а вместе с ним и молодость, и некому посвятить ни
первый, ни второй...

господи я надеялся будет легче гораздо легче а новые ботинки жмут
и это хорошо отвлекает только в левом полно крови а небо очистилось
только на горизонте клочья облаков и жутковатое зеленое зарево города
за что же старик так взъелся на прозаика

я не пью снотворных ты снова забыла мне к девяти на работу с тя-
желой головой нельзя осточертела ты мне со своими заботами спи ради
христа спи спи сколько раз можно повторять ну ладно прости нагрубил
согласен понимаю сам не знаю отчего я такой взвинченный не злись я на-
верное болен да именно болен точно пойду лягу на кухне может водки
выпить с минеральной водой говорят помогает а ты спи только дай мне
простынку нет не эту можно узкую спасибо одеяла не надо ночь теплая
да тревожусь да нервничаю да очень и с адвокатом снова встречаюсь пос-
лезавтра а ты как полагала что я подписал какую-то сволочную бумажон-

ку и на этом успокоился да у меня на целом свете нет никого ближе андрея да включая и тебя а ты как думала ты хоть отдаешь себе отчет в какой выгребной яме мне пришлось искупаться по милости твоего дражайшего папочки ну не реви не реви видишь я стараюсь все уладить не плачь не

господи если только ты существуешь

да да да сто раз слышал и евангелие читал нельзя служить богу и мамоне легче верблюду возлюби ближнего и отдай последнюю рубашку но бога нет и богатства нет ничего нет кроме сырой ночи и безумных звезд разве я хотел чего-то сверх меры разве не у всякого есть право на любовь и свободу господи если ты существуешь ответь за что ты так истязает меня

может быть это и не конец света

да если по отдельности но кости нет и якова нет и владика смешного нет и андрея нет и клэр тоже нет не много ли зараз отнимаешь господи будто со связанными руками ведешь не давая опомниться и оглянуться хоть сам-то я жив и свободен

господи хоть от бессонницы избавь меня завтра толкаться в метро и пять высоких этажей до отдела а мне не восемнадцать лет сердце стучит и одышка если не выспаться а дел выше головы бухгалтерия грядущий разыскать ивана к отцу заехать

постарел — а еще весной в новых очках круглых стальная оправка и после службы разговоры что проповедует не хуже покойного бочкова богу богово кесарю кесарево всякая власть от бога и даже в несправедливости есть божий промысел да он постарел и женщины слушали раскрыв рты

но мне таких утешений не нужно нет жизнь только одна ни рая ни ада не будет все это только сказочки для простонародья чтобы держать его в узде подумает не убий подумает не укради а то после смерти будет плохо я же извини взрослый неглупый человек зачем меня пугать лишать сладкого ставить в угол

еще бы не страшно

а ты как думала кто тебе сказал что жизнь состоит из малины с мармеладом

и никакого искупления не будет ты уж мне поверь

иногда в православную но нечасто раза два три в год а уильям каждое воскресенье к своим баптистам возвращается такой светлый и довольный

нечасто да но порою тянет совсем неудержимо хотя странно какая я христианка впрочем малыш тоже крещеный по-православному дед с бабкой наставляли упрашивали

я толком и не знаю милая он мне не рассказывал никогда только помню мать запрещала нам видаться и он поджидал меня в скверике напротив школы

из партии его давно уже выгнали с работы тоже

завтра в конторе продуктовый заказ магнитофон в коммиссионку деньги отцу

А вдалеке — гроза. Так далеко, что даже не слышно грома, не видно молний, которые лишь угадываются по отблескам на стенах и на влажной ночной листве. Впрочем, эти всполохи становятся все ярче. Гроза приближается, одна ветвистая молния обвила шпиль Университета на Ленинских горах, рассыпалась синими страшными искрами, другая застыла над мостом метрополитена, совершенно пустым и темным в этот предутренний час. В Нью-Йорке, напротив, солнечный ранний вечер. Костя Розенкранц, облаченный в униформу русского эмигранта (новенькие джинсы, с иголки джинсовая же, фирмы «Рэнглер», куртка, мягкие итальянские башмаки), отравивший окладистую бороду, но зато коротко стриженный, принимает гостей — профессора Уайтфилда, жену его Руфь, Диану, Гордона и Клэр. В городе да и в самой квартире жарко и душно. Единственное окно Кости настезь распахнуто на задний двор, украшенный ржавым остовом автомобиля и развешанным на веревках нейлоновым бельем соседей-итальянцев, чья быстрая переключаясь речь заполняет собою и собственную их квартиру с выходом на галерею, и весь двор, и даже, в значительной мере, Костино жилье. В отдалении уже добрый час заливается

плачем чей-то годовалый ребенок. Стульев нет, все пристроились прямо на полу, вернее, на вытертом персидском ковре, подобранном третьего дня на помойке предприимчивым хозяином. Костя выставил две огромные бутылки калифорнийского, визитеры — водку и баранью ногу, которую разделяет Диана на ободранном кухонном столе. Клэр заплакана, остальные несколько подавлены — за исключением пьяненького Розенкранца, который, похохатывая, несет какую-то тарабарщину насчет того, как было их в Москве четыре мушкетера, вернейших, можно сказать, товарища.

Наверное берет гитару и смеясь рассказывает как ее чуть не разломали в Шереметьево после рентгена бриллианты им почудились и то сказать едет на постоянное жительство а с собою только пара книг белье и ноты

и где-то в нью-йорке феликс этот проклятый уж не он ли лепит эти подарочки которые хэлен раздавала направо и налево нет это было бы уже слишком

бог с ним с биллом овечкой баптистской а вот художничек этот сложная натура лидор гнойный вешать таких мало зажрался решил поехать от скуки черножопых из автомата пострелять

что я сам я ничего вот и сплю на кухне как порядочный а вчера ну вчера не в счет и позавчера я просто не мог спать на кухне было б подозрительно

здорово рассадил ногу мерзкий ботинок прямо испанский сапог какой-то

все-таки жестко и холодно

а в детстве любил спать на полу когда дядя сергей приезжал иногда укладывали с отцом он дышал редко и глубоко я пытался подстроиться но не выходило скоро должны были новую квартиру в радиокомитете

открыть холодильник кто подарил эту водку кажется коганы

как косо смотрела мать на андрея тогда в первый раз а он худой робкий и костюма не было так в школьной форме и приехал

нет пожалуй не коганы это вообще с прошлой группы осталось

она на него наорала тогда по телефону с какой стати ты будешь заявляться к нам в гости со своим выbledком так и сказала но потом пирог с капустой и сама стала его приглашать но это много позже

просыпаюсь рано-рано вспоминаю: никогда

господи правый зачем ниспослал ты мне испытание это помилуй мя господи святой забери все оставь только покой награди покоем пронеси чашу сию господи грешен грешен я пред лицом твоим господи смрад источает душа моя но ты милостив ты всеведущ ты всемогущ я чист пред тобою господи я только слаб я даже подписывать ничего не хотел ничего ничего не хотел только покоя боже правый зачем ты подарил ее мне и тотчас отобрал зачем лучше убей меня боже я не подыму на себя рук ты знаешь но лучше убей чем так мучить

конечно слаб господи конечно слаб

не могу сразу разрывать все и не в корысти дело ну какая тут корысть просто жалость ведь она меня любит света и зачем умножать зло в мире разве мало его и без нас ну если станет совсем нестерпимо тогда но до самых последних сил надо держаться надо а там постепенно — не рубить же топором по живому

и никакого предательства кого я предаю разве что самого себя но пускай всем будет хорошо и спокойно а сам я как-нибудь перетерплю какой серый рассвет

да чем севернее тем красивей закаты и рассветы

в кириллове всю ночь ловили раков на свет фонаря и иван ругался на чем свет стоит и наталья на него злилась а потом был рассвет и он ахнул от восторга иван

А потом он забрался на заброшенную колокольню с местным плотником Колей, представляешь? Жрать-то там было особо нечего, маргарин, хлеб, макароны, рыбные консервы, ну, музейный сторож и подкармливался голубями — а ты что думаешь? Жирные они были, ленивые. Иван ему поставил четвертинку, тот их с Колей и проводил, и место показал, и забрать помог. Наловили они этих теплых сонных тварей чуть не целый мешок. Без скандала, конечно, не обошлось — девиц восторженных там хватало, да и художники чуть не все с эдакой теософской жилкой. Кошун-

ство, мол, церковных голубей в пищу употреблять, надругательство над святым духом. Большая была компания, человек десять. Ночь напролет костер жгли, к утру похмельные были, злые. Иван их и не слушал, впрочем. Туристический свой топорик достал и головы всему улову оттяпал без лишних рассуждений. А как дело было сделано — тут и чистюли наши встрепенулись. Запах от котла далеко шел, это тебе не лапша с мойвой мороженой. Раки тоже всем надоели. Пир вышел на весь мир. Конечно, дергается еще несколько секунд, когда голова отлетает, а дальше все ужасы как-то забываются. Протеин, говорил Иван, микроэлементы.

нет не хочу больше ничего вспоминать не могу лишь бы заснуть поскорее чушь какая ну хоть три часа поспать завтра зинаида дмитриевна через месяц партком и выездное дело уже начали но как же я сбегу какая глупость отца это убьет и мать тоже нет уж ежели она меня любит то пускай приезжает сама потом можно развестись и прочее а в визе могут и не отказать мы вечно все преувеличиваем а они небось попросту выбросили это письмо

а если нет

или бежать но сначала притаиться выглядеть паинькой чтобы ни одна сволоочь

а вдруг повезет вдруг забуду

холодная вода освежает разгоняет сон

губка такая мягкая струи бьют в лицо

вдруг все-таки засну хорошо бы а назавтра белую рубаху галстук и пакетик от хэлен не забыть отлично я придумал в отделе офонареют завтра

какое там завтра

день уже начался а костя все играет на своей гитаре потряхивая головою при каждом аккорде какие птицы в нью-йорке бог знает воробьи или диковины американские а здесь синицы и однажды снегирь с малиновой грудкой как на картинке из родной речи

птицы небесные

нет родная эта заповедь не по мне что за добрый дяденька поднесет мне на тарелочке этот завтрашний день коли сам не позабочусь

говоришь бог позаботится

спасибо он уже так обо мне позаботился по гроб жизни буду благодарен

как ненавижу всех

спать

Глава третья

— Мой авиабилет, краткий финансовый отчет, двенадцать — ой, вру! — восемь ваучеров, из них четыре двойных, все подшито и рассортировано. Чеки на дополнительные услуги я выписывал, как обычно, в отдельной книжке, вот она, со всеми копиями, два чека аннулировано. Сверх с извещением, Мариночка. Три раза транспорт в театр и обратно, сам театр, цирк, три банкета...

— Очень хорошо. Книжки тебе кто подписывал — Анатолий Матвеевич? Да-да, вижу. Перерасхода нет?

— Наоборот, есть небольшая экономия на питании, рублей двадцать. А с гостиницами, сама знаешь, нигде теперь нет трехрублевых, по смете нам положенных, номеров. Так что тут, разумеется, есть и перерасход.

— Но все написано?

— Конечно, каждый листок.

Поскучав минут десять под лязг арифмометра, Марк раскланялся с бухгалтером, вручив ей на добрую память пачку жевательной резинки и пакетик колготок от «Вулворта». Оставалось спуститься к Степану Владимировичу, настроичить чисто символический сводный отчет о поездке, всего страниц пять, а Марковым мелким почерком — никак не более двух.

Знакомая обстановка Конторы, стенгазеты с карикатурками, расплывшиеся машинописные копии приказов на доске объявлений (Марку полагалась неожиданная премия в тридцать два рубля), колченогие стулья, даже душноватый канцелярский воздух, от которого, помнится, па-

дал в обморок незадачливый герой «Процесса», — все это против ожидания подействовало на Марка успокаивающе. Почти автоматически бегал он подписывать копии чековых книжек, составляя финансовый отчет, курил с сослуживцами на лестнице, ритуально жалуясь на проказы туристов да сплетничая о московских похождениях красавца Гиви. Хорошо, когда зубная боль загоняет тебя наконец в кабинет стоматолога. Жужжит бормашина, поблескивают никелированные клещи, но больнее все равно не будет. Да и деваться особо некуда.

Самого Грядущего не было. Получив тетрадку от его коренастого заместителя, Марк принялся за работу бойко, даже не без извращенного удовольствия. Никого не обидел переводчик Соломин, никого не забыл. Хэлен на каждом шагу превозносила достижения советской власти, и чета Митчеллов дружно ей подпевала. Профессор Уайтфилд добродушно рассуждал о фундаментальных различиях между двумя системами, но неизменно заканчивал необходимостью разрядки и широчайших научных контактов с советскими исследователями, во многих областях значительно обогнавшими своих американских коллег. Политику США в странах третьего мира они наперебой с Гордоном «гневно осуждали», советская же, напротив, приводила их обоих в щенячий восторг. Коганы увозили подарки от брата, ни в чем подозрительном замечены не были. Мистер Грин фотографировал здание ташкентского аэропорта не по злему умыслу, а от восхищения его архитектурой и с неизбывным удовольствием отдавал фотоаппарат милиционеру, дабы тот засветил преступную пленку. Руфь на каждом шагу читала лекции о неравноправии полов в США и нашла, что в СССР достигнуто истинное раскрепощение женщины. Дантист уверял — и это было чистой правдой, — что каждый вызов «скорой помощи» обошелся бы ему в Штатах минимум в шестьдесят долларов, так что уколами, кислородом и врачебной помощью он едва ли не оправдал свою поездку, ха-ха. Его супруга, поначалу настроенная резко антисоветски, допустила ряд ошибочных высказываний об арабо-израильской войне и о самом агрессивном государстве Израиль, но после надлежащих объяснений гида-переводчика отчасти переменила свою реакционную точку зрения. Люси, по роковому заблуждению покинувшая родину, на каждом перекрестке рыдала от умиления и хотела, уклонясь от маршрута, посетить свою деревню, в чем ей было категорически отказано.

Тут Марк призадумался. Сколько, ах, Господи, как скользко! Об инциденте с профессорским чемоданом он мог и не знать. С какой, спрашивается, стати туристу Уайтфилду докладывать переводчику Соломину о пропаже нелегально провезенной литературы? А засим и своей сочинской халатности не следовало придавать особого значения. Случались у Марка промашки и посерьезнее. А вот с Клэр что прикажете делать? Он не обязан, конечно, упоминать в отчете всех своих туристов. Смолчать — и крышка. Но вдруг уже лежит в сейфе у Грядущего пулковская телега? Для страховки, только для страховки, надо бы добавить пару строчек о «вызывающем поведении туристки Фогель, пытавшейся контрабандой провезти... учинившей... допускаявшей и ранее...»

Нет.

«В целом отношение группы к СССР положительное, — вывел он, — чрезвычайных происшествий за время тура не отмечалось». Подпись вышла каллиграфическая, любо-дорого смотреть, но оценить ее было некому — заместитель Грядущего положил тетрадку, не читая, на стол своему начальнику.

Минут через сорок Марк уже названивал в дверь истоминской квартиры, с самого его приезда упорно не отвечавшей на телефонные звонки. После шорохов и поскрипываний Иван, в барском зеленом халате и тапочках на босу ногу, наконец отворил дверь, вяло пожал приятелю руку, дважды повернул ключ в замке и навесил цепочку.

— Ну где ты пропадал, дурья башка? — накинудся на него Марк. — На работе тебя нет, дома нет... совсем в бабах запутался?

— Какие бабы! Ты зачем приехал?

— То есть как? С каких пор я должен это объяснять? Я и уйти могу.

— Извини, — сказал Иван все тем же деревянным голосом. — Не хотел тебя обидеть. Ты знаешь, что умер Владимир Михайлович?

— Господи, помилуй...

— Да. Пошли в комнату. Прости за бардак. Умер, умер наш старик, книги и мебелишку завещал продать, вырученное присовокупить к скопленным восьмидесяти пяти рублям и на сей капитал похоронить его в Волгодге рядом с отцом-матерью. Прах, собственно, его племянница уже увезла. И часть книг, а другую соседи разворовали. Шкаф и кровать кто-то из них же купил, за пятнадцать рублей. Пей. Я тоже тебя разыскивал по всему городу.

— Вечная память.

— Вечная память.

— Он успел узнать об Андрее?

— Может, это его и доконало, — вздохнул Иван. — Ты помнишь, как он всегда говорил: коли начнут снова сажать писателей, то берегитесь, ребята, вся машина пойдет задним ходом? Но умирал легко, чуть ли не во сне, и в гробу лежал, почти улыбался. Так и не написал своих воспоминаний.

— Народ был?

— Куда больше, чем я думал. Штейн, друзья Штейна, четверговая молодежь, шахматисты, старухи. От Литфонда веночек жестяной прислали, от Союза журналистов. Пей еще. Славный был старик.

— Был.

— Между прочим, — вдруг оживился Иван, — он роскошный финт отмочил-таки под занавес. Ты слышал про его встречу с прозаиком?

— Да. А что?

— Выгнал он его! — сухо засмеялся Иван. — Даже, говорят, в рожу плюнул из последних сил. Уж не знаю, долетело ли.

— За Андрея? — поднял глаза Марк.

— И не только. Я не поленился вчера в библиотеку сходить. Поднял там «Литературку» за тридцать восьмой год. «Студент Ч. был одним из тех, кого едва не завлекла в свои липкие сети грязная троцкистско-бухаринская банда шпионов и вырождков, свившая свое змеиное гнездо в стенах ИФЛИ. К счастью, классовое самосознание вовремя подсказало ему правильный выход, помогло по-пролетарски принципиально подойти к вопросу о вредителях, сыграть, вместе с другими студентами, важную роль в разоблачении этих бешеных псов международного фашизма, ныне сметенных поганой метлой с победного пути социалистической революции...» Оччень вовремя сориентировался твой тестюшка. Самым первым в сборе помчался, даже каяться не пришлось. Дело давнее, а все ж, коли б не Светка, точнее, не ты сам, хорошо бы как следует набить твоему родственничку морду. Лично я с наслаждением бы поучаствовал. А за Андрея — особо.

— Тебе нужно беречь себя, Иван.

— А на хрена? — вскинулся Истомин. — Утомлен я, Марк Егеньевич. Смертельно утомлен. Ничего мне от жизни больше не требуется. Из института уволился... Почему? Долго рассказывать. Перессорился со всей лабораторией. Да и лазеры, признаться, обрыдли. Зато новая идея пришла в голову. Последняя. Больше идей не будет. Изящный такой замысел... Ты пей, пей.

— Мне на работу возвращаться еще. Что за план у тебя? Снова какие-нибудь листовки?

— Так я тебе сразу и доложу. Не хочешь пить, так погоди, сейчас кофе принесу.

Оставшийся в одиночестве Марк перебрался в кресло, убрав из него загадочного назначения предмет, отдаленно похожий на конскую сбрую, грубо сшитый из полосок искусственной кожи. Под креслом валялся вконец раскуроченный ножницами старый портфель, а на журнальном столике — растрепанная и пожелтевшая «Практическая пиротехника» издания 1909 года. За ее-то перелистыванием и застал Марка хозяин.

— Руки вверх!! — заорал он, прокравшись в комнату.

Марк коротко, но энергично выругался.

— Как умеем, так и шутим, — сказал Иван. — Вот твой кофе. Вообще-то я рад, что ты пришел.

— Спасибо на добром слове. Чтò с тобою, Истомин?

Кофе, сваренный с большим знанием дела, прихлебывали в молчании.

Щадя больную ногу, Иван сидел, по обыкновению, как-то боком, почти не обращая на собеседника блудливых глаз.

— Ты молодец, что позвонил в Ленинград, — наконец сказал Марк, — только в итоге ничего хорошего не вышло. И Натальино письмо, и заявление самого Андрея отобрали на таможне. Но мои туристы все на словах уже передали Косте, ты слыхал про комитет защиты Баевского? А сам я понятия не имею, что делать теперь.

— Адвоката наняли?

— Ефима Семеновича.

— Пронырлив, — определил Иван, — алчен, но довольно честен. Инна бегаёт по городу, тоже какие-то подписи собирает. Я не стал подписываться, — сообщил он хладнокровно, — не время еще. Что смотришь на меня, как солдат на вошь? Сам ведь тоже не подпишешь? То-то же. Обращение Костино я слыхал. Подписались, в числе прочих, чуть ли не Сол Беллоу и Алдайк. А я зато могу деньгами, денежками могу поспособствовать. Расчет получил, премия подоспела.

Из потайного отделеньица в верхнем ящике комода он извлек пухлый конверт.

— Возьмешь?

— Спасибо, — недоумевал Марк. — Сам-то ты на что жить будешь?

— Мне на жизнь теперь нужны самые крохи. А в доме одних пустых бутылок на полсотни. Весь балкон завален. Мне в тень надо уйти, Марк. Я теперь живу анахоретом, тихо-тихо, даже телефон выключил. Тебе свидание дадут?

— Обещали, — вздохнул Марк.

— Скажи, что я уехал. Много бы я дал, чтобы очутиться на его месте, — вдруг сорвалось у него с языка.

Гость слушал с раздражением. О каких, к чертовой матери, «обстоятельствах» лепечет этот неврастеник? Или он просто трус? Не пришел же он на процесс Якова и Владика, хотя перед зданием суда — внутрь пускали только родственников — толпились все его яacobинцы.

— Постой, — вдруг сообразил Марк, — как же твоя хваленая наука?

— Завязал, — сказал Иван. — Есть вещи поважнее.

— Не темни, дружище. Ну что ты, триппер подцепил? Или коньяку перебрал? Ну, умер наш старик, погорюем да и перестанем. И Андрей знал, на что идет. Из него теперь на Западе знаешь какую фигуру делают! А ты что перепугался? Сажать тебя не посадят, да ты вечно к тому же похвалялся, что лагерь тебе только опыта прибавит. Встряхнись, Иван Феоктистович!

— Благодарю за проповедь, — кивнул Иван, — но я не давал подписки напрасно рисковать своей шкурой. Надоело. Семинары к чертям собачьим, суды-процессы туда же. Знаешь, как было на фронте? Всякие там герои грудью кидались на танки. Танки шли дальше, а трупы героев штабелями сваливали в ямы. И поливали хлоркой — для дезинфекции. Терпеть не могу этого запаха.

Тут в дверь позвонили, потом еще и еще раз. Иван прокрался в прихожую и пристроился к дверному глазку. На четвертый звонок, впрочем, отворил, забрал у пожилой женщины-почтальона заказное письмо и огрызком карандаша где-то расписался. Захлопнул дверь, посмотрел на штемпель, хмыкнул, кинул конверт в раскрытый ящик комода.

— От Лены? — понимающе спросил Марк.

— Из Сибири. Ладно, хватит обо мне. Ты тоже, смотрю, не в лучшей форме. Как съездил? Как свадьба?

— До ноября отложили. — Марк быстро пересказал вчерашний разговор с прозаиком Ч., о подписанной бумаге, впрочем, умолчав, о внутреннем кармане финского летнего пальто — тоже.

— Даешь? — присвистнул Иван. — А как профессор? Как вообще твои американцы?

Марк вздохнул.

— Поход в Мавзолей ты помнишь?

— Век не забуду.

— Клэр помнишь?

— Припоминаю. За версту было видно, что через пару дней она тебе непременно даст. Это и есть твоя роковая тайна?

— Иван, давай без шуточек. Я по уши влюбился.

— Поздравляю. Светка знает?

— Я не идиот. Свадьбу отложили из-за брата, но я, Бог свидетель, не смог бы прямо так сейчас... Да и вообще не знаю, смогу ли. Влип я, Иван.

— Ну, — Истомин заметно воодушевился, — еще раз поздравляю! Если и она, по остроумному твоему выражению, влипла, так пускай приезжает, выходит за тебя замуж — и рви когти в Соединенные Американские Штаты! Вот и твоя мечта жизни — приезжать ведь сможешь, на экскурсиях Конторы провокационные вопросы задавать, а? Я б на твоём месте уже чемоданы собирал. Давай-ка все это дело обмоем коньячком.

Бутылке водки пришлось потесниться, и рядом с нею встала початая темно-зеленая, спрятанная до времени в книжном шкафу. Коньяк, правда, был дешевый и резкий, из тех, что в народе зовут клопомором. Выпив, Марк принялся сбивчиво излагать свою историю, перескакивая с Самарканда на Ленинград, с Амстердама на Нью-Йорк и с профессора Уайтфилда на мисс Хэлен Уоррен. Иван же знай поблескивал глазами да вставлял какие-то междометия.

— Когда Андрей в свою Литву отчаливал, — сказал он наконец, — мы с ним пари заключили. На твой счет. Я говорил, что ты через год совершенно скурвишься и не будешь нам руки подавать. В лучшем случае два пальца.

— Хороши друзья.

— Как видишь, я промахнулся. И проиграл твоему брату бутылку. Он доказывал, что ты непременно откинешь какой-нибудь фортель, и не через год, а куда раньше. Вот сейчас бы ее и выкушать, а? Не вовремя его сесть угораздило.

— Знаешь, Иван, — Марк снова вспылал, — всякому острословию есть предел. У тебя нет никакого права...

— Есть. — Он отобрал у Марка «Практическую пиротехнику». — Устройство домашних фейерверков, шутих и бенгальских огней... С большим трудом, между прочим, сперта из библиотеки... Твоя Светка часом не брюхата?

— Нет.

— Ты понимаешь, надеюсь, что мадам Фогель сюда путь заказан? Да и захочет ли она ради журавля в небе бросать индюка в руках?

— Спасибо.

— Я всего лишь констатирую факты. Ты, небось, и без меня все варианты перебрал, обсосал. Так или не так?

Марк кивнул.

— И пуще всего, милый ты мой, тебе, разумеется, приглянулся вариант самый старинный и удобный. Под названием статус-кво. Оттянуть, отложить, оставить лазейки, не жечь мостов. В добрый час! Забывай свою заокеанскую красотку. Не пиши. Не звони. Зубы сожми. — Иван оскалился, демонстрируя, как именно он советует другу сжать зубы. — Выживай, короче. Ты сумеешь! Ты ведь жизнь любишь почти как я, не ошибаюсь?

Марк снова вздохнул.

— Вот и живи. Через два-три года сам себя не узнаешь. Нравится мой совет? Не очень? Тогда другой. Не лезь дальше в эту паутину. Бросай все. Начиная сначала. Слушай умного друга. Я не забыл, как ты на семинаре нам вещал, что нельзя бороться с метафизическим злом. Можно. Вот Господь Бог и вознамерился тебя проучить. Это, кстати, редкая удача, когда на тебя обращают внимание там, наверху. Цени. Увольняйся. Пошли подальше свою Светку. Будущим летом устройся в экспедицию да и давай деру через афганскую, скажем, границу. Ведь других путей смататься у тебя нет?

— Ну, — пробормотал Марк, — куда же я из Конторы?.. Сирия... Калькутта...

— В таком случае разговор оюнчен. Впрочем, у тебя будет столько хлопот и переживаний с братом, столько симпатичных служебных дел, что и без моей помощи забудешь ты эту Клэр куда быстрее, чем тебе кажется. Да и свадьба — не век же откладывать. На работе все в порядке?

— Профессор тебе привет передавал. Слушай, может, соизволишь

все-таки мне рассказать о своих делах? И, кстати, — он вспомнил письмо от Светы, — с каких пор ты дружен со Струйским?

— Струйского я встретил случайно, — сказал Иван, — на улице. С моей исповедью у тебя будет возможность ознакомиться в ближайшие дни. Еще вопросы есть?

— Зашел бы к адвокату со мной завтра.

— Не могу.

— Послезавтра.

— Послезавтра, — повторил Иван, — хороший день... Но я, может быть, уеду... да, уеду... Ты ко мне зайди с утра, отпросись с работы. Вот ключ. Если меня не будет, оставлю записку.

— Ты-то куда? — встревожился Марк.

— План, план у меня созрел. — Иван закурил сигарету и неумело затыкнулся. Раздался надрывный кашель, на глазах у него выступили слезы. — Времени требует. Завтра вечером отбуду. Слухам обо мне не вздумай верить. Уеду далеко, но не надолго. Или лучше так: недалеко, но надолго. Притомился я, Марк, не ты один у нас страдалец. Желаю к синему морю, в маске плавать, ракушки собирать, рыбку из подводного ружья постреливать, девочек трахать под шум прибоя, — приговаривал он, почти выталкивая Марка в прихожую. — Ступай на службу и бабу свою не забывай, я худого не посоветую...

Глава четвертая

Кабинет Зинаиды Дмитриевны Остроуховой, начальника отдела англоязычных стран, столь же невелик, как комнаты переводчиков, да и обстановка его немногим богаче. Есть, конечно, и отличия: стоит в кабинете не дюжина столов, а всего-навсего три, из них стол хозяйки поодаль, в глубине помещения, два остальных, принадлежащих ее художавым заместителям, — несколько по бокам. Взгляд посетителя, таким образом, должен сразу встречаться с серо-голубыми глазами Зинаиды Дмитриевны, и если этого не происходит, то исключительно из-за ее привычки смотреть в лицо собеседнику не сторяча, а лишь после известного промежутка времени, за который посетитель вполне может изучить обстановку кабинета, заметив прежде всего два шкафа книжных и один несгораемый, сплошь оклеенные лаковыми обложками проспектов Конторы, затем огромные плакаты «Байкал — жемчужина Сибири» и «Посетите Ленинград», с большим тщанием отпечатанные в Финляндии и вывешенные над головами присутствующих, а ближе к вечеру обыкновенно отсутствующих заместителей. Стол Зинаиды Дмитриевны живописно завален письмами и открытками из-за рубежа, деловыми бумагами, скрепками, ластиками, шариковыми ручками и прочей приятной канцелярской ерундой, которая несколько раз на дню отодвигается то на левый, то на правый фланг стола — в зависимости от настроения хозяйки. В жаркие дни, как, например, сегодня, под потолком лениво вращается огромный вентилятор, а окно раскрыто все на ту же площадь Революции — впрочем, в него виден и красный кирпич Музея Ленина, и могила неизвестного солдата, и даже кусочки площади Пятидесятилетия Октября. На уровне человеческого роста салатная масляная краска на стенах переходит в несколько пожелтевшую от времени и нездорового городского воздуха побелку; все три стола облицованы дешевой березовой фанерой и крыты лаком. Зато стулья — а их никак не меньше десяти — обиты добротнейшим темно-алым репсом. Наконец, неизбежный портрет младежского Леонида Ильича над головой Зинаиды Дмитриевны тоже не вполне зауряден — во-первых, не литографирован, а писан гуашью, во-вторых, изображает доброго вождя не в привычном виде, то есть не в скромном черном костюме с тремя или четырьмя Звездами Героя на груди да с простым депутатским значком, а в полной маршальской форме, на фоне кремлевских башен, и с таким обилием советских и иностранных орденов на мундире, что сосчитать их представляется положительно невозможным.

Косые лучи заходящего солнца били Марку прямо в глаза. Покуда он ерзал на стуле, пытаясь от них отвернуться, Зинаида Дмитриевна бесстрастно перебирала свои бумаги. Начальница, видимо, вызвала Марка по какому-то пустяковому делу — скажем, выяснит, не раздумал ли он ухо-

дить в отпуск. В таком случае у него было припасено радостное известие — передумал, готов вкалывать не за страх, а на совесть. Или о выездной анкете речь? Кропотливая штука — эти анкеты. Степан Владимирович Грядущий, скрипнув дверью за спиной у Марка, решительно направился к столу в глубине комнаты — с полдороги, впрочем, вернувшись, чтобы повернуть сиротливо торчащий в замке никелированный ключ. В руке он держал тетрадку с отчетами переводчика Соломина. Тут только Марк заметил, что рядом с Зинаидой Дмитриевной стоит припасенный загодя пустой стул.

— Марк Евгеньевич, — она отложила столь занимавшие ее бумаги, — вы, конечно, догадываетесь, зачем мы вас вызвали.

— Нет, Зинаида Дмитриевна, — отвечал он простодушно, — но если насчет отпуска, то я бы обошелся парой отгулов, прямо сейчас, а потом готов... У меня накопилось за работу с этой группой...

Он полез в сумку за блокнотом.

— Дело не в отпуске, — предупредила его движение Остроухова. Руки ее бегали по столу, хватая то ластик, то кнопку. — К сожалению, дело гораздо серьезнее.

— Чуть не уголовное дело, — проскрипел Грядущий.

— Что вы, Степан Владимирович! — Марк принял вид оскорбленной невинности. Главное — поскорее выведать их козыри. Про ресторанные махинации они знать не могут... Что же тогда?... Чаевые...

— Товарищ Соломин! — торжественно начала Зинаида Дмитриевна. — В распоряжение отдела поступил ряд документов, связанных с вашей последней командировкой. С группой «Раши Адвенчез». Мы просим от вас разъяснений. От этого будет зависеть возможное вынесение данных материалов на более широкое обсуждение. Комсомольской организации, профсоюзной организации, партийной организации. Первого отдела. — Она пододвинула к себе тощую стопочку разрозненных бумаг. — Вы наш кадровый проверенный работник, Марк Евгеньевич. И я от души надеюсь, точнее, мне хочется надеяться, что мы столкнулись лишь с запутанным недоразумением, а не с...

— Официальных документов поступил ряд в распоряжение отдела, Зинаида Дмитриевна?

— И официальные, и неофициальные, товарищ Соломин. А в совокупности из них четко вырисовывается крайне неприглядная картина далеко зашедшего морального разложения, безответственности, нарушения служебного долга... и многого иного.

Высоко-высоко поднял брови Марк и плечами пожал с живейшим недоумением.

— К делу, товарищ Соломин. Прежде всего, еще в прошлую пятницу на вас поступила жалоба из Сочи. Капитан Зубарев сообщает, что вы нарушили его распоряжение, уклонившись от написания спецотчета о туристе Уайтфилде. Из чемодана у которого была при перелете изъята антисоветская литература. И так?

— Откуда же мне было знать об антисоветской литературе? — поразился Марк. — Что, капитан решил со мной в жмурки играть, что ли? провинция! — воскликнул он совершенно не в тон разговору. — Если б я подозревал всю серьезность, — он апеллировал уже к Степану Владимировичу, мрачно посапывающему на своем стуле, — разумеется, присмотрелся бы внимательней к этому... Уайтфилду, вы сказали? Но вел он себя тихо. Не из пальца же мне было высасывать этот спецотчет. Тем более все данные я сообщил местной переводчице. А у меня просто выскочило из головы. Один турист тяжело болел, я практически не спал в Сочи. Хотя вины своей не отрицаю, Зинаида Дмитриевна.

Слушали его вежливо. Грядущий заносил что-то карандашиком на последнюю страницу Марковой тетради, в которую, кстати, было вложено несколько телетайпных бланков. Пустых или заполненных — Бог знает.

— Халатность, конечно, вопиющая, — почти ласково сказала Зинаида Дмитриевна, — но не преступная. А теперь, Марк Евгеньевич, будьте любезны... Вот вы пишете, что чрезвычайных происшествий не отметили. А что все-таки произошло на ленинградской таможне с туристкой Вогель? Заодно и охарактеризуйте нам ее моральное и политическое лицо.

— Фогель, — поправил Марк.

— Допустим. Так что же, повторяю, произошло на ленинградской таможне?

— Ничего особенного, — смешался Марк.

— А товарищи из Ленинграда сообщают другое. Докладывают, что так называемая туристка Вогел, будучи платным агентом ЦРУ, пыталась нелегально переправить за рубеж клеветническое заявление одного недавно арестованного диссидента, а также протест по поводу его ареста, подписанный группой ленинградских фарцовщиков и туеядцев. Информировуют, что протест был передан ей некоей Натальей А. чуть ли не в вашем присутствии. В гостинице «Ленинград». Ставят нас в известность, что при изъятии клеветнических материалов туристка Вогел совершила ряд хулиганских выпадов в адрес сотрудников таможни, выкрикивала провокационные антисоветские лозунги. Кому же нам верить, товарищ Соломин?

Жара, несмотря на близившийся закат, упорствовала. Вентилятор как-то незаметно умолк, и меланхолический его шум сменился жужжанием замечательно крупной, невесть как попавшей в центр одного из самых чистых городов в мире навозной мухи с вороненым зеленым брюшком. Покружившись над Зинаидой Дмитриевной, примерившись к проплешине Степана Владимировича, она круто взлетела и присела на золоченой раме парадного портрета. Марк с неподдельным интересом следил, как муха начала чистить лапки на живописной ленте не то монгольского, не то индийского ордена.

— Выгораживаешь ты эту Вогел, Соломин! — отрубил Степан Владимирович. — Почему в отчете о ней ни слова? А?

— По недосмотру, товарищ Грядущий, только по недосмотру. — Марка, обрадованного отеческим «ты», вдруг понесло. — Разумеется, Зинаида Дмитриевна, тут я виноват, да, целиком моя вина, недоглядел, утратил бдительность. О факте получения письма от Натальи А. не знал, не мог знать. Что конфискованный материал был антисоветский, тоже не знал, она утверждала, что это письмо родным, хотя было при мне, да. Морально-политическое лицо не имел возможности выяснить... Женщина неожиданная, непредсказуемая, истерическая, много скандалов по поводу обслуживания, капризов... Рад был от нее избавиться, тут же забыл, запамтовал, ну, бывает же так! — Тут речь его стала совсем заискивающей. — Человек — не машина, да. Случайный срыв, клянусь, Зинаида Дмитриевна, клянусь вам, Степан Владимирович, у меня и в мыслях не было ее, как вы метко выразились, выгораживать... Да и зачем бы?

— Вот именно, зачем бы? — спокойно молвила Зинаида Дмитриевна. — Давайте разберемся и в этом. Ознакомьтесь, Марк Евгеньевич.

Она протянула подскокившему Марку три рукописные страницы, но, поколебавшись, отдала только одну, среднюю.

Писано было по-английски, аккуратным округлым почерком. И сочинял, конечно, носитель языка — все артикли и предлоги на месте, не то что в письме Верочке из Филадельфии.

«...повторить, как я бесконечно счастлива была оказаться в такой замечательной, дивной, чудесной, такой передовой стране, так что моя критика отдельных недостатков — это не злопыхательство, а лишь стремление от души вам помочь, чтобы еще больше улучшить то впечатление, которое простые американцы увозят в свою социально недоразвитую страну капитала. Во-вторых, вызывает огорчение отсутствие воды со льдом, моего любимого напитка в летнюю жару, в большинстве ресторанов, а я лично видела, как стоят полупустые холодильники, неужели так трудно навести в этом порядок. В-третьих, молодые переводчики Конторы — это очень самоотверженные, патриотические юноши и девушки, прекрасно владеющие английским языком, но и тут случаются недостатки тоже. Вот яркий пример такого недостатка, это наш переводчик, назначенный еще в Москве и всю дорогу нас сопровождавший. Поначалу он вел себя образцово, и как пропагандист, и вообще как приятный, исключительно обаятельный молодой человек. Что же случилось, когда мы выехали из Москвы? Он переменялся! Он стал так сомнительно шутить, иногда говорил ужасные, кошмарные фразы, язык не поворачивается повторить! Он сблизился с одним буржуазным профессором и одним очень циничным эксплуататором-бизнесменом, они вечерами напивались пьяные, а меня не

приглашали почти никогда. У него самого оказалось множество пережитков капитализма, и главное, он еще «подружился» с одной молодой дамой, с немецкой фамилией, но на самом деле дочерью контрреволюционных эмигрантов-коллорационистов из России, много рабочего времени разгуливал с ней под ручку, а в Ленинграде они оба исчезли на целых три дня, группа была очень недовольна, и автобус он забыл заказать. Конечно, он молод и, наверное, еще исправится, я даже не хочу называть его фамилии, но меня волнует: а не общее ли это явление, что переводчики поддаются влиянию буржуазной пропаганды? В-четвертых, гостиница в Самарканде, где так много исторических монументов, такая замечательная, но лифты очень медленные, приходится иногда по пять минут, а один раз даже семь, стоять на лестничной...»

Тут страничка обрывалась.

— Ну-ка, переведите, Марк Евгеньевич, — повелительно сказала Остроухова. — Для Степана Владимировича. Вы ведь отлично, помнится, умеете переводить с листа. Так? Или вам помочь?

Марк молчал. Увы, ничто не волновало его в этот момент, кроме спасения собственной шкуры.

Но если среди трижды отрекшихся был даже Петр, если даже он, Симон, ловец человеков, не дождался петушьего крика и не успел согреть тронутых смертным холодом рук у ночного костра, то чего же, Господи, хочешь ты от грешных нас и от этого очкастого мальчика с платком, щегольски повязанным вокруг шеи?

— Клевета, — сказал он наконец. — Низкая клевета озлобленной шизофренички. Да, я выпивал с туристами. На запланированных банкетах. В номерах же у них — бывал, согласен...

— Забыв о служебной инструкции?

— Если следовать букве нашей инструкции, — обнаглел Марк, — то выйдет разве что забастовка по-итальянски. У этой, как ее, Фогель, не бывал в комнате никогда. У профессора бывал, — тут он запнулся, — но не того, с антисоветской литературой. С тем я вообще двух слов не сказал. У профессора Митчелла. Как старшего по группе. Проводил беседы, разъяснения. Вы не видите, что эта дура просто приревновала меня к остальным туристам?

— «Эта дура», — сказала Остроухова, — ответственный сотрудник «Коммунистического завтра».

— Клерк она в отделе доставки, а не сотрудник! — огрызнулся Марк.

— Член компартии США с 1956 года.

— Что с того? — взбеленился Марк. — Да неужто шизофреникам трудно вступить в эту их партию? Может, она тогда здоровая была, откуда я знаю? И у дантиста одного я в номере бывал, он бы без меня подох от своей астмы. Приступы шли один за другим, справьтесь в архивах «Скорой помощи». Насчет прогулок под ручку, исчезновений на три дня — беспардонное вранье. Автобус в Ленинграде просто сломался по дороге из парка, а я болен, у местной переводчицы спросите. А с этой Клэр...

— С какой Клэр? — быстро спросила Остроухова.

— Ну, с туристкой Фогель. Я с ней вообще никаких дел не имел. По-русски она говорит неплохо, верно. Так я об этом писал в отчете, еще в Москве. А в Ленинграде я, повторяю, болел, а потом искал по магазинам палку для этой идиотки Уоррен, свиньи неблагодарной. Она в Самарканде ногу растянула. Если верить всякой жалобе от клиентов, — добавил он почти обиженно, — наша Контора развалилась бы. И очень скоро.

— Мы обычно и не верим, — вмешался Грядущий. — Но не только в письме загвоздка. Тут, парень, гораздо серьезней. Скверные у нас на твой счет подозрения. А ты и цидулки паршивой перевести не желаешь. Ладно, другие найдутся.

Он по-хозяйски нажал кнопку селектора, промолвив в микрофон невесть кому адресованное «заходите». Отдел-то уже опустел, только в подвале дежурные остались. Впрочем, таинственная личность явилась в считанные секунды. Это была Зайцева. Села она подальше от Марка, письмом перевела вслух без единой паузы. Степан Владимирович в такт чтению покачивал седовласой головой, и в царственном серебре на его затылке светилась нежная розовая проплешина.

— Итак, Вера, — начала Зинаида Дмитриевна, — большая часть вашего маршрута совпадала с маршрутом группы Соломина. В Самарканде и в Ленинграде вы останавливались в одних и тех же гостиницах. В США ваша группа отбыла тем же рейсом, что и группа вашего коллеги. Что вы можете сообщить нам в его присутствии по поводу этого письма, точнее, заявления от туристки Уоррен?

— Ну что говорить, — протянула Вера, — я ведь днем все подробно рассказывала...

Она покосилась на Марка, который обеими руками вцепился в сиденье стула.

— Не беспокойтесь, Верочка, говорите.

Прибодренная Зайцева заговорила толково и связно. Марка она встречала на маршруте несколько раз. В Сочи на пляже ничего такого не заметила. Но в Самарканде в восьмом часу утра Соломин выходил из чужого гостиничного номера. Он сказал, что там турист-астматик, а дежурная посмотрела в список — в этой комнате значилась туристка. Вогел. Она и вышла оттуда через полтора часа, дежурная видела.

— Мы запросили Самарканд, Соломин, — мрачно сказал Степан Владимирович. — Лейтенант Опенкин сообщает, что в ту ночь вас не было в своем номере. Погоди, твоя очередь после. Что в аэропорту Пулково-то произошло, товарищ Зайцева? И в гостинице «Ленинград»?

Что ж, в гостиничном буфете товарищ Зайцева засекала Марка в обществе какой-то молодой американки, а затем выходящим из гостиницы с нею же и с советской женщиной, кажется, вторая была беременна. В «Пулково» же эта самая американка не хотела отдавать какого-то конверта, а когда его отобрали, орала на русском языке Бог весть что.

— Что именно, Вера?

Зайцева, краснея, повторила одну из фраз, выпаленных сгоряча Клэр. Перед отлетом, у паспортного контроля, Соломин обнимался с ней и целовался, и вроде бы она плакала, а Соломин нет, но был очень расстроен. И еще: одна из его группы, хромая с палкой, дала ему какой-то сверток, а он взял и еще в благодарностях перед ней рассыпался.

Где-то в середине Верочкиного рассказа двухкилограммовый кусок отличной вырезки, полученный сегодня Зинаидой Дмитриевной в продуктовом заказе и лежавший до поры до времени в сумке под столом, вдруг начал протекать. Мерзавцы из распределителя при ГУМе вечно сэкономили на полиэтиленовых пакетах. Из сумки заструился темно-красный ручеек, к которому мгновенно пристроилась сообразительная давешняя муха.

— Так что же? — посуровела Остроухова. — Неужели все это правда? Объясните, если можете, Соломин!

Неужели отрекаться в третий раз? Почему не попробовать. Ведь ни единого факта у них, сволочей, нет. Коридорная в Самарканде ошиблась, не из того номера вышел Марк. При прощании следовало утешить туристку — элементарно же, кому нужна истерика в аэропорту, подумаешь, целовался, кто не целуется на прощание с туристами, и письмо она взяла из глупости, от жалости к русской бабе в положении... и не знала о чем... Ах, Зайцева, ах, гадина! А один ход — и вовсе выигрышный.

— Ты об этом пакете, Вера? — как мог грубо спросил Марк, доставая из сумки подарок Хэлен. Растерянная Зайцева кивнула. — Некрасиво. Что же ты стучишь на товарища, не разобравшись? Да и сама — неужто в советских колготках ходишь? Позволь не поверить. Подарок я, конечно, взял, Степан Владимирович, да и как было отказаться от такого прогрессивного подарка, Зинаида Дмитриевна, он будто создан для вашего кабинета. Вот и доставил я его, — приговаривал Марк, развязывая тугой узел на разноцветной тесемке, — согласно инструкции, чтобы сдать администрации отдела... У, проклятый!

Последний возглас относился, естественно, к узлу. В эту минуту в дверь постучали, чернявый Коля из Первого отдела протянул Степану Владимировичу телетайпный бланк — всего несколько строк — и исчез. Пробежав текст глазами, Грядущий вдруг побагровел и не то что отдал листок Остроуховой, а прямо-таки метнул его на стол.

Бедный Марк все еще возился с узелком, все надеялся на строгий выговор, на жалкий свой козырь, но Зинаида Дмитриевна уже привстала на своем стуле и простерла к нему судьбоносный перст.

— Хватит ломать комедию, Соломин! — сказала она, точь-в-точь как чекисты из телефильмов. — Решительно все равно, что у вас там в свертке, хоть индульгенция от папы римского.

— Сволочь! — вдруг пробасил Грядущий.

— По... почему? — залепетал Марк.

— Сам знаешь, гнида! — наливался кровью Степан Владимирович. — Сам все понимаешь, не зырь тут на меня голубыми глазками. Добрая нынче стала Советская власть, а будь моя воля, я б тебя в расход вывел еще раньше, чем твоего братца. Ты хуже шпиона, Соломин, ты предатель, мы таких в войну расстреливали перед строем, ты власовец! — орал старик, брызгая слюной. — В партию пролезть хотел, Иуда! Отчеты! Семинары! Задушевные разговоры! И я же его, паскуду поганую, в партию хотел рекомендовать... характеристика...

— Вы так разнервничались, Степан Владимирович, — забеспокоилась начальница. — Не стоит эта мразь таких волнений. Выпейте воды. Верочка!

А виновником всего скандала овладело нечто вроде болевого шока. Пока отпавляли Степана Владимировича, он хладнокровно размышлял о том, как бы ему половчее и поскорее уйти из этого крайне неприятного места. Телетайп, очевидно, сообщал, что Баевский, арестованный диссидент, является Соломину М. Е. родственником, сводным братом по отцу.

— Может, мне пойти? — засмуцалась Верочка, когда шеф пришел в себя. Любопытства в ее глазах, впрочем, было даже больше, чем восторга.

— Оставайтесь, Вера Павловна. Мы уже кончаем.

— Я бы подвел итоги. — Степан Владимирович застегнул верхнюю пуговицу рубашки, поправил галстук. — Но лучше это сделать вам как непосредственному начальнику бывшего переводчика Соломина.

— Долго еще придется распутывать всю эту грязь, — заметила Зинаида Дмитриевна, — но насчет бывшего переводчика вы выразились очень удачно. Я лично составлю ему при увольнении со-от-вет-ству-ющую характеристику.

— Волчий билет? — спросил Марк бесстрастно.

— Если вам угодно! — взвизгнула начальница. — Если вам угодно так называть характеристику, которая оразит многократные грубейшие нарушения служебной инструкции о контактах с иностранцами, соучастие в провокационной антисоветской выходке, вступление в аморальную половую связь с агентом ЦРУ — то да, волчий билет! Гарантирую вам, Соломин, что вы больше никогда в жизни не будете работать по специальности. Постараюсь.

— Какие у вас прямые улики? — терять было уже нечего. — Зайцевские сказки?

— Прямые улики! — задохнулся Грядущий. — Пусть ваш папаша днями и ночами благодарит своего баптистского бога, что нам неохота копать в этом дерьме! Будь у органов прямые улики, ты бы отсюда прямо на Лубянку отправился! Я и невесте твоей сегодня же позвоню. Пусть знает, ты ее, небось, так же за нос водил, как и нас...

— Мясо. — Марк ткнул пальцем под ноги начальнице.

— Что?!

— Течет, — пояснил он. — И пол запачкает, и сумку, и босоножки ваши белевские импортные запачкает, поберегитесь, Зинаида Дмитриевна.

— Что? Как вы смеете... в такую минуту... слов нет... Степан Владимирович... какой наглый враг...

Ноги она все-таки подобрала подальше от ручейка.

— Я бы давно ушел, — сказал Марк. — Сами дверь закрыли.

— Молчать! — снова взорвался Степан Владимирович. — Встать! Встать!! Я кому говорю, сучье вымя!

— Заткнись, старый хрен! — посоветовал Марк с невыразимым наслаждением. — Заткни хлебало. То-то же.

Он поднялся, подошел к двери — ключ по-прежнему торчал в замке — и прислонился к ней спиной. В ушах у него гудело, колени тряслись. Легко обругать в коридоре беззащитную Марию Федотовну, а каково знать, что по селекторному сигналу тут же явятся бойкие спортивные ребята из подвала. Сначала сами поработают, потом в милицию доставят.

— Что же вам, друзья мои разлюбезные, сказать на прощание? — начал он задумчиво. — Тебя, Верочка, поздравляю, выслужилась знатно. Стучи и дальше. Снова начнешь за границу кататься, тряпок навезешь полон дом, мебелью обзаведешься, да... только замуж тебя, пожалуй, не возьмут... Злая ты и человек плохой... Да и рожа, в общем, подкачала... Молчи! — крикнул он. — И открытку ту вовсе не я написал, кто-то из вашей компании постарался... А вы, Зинаида Дмитриевна, что за балаган тут устроили? Доносы, телетайпы, риторика идиотская. Никогда умом не блистали, а сегодняшней спектакль и вовсе ни в какие ворота не лезет. Совсем у вас мозги ваши советские набекрень. — В голосе его зазвучал упрек: — Заладили: моральное разложение, провокации, инструкции... иностранцы... Плевать я хотел на вашу инструкцию. Вашу, в смысле советскую, — невесть зачем пояснил он. — Я, знаете, полюбил женщину. Может быть, впервые в жизни. А вы ее у меня отобрали. Вы, в смысле ваша власть, — снова сделал он никому не нужное уточнение. — Брата любимого в тюрьму посадили безвинно. Я за него вступиться хотел — вы же на меня кидаетесь, словно псы. Сколько же мне еще на брюхе перед вами пресмыкаться, подумайте сами? Двадцать семь лет, пора и честь знать. Конечно, я вам враг. И тебе, Остроухова, и тебе, Грядущий, и тебе, Зайцева, и этому, — он махнул рукой на парадный портрет, — тоже враг.

Неизвестно, то ли какая-то гипнотическая сила была в его словах, то ли все просто оцепенели от такой наглости, но никто не спешил обрывать бывшего переводчика. И кнопку селектора не нажимали.

— Вы вообще не люди. Нежить, гниль болотная. Так и подохнете в смраде душевном, без любви в сердце, а ты, Степан Владимирович, раньше всех. Паскудный ты мужичонка, Грядущий! Одна фамилия чего стоит — сам же небось выбирал, а? И кем бы ты был при другой власти? Пивнушку бы содержал... а то негров по ночам вешал... или евреев... Думали, буду у вас на коленях прощения просить?

Тут он почему-то сухо рассмеялся

— До свидания, дорогие, — спокойствие вдруг оставило его, — вот вам подарок на прощание, и всей Конторе, и вам лично!

Напрягшись, он разорвал тесемку на пакете. Под оберткой оказался небольшой гипсовый бюстик Ленина, тонированный под бронзу. Версии дальнейшего расходятся. По рассказу Верочки, Марк метил в стол Зинаиды Дмитриевны. Из истории, поведенной Свете самой начальницей, мисшёнью была лично она, а может, правда, и Степан Владимирович. На самом деле ни в кого Марк не целился, а попросту засадил подарком Уоррен в паркетный пол, в самый центр комнаты. Будь это бомба, от присутствующих и мокрого места бы не осталось. Но, и не будучи бомбой, бюстик разлетелся на куски с большим грохотом и шумом. Нос, ухо и кусок галстука Ильича угодили на стол начальницы. Женщины завизжали. Грядущий сунул было руку за личным оружием, одновременно потянувшись к селектору, — и вдруг обмяк, осел, расплылся, и, откуда у него по карманам выискивали валидол, Марк распахнул дверь и был таков. Через несколько секунд его уже не было в Конторе, а еще через некоторое время он затерялся в толпе пассажиров метрополитена.

Глава пятая

«По спирали, по незримой нитке облака вечерние плывут. Там у них и времени в избытке, и пространства куры не клюют. А у нас над городской свалкой вьется ночь, и молодости жалко, и душа остывшая темна. Скверные настали времена.

Впереди — серебряные воды. Обернешься — родина в огне. Дайте хоть какой-нибудь свободы, не губите в смрадной тишине! Глинистый откос. Шиповник тощий преграждает путь. В пустой руде воздуха и гибели на ощупь человек спускается к воде. Ненадолго он у кромки встанет, на секунду Господа обманет — и уйдет сквозь гордость и вину в давнюю, густую глубину...»

На том берегу Химкинского водохранилища золотился в прожекторных лучах шпиль речного вокзала, блистающий пароход подплывал к пристани, распространяя, как водится, звуки вальса и женский смех. А на

тушинской стороне близилась осень, чувствовалось, что молодым ивам и березкам недолго осталось шелестеть листвою на слабом ветру. Марк подставил лицо этому ветру и заплакал. Как случайно и бездарно кончалась жизнь. Полосами и пятнами шли по воде отражения звезд и городских огней, шептались на отдаленной скамейке влюбленные.

«Нет, — думал Марк. — Я не Ветловский. Со мною все будет намного проще, не нужно черной воды и асфальта под окнами седьмого этажа. Не нужно».

Да, проще. Выждать пару дней, чтобы утихли страсти. Явиться в отдел кадров за обходным листком. Собрать подписи об отсутствии претензий. Ариадна, Зинаида Дмитриевна или ее заместитель, касса взаимопомощи, Первый отдел, шушуканье за спиной, чья-то жалость, чье-то злорадство. Выносить сор из избы, конечно, не станут, обойдется тишайшим образом. Чьи-то презрительные или равнодушные взгляды, ненужные слова. Коридоры, кабинеты, зеленое сукно столов и, если повезет, смывающий все летний ливень за окном.

«Права Зинаида, никто меня работать теперь не возьмет. Хер с ними. Розенкранц оставил кое-какие телефоны, буду переводить. Или в сторожа пойти?»

Он присел на сырую скамейку у самой воды. Свежело. К пристани подплывали новые пароходы.

«Андрея мне Светка простила. И цена была невелика — поунижаться перед ее папашей. А вот Клэр она мне простит вряд ли. И за человека с волчьим билетом, пожалуй, не пойдет. Но все равно не жить нам с нею».

Кто же виноват во всем? Розенкранц? Андрей? Клэр? Сергей Георгиевич? Как же так вышло?

Пора было уходить с этого бедного берега, пора звонить в поисках ночлега. К матери не хотелось. Ивана не оказалось дома. Он снова опустил в автомат монетку и набрал номер Светы. Никого...

Он зажег свет в пустой, гулкой квартире. Постель оказалась убранной, комната — тоже. На веревках, пристроенных им в ванной, развешано белье, в том числе две его рубашки. Прачечной Света не доверяла, стирала сама на старенькой машине, вечном источнике огорчений. Белье завязывалось в узел, насос отказывал. Шутливо чертыхаясь, вычерпывал Марк из машины мыльную воду сначала ведром, потом кастрюлей и, наконец, кружкой.

Хорошо здесь было.

За чаем на кухне Марк принялся размышлять, начать ли собираться сразу или лучше поутру. И куда везти вещи? И куда отправиться их хозяину? Мелькнула у него, конечно, и мыслишка попытаться все уладить, исправить и спустить на тормозах, но немедленно была отставлена за неосуществимостью.

Убежавший чайник залил не только плиту, но и чисто вымытый пол. Нагнувшись с тряпкой, Марк обнаружил под столом записку, сдутую сквозняком из раскрытой форточки.

«Марк, — писала Света, — я на даче у отца. Мне звонила Зинаида Дмитриевна. Ты сам, конечно, понимаешь, что между нами все кончено — и навсегда. Мне больно признаваться в том, что я тебя, несмотря ни на что, до сих пор люблю, но мы слишком разные люди. Ты оказался вдобавок ко всему еще и подлецом. Я не злая женщина, я многое могу простить, но предательства не могу. Ты меня предал. Особенно вчера ночью... да что там говорить...»

Твое белье в клетчатой сумке. За книгами и пластинками, если останутся, можешь прислать Ивана или в крайнем случае Инну. Дверь за собой захлопни, ключ оставь на гвоздике в прихожей, под репродукцией Матисса. Не приходи больше и не звони. Исправить уже ничего нельзя. Понимаешь ли ты, как горько мне писать эту записку? Наверное, нет. Но ни объяснений, ни оправданий мне от тебя не нужно. Мне гораздо больнее, чем тебе.

«Ц» — написанная по ошибке начальная буква слова «целую» — была зачеркнута. Подписи не имелось.

Разрыв.

Поэтов он вдохновляет на стихи, неврастеников — на самоубийства. Сцены ревности, слезы, обвинения и прощения, взлеты страстей.

Вовсе нет. В конце концов разрыв — это соби́рание маек и штанов, поиски жилья, покупка новой кухонной утвари и постельного белья — не унижаться же до уноса общих наволочек и сковородок. Вероятно, смертная казнь так и остается для осужденного призраком — кошмарным, кровь в жилах леденящим, но все-таки призраком — до тех пор, покуда не входит в камеру тюремный парикмахер, чтобы остричь ее обитателя в целях деловых и побрить — для вящего благообразия, и кожа на шее вдруг чувствует никелированный холодок ножниц... а в дверях, кто с постыдным любопытством, а кто и с привычным равнодушием, толпятся: охранники, врач, священник, журналисты... и начальник тюрьмы вносит поднос со знаменитым завтраком, то бишь куском вареной говядины, свежим хлебом и предусмотрительно откупоренной бутылкой вина, в которую не менее предусмотрительно намешана уже какая-то наркотическая дрянь...

И откуда это? Из каких французских романов?

«Не будут мне головы рубить, — думал Марк. — Даже пули в затылок не пустят в подвале. Но почему она так уверена, что я снова стану оправдываться?»

Тут он ощутил слабенький, но все-таки укол оскорбленного самолюбия.

«Что за самодовольство? И какое презрение ко мне. Или она попросту считает нападение лучшим видом обороны? Ах, Клэр, Клэр, девочка моя, знала бы ты, что здесь без тебя делается...»

Встав с утра пораньше, он добавил к своим тряпкам пакет с письмами и фотографиями, ключ, как и было велено, повесил на гвоздик, постоял в дверях, вернулся в комнату, прихватил несколько книг и честно хлопнул дверь. Консьерж доброжелательно осведомился, не в путешествие ли Марк собрался, и услышал в ответ, что да, в путешествие, а надолго ли, ну, это как получится, наверное, на этот раз надолго, отвечал Марк, что ж, заключил консьерж, хорошо, когда отпуск длинный, можно и поехать куда хочешь, и отдохнуть как следует.

Вещи Марк оставил в вокзальной камере хранения. «Вот ты и свободен, — думал он, сгорбившись на скамейке у ног чугунного Горького. — Свободен, насколько позволено судьбой».

На квартирном рынке в Банном переулке некий заросший красноносый тип мгновенно посулил Марку комнату в Марьиной роще за тридцатку в месяц при условии, однако, что ему прямо сейчас выставят бутылку портвейна. Соседка встретила их загадочно долгим взглядом. Сквозь мусор, запах нафталина и гления они прошли в обещанную комнату, где хозяин усадил гостя на подобие дивана, застланное пепельно-серыми простынями, перед ящиком из-под макарон. На полу валялись яичная скорлупа и половинка вареной картошки; красноносый откупорил свой портвейн и после двух подряд граненых стаканов пустился в пространный рассказ о том, как полюбила его одна буфетчица из Рыбинска, и мужа бросить собралась, и письма писала, и соколом ясным его, красноногого, величала, а он и сообрази вдруг, что проще пареной репы вся эта любовь, что метит занюба через него прописку московскую занять, а там и жилплощадь отсудить, они, буфетчицы, народ ушлый, и «в шею я ее выгнал однажды, парнишка, жилец ты мой будущий, в шею!». Когда же бутылка опустела, стало Марку вдруг ясно, что вся гнусная затея — не с пропиской, не с коварной приволжской обольстительницей, а с ним, с Марком, — цель преследовала одну-единственную и притом достаточно очевидную. Под конец своей истории хозяин забрался прямо в кедах на диван, похлопал Марка по колену и зычно захрапел. А одураченный квартиросъемщик, натыкаясь в коридоре на коммунальные сундуки, вешалки и раскладушки, отправился восвояси.

В Банный переулок он не вернулся, и, где провел остаток дня — неизвестно. В девятом же часу вечера оказался трезвый и мрачный у баптистской церкви. Среди пакетов и пакетиков у него в авоське лежал подаренный Клэр томик Мандельштама. Евгений Петрович вышел из церкви едва ли не позже всех.

— ...в Госкомитет по печати, — горячилась его спутница. — С ними,

мол, и договаривайтесь. Фонды урезали, бумаги нет. Предложите им в обмен макулатуру, может, что и выйдет, хотя сомневаюсь.

— Хитрит, — отвечал Евгений Петрович. — Потом на нас вину и свалят. Но не сам Птицедов это придумал. Придется через его голову обращаться прямо в ЦК. Я думаю... — Он заметил Марка, угрюмо за ними наблюдавшего.

— Здравствуй, отец.

— Здравствуй, сын.

— Не торопись. Я подожду на бульваре.

Когда через четверть часа отец с сыном брели к Трубной площади, грозящее «Братскому вестнику» урезание тиража уже нисколько не волновало Евгения Петровича. Морщась, он рассказал Марку, что снова виделся с адвокатом, что свидание — когда кончится следствие — все-таки разрешат, по крайней мере ему, Евгению Петровичу. Кончается оно скоро, и завтра можно будет передать продукты.

— У меня много всякого в авоське, — вздохнул Марк. — Колбасы копченой два кило. Сыр. Мыло. Орехов купил на рынке, Андрей их любит. Деньги принес. Своих немного да от Ивана две сотни.

— Орехов нельзя. Колбасы не больше килограмма. За деньги спасибо. У тебя у самого-то осталось? Все-таки свадьба, командировки. А?

— Хватит мне. И к тому же две сотни-то не мои, я же сказал. Иван пожертвовал.

— Этих денег, пожалуй, я покуда не возьму.

— Ты что?

— Инна сегодня заходила. Один из их компании получил письмо от Якова. Из лагеря. Твой Иван... в общем, и с теми ребятами, и с Андреем. Ну, сам понимаешь.

Марк остановился посреди бульвара, чуть не выронив свою авоську.

— Вранье! — выкрикнул он. — Вранье! И письма никакого не было! Отец, ты же взрослый человек, что ты-то поддаешься на такое? Он просто отказался на них работать, и они ему мстят, злобу срывают!

— Не кипятись, сын. — Евгений Петрович смотрел спокойно и тоскливо. — Я же не спорю, я только повременить хочу.

— Да, повременить, — буркнул Марк. — Ты до сих пор бесишься на Ивана, что он из вашей церкви ушел. И рад за любую гадость ухватиться.

— Ошибаешься. Та история забыта, мы никого силой не держим. С тобой-то что, милый?

По возможности коротко и бесстрастно изложил ему Марк всю историю, включая и вчерашние события в Конторе. До Светиной записки дошел черед, когда они уже сидели у Евгения Петровича за чаем и нехитрой закуской. Ел Марк с жадностью: с утра во рту у него не было ни крошки.

— Бедный ты мой, — сказал наконец Евгений Петрович и поцеловал сына в лоб. — Я-то думал, хоть у тебя все хорошо. Дети мои, дети... Чем помочь тебе? Поживи у меня, хочешь?

— Спасибо. — Марк оглядел каморку, где поставленная на ночь раскладушка поглотила бы едва ли не все свободное пространство. — Сегодня переночую, а завтра сразу к Ивану.

— С миром?

— Нет. Вытрясу из него всю правду. Прости, что я на тебя наорал на бульваре. Эта скотина и впрямь странно себя ведет в последнее время. То есть я, конечно, ни на секунду не поверю ни в какие письма, но поговорить по душам с ним давно пора. Тем более он уезжать собирается. Поживу пока у него. А там и отыщу что-нибудь. Плохо мне, — начал он, помолчав, — очень плохо, отец, никаких сил больше нет. Ничего не понимаю, только вижу — жизнь кончилась. Послушай, — он снова помедлил, — помоги мне. Ты, говорят, святой. Есть у тебя что-то, мне недоступное. Поделись. Выть хочется. Не могу больше.

Снова поцеловал сына в холодный лоб Евгений Петрович.

— Ты проповеди ждешь? Блаженны страждущие, ибо они утешатся? Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное?

— А что, разве не так?

— Вроде и так. — Евгений Петрович пожал плечами. — Знаешь, та история, ну, шестнадцать лет назад... я вспоминаю сейчас... Почему я тебе никогда не рассказывал?

— Дело хозяйское. Наверное, считал, что молод. Мать-то говорила кое-что в сердцах. Там и «другая женщина» была. Бы весь вечер тогда шептались, а меня выгнали на улицу, я страшно перепугался. Но про женщину услышал позже, лет через пять. Была такая?

— Ниночка Шварц. Страстно желала отбить меня у твоей матери.

— Что же ты не ушел?

— Жалел вас. А там и чувства прошли. И вообще жизнь покатила совсем в другую сторону. И из радиокомитета я ушел, и вообще...

— Но погоди, а при чем тут радиокомитет?

— Тянулся наш роман с Ниночкой года два и стал понемногу кончаться. Конечно, мне хотелось с ней расстаться мирно, и вроде даже к тому и шло... хотя, наверное, я ее все равно любил... да и сейчас. Ну, не в этом дело. Она вздорная была баба, гневливая, злопамятная. Был тогда пятьдесят восьмой год, было большое брожение умов после двадцатого съезда. И было у меня трое приятелей, с одним мы и работали вместе. Разработали они, понимаешь ли, программу — сейчас бы такую назвали, наверно, социализмом с человеческим лицом. И послали ее, недолго думая, в ЦК, сколько я их ни отговаривал. И было закрытое партсоборание, на котором моего коллегу исключали из партии и выгоняли с работы. Страсти кипели, такие речуги толкались...

— А ты что? Вступился?

Отец, усмехнувшись, кивнул.

— А Ниночка?

— Платье на ней в тот день было красивое, жатого ситца. Как сейчас помню. Долго она говорила, минут пятнадцать.

— И что же?

— Вместо одного персонального дела стало два. Нашлись и еще свидетели, да и сам я не захотел отречься от друга. Из партии под зад коленом, с работы тоже.

— Как спокойно ты рассказываешь! Я же помню все эти месяцы, всю ту кошмарную осень. Забыл, как ты скрипел зубами и стонал по ночам? А прошения? Ты стучал на машинке часами, и все в шести экземплярах. ЦК КПСС, Совет Министров, ВЦСПС, Хрущев, Центральная Ревизионная Комиссия, КГБ. Помнишь? Мать помогала тебе печатать и относила все это добро на почту, чтобы отправить заказными. Ты прятал от меня даже черновики. А ответов никогда не приходило. Потом ты стал приходить пьяный... Послушай, а кто был этот твой приятель?

Евгений Петрович назвал фамилию, Марк присвистнул.

— Пусть поможет Андрею, — вырвалось у него.

— Как?

— Он же теперь профессор в Сорбонне. Он всю Францию может поднимать, его же президент принимал.

— Никого он поднять не может. Организует еще Европейский комитет защиты Баевского, а пользы — что от козла молока.

— Нет, польза бывает... Но послушай, почему у тебя тогда ничего не вышло с этими письмами?

— Перегорело все. Быстро так перегорело. Собственно, и жизнь моя тогдашняя погибла так быстро и безвозвратно и безо всякой моей вины. Как мы бедствовали тогда, ты помнишь?

— Да. Когда ты ушел, стало еще хуже.

— Я ушел не сам.

— Да. Мать рубила капусту на кухне. Сечкой в деревянном корытце, оно до сих пор у нее. «Лучше уж совсем без отца, чем с юридым, — говорила соседке, Анастасии Ивановне. — Марку еще жить да жить».

— Видишь. А потом я поехал к дяде Сергею в Горький. Долго еще пришлось оттаивать. Высокомерен-то я был не меньше тебя.

— Я не высокомерен, — растерялся Марк.

— Не меньше, да, — продолжал Евгений Петрович. — Но отошел-таки, оттаял. И ты оттаешь. И ты отойдешь.

Марк затих и поудобнее устроился на потертом желтом диване. Диван был румынский, купленный восемнадцать лет тому назад по открытке из мебельного магазина. Деньги давно были скоплены, а магазин все молчал, мать звонила, беспокоилась — соседка Анастасия Ивановна, та самая,

которая потом сочувствовала «ничьей жене» и «сиротке», уже месяца три как получила свою. Канареечный цвет обивки поначалу смутил отца с матерью, но вскоре они к нему привыкли, к тому же сшитое матерью покрывало было немаркое, густо-коричневое. Теперь-то канареечный цвет тоже превратился скорее в коричневый.

— Говоришь, замужем твоя Клэр?

— Да. И ребенок.

— Вот кого мне жалко.

— Ребенка?

— Нет, ее саму. И Свету. Как ты измучил двух несчастных женщин.

— Я?— с жаром заговорил Марк. — Кого я измучил? Обе они построены, им ничего не грозит, вообще все шишки повалились на меня. А с чего началось? Раз в жизни захотел сделать доброе дело, письма эти дурацкие передать. Господи, как я теперь об этом жалею! Пользы от них было б, по твоим же словам, как от козла молока, а я — погиб.

— Опять ты за свое.

— Опять. И брату Андрею, между прочим, в каком-то смысле сейчас куда лучше, чем мне.

— Сомневаюсь.

— Конечно, он принял страдание, но он был к нему внутренне готов. Ты знаешь весь его бред насчет судьбы поэта, так что у него есть во имя чего страдать... А я вот не хочу страдать за других, не хочу, понимаешь ты, не желаю!

— Будто Христос хотел.

— Плевать я хотел на твоего Христа! — выпалил Марк и перекрестился. — Я хочу отвечать только за себя. За свои грехи. А какие за мной грехи, отец?

Верхний свет Евгений Петрович давно выключил. Настольная лампа распространяла из-под зеленого стеклянного абажура несильное ровное сияние. А еще светился зеленый глазок старого приемника, тихая-тихая старомодная музыка доносилась из невозвратимого далека. Танго. Пятидесятые годы.

— Есть одна умная книга, — сказал Евгений Петрович, — там сказано, что виноват каждый — и за всех.

— Не тыч ты мне в нос свои книги! — рассердился Марк. — Я их много читал, и Достоевского твоего наизусть знаю. Тоже мне, моралист. Нижнее белье жены в рулетку просаживал, от кредиторов за границу бегал. О границе, кстати. — Он вдруг успокоился. — Я в Ереване твоего протеже встретил. Его на другую заставу перевели.

— Он мне писал. И о подарке вашему говорил. Остается гадать, что приключилось с той Библией, которую я ему достал в свое время. Твоя Клэр точно не сможет больше приехать?

— Точно. Забыл сказать тебе, она тоже что-то вроде верующей. Порою страшно терзалась тем, что изменила мужу. Я над ней подсмеивался, впрочем.

— А говоришь, за тобой грехов не числится. Ее Уильям тоже, наверное, хотел бы отвечать только за свои, а не за чужие. Марк, милый ты мой, как ты не видишь, что нет в мире твоей собственной, отдельно от других, свободы. Пойми, ты ничем не лучше других людей — живущих, умерших, неродившихся. У тебя нет ни на йоту больше прав на счастье, чем у них. А ты все тынешься к нему, к земному, будто до горизонта хочешь добежать. Неужели ты до сих пор слеп? Господь Бог показал тебе ничтожество твое, показал, что вся твоя философия, как и моя давняя, никуда не годится. Но он никогда, никогда не наказывает бесцельно, он насылает не только боль, но и что-то новое, бесценное. Что осталось у тебя теперь?

— Любовь, — сказал обескураженный Марк.

— Пройдет.

Евгений Петрович взмахнул рукой, и на безымянном его пальце блеснуло тонкое обручальное колечко.

— Любовь к женщине всегда проходит. И тебе никогда больше не увидеть твоей Клэр, забудь о ней. Все пройдет, только истина останется, жизнь останется, а ты бродишь вокруг нее и не хочешь к ней приблизить-

ся. Я не про Бога говорю, — спохватился он, — до него ты и вовсе не дос... и все-таки...

— Вижу, к чему ты клонишь, — сказал Марк не без яда. — Путь к истине, понимаешь ли, лежит через страдание. Но зачем мне-то страдать? Я хочу выжить, выжить, выжить хочу всеми возможными средствами. Я ужасно люблю жизнь, отец. И вовсе не какую-то особенную, духовную, черт с ней, а самую обыкновеннейшую: солнце, море в июле, музыку слушать, понимаешь? Прости, тряпки люблю хорошие, выпить люблю, и почему я должен в этом оправдываться? Мне страшно все это потерять, я молодой, я женщин люблю, как тебе объяснить...

Тут Евгений Петрович вдруг рассмеялся — негромко и беззлобно.

— Дурачок. Если ты так сильно выжить хочешь, в этом, в твоём, толковании — музыка там всякая, море, солнце, — зачем же в начальство бюстами вождей кидаться, а? Ну, что улыбаешься? То-то же. Балбес. Принеси-ка раскладушку из кладовки, ладно? Только потише. Разбудишь соседей — назавтра шуму не оберешься.

Глава шестая

От метро к зоне отдыха близ истоминского дома ходил рейсовый автобус. Пассажиры везли раскладные стульчики, газированную воду, снесь и надувные матрацы. Никому не было дела до несчастий Марка, терзавшегося любопытством и тревогой. Много чего желал он выведать сегодня у своего охочего до приключений товарища.

Позвонив для верности в дверь, он отпер замок приятно холодящим пальцы ключом. В квартире стояла духота. На столе красовалась недопитая бутылка дагестанского коньяку, под разобранной постелью валялся кружевной женский лифчик.

«Неужто и впрямь смотался?» — недоверчиво подумал Марк. Но чемодан оказался на месте, рюкзак тоже. Что же до обещанной записки, то в верхнем ящике комода, среди старых писем, использованных самолетных и железнодорожных билетов, газетных вырезок и клочков, испещренных загадочными цифрами, он действительно отыскал заклеенный конверт с надписью «Марку Соломину». К большому, страниц в шесть машинописи, письму прилагалась краткая записка. «Марк, — гласила она, — поручаю тебе прилагаемый документ. Распорядись по своему усмотрению. Иван».

За чтение «документа» Марк принялся немедленно, но после первых же строк отложил его в сторону. Перечитал. Подкрепился парой глотков из недопитой бутылки.

«Находясь в здравом уме и трезвой памяти... так начинают завещания, а не заявления, но это, может, и есть завещание... я, Истомин Иван Феоктистович, старший научный сотрудник, правда, бывший, НИИ «Свет», кандидат физико-математических наук... впрочем, все это чушь. Считаю своим долгом составить приведенное ниже разъяснение. Ввиду трагических событий, которые будут иметь место в ближайшем будущем. Или уже произошли к моменту чтения. В связи с тем, что обидно отправляться на тот свет, не оставив никаких разъяснений. Особенно в связи с большим общественным резонансом, который вызовет осуществление моих планов. Пускай все знают.

Для многих, включая моего друга Марка, первым читающего это письмо, мое сотрудничество с КГБ будет неприятным сюрпризом. Обязан разъяснить все лично во избежание искажений. Сотрудничества, в сущности, не было. На этом — настаиваю.

У меня есть свои твердые принципы. Не такие, правда, как у некоторых чистюль, которые, боясь замараться, перестают подавать руку человеку с другими принципами. Как и произошло, например, на похоронах Владимира Михайловича Зверина.

От кого, спрашивается, исходят порочащие мое честное имя гнусные слухи? Особенно после ареста Глузмана и Лобанова и после письма, якобы переданного из лагеря? Слухи, что с момента основания семинаров я был провокатор и агент?

Ложь. Дезинформация, инспирированная советским гестапо.

Я сыграл не последнюю роль в движении за Возрождение России. Семинары под моим руководством в разное время охватывали около сорока человек. Это был зародыш настоящей революционной организации. Я вел широчайшую агитационную работу по подрыву и ослаблению режима. Размножал демократическую литературу («Архипелаг, три номера «Хроники», книги Авторханова и др.). Распространял ее, несмотря на опасности. Организовал сбор материальной помощи политзаключенным, включая враждебных нам деятелей «конституционного» толка. Помогал левым художникам. Мало кто может представить себе подлинные масштабы этого нелегкого и самоотверженного труда.

Зато широко известна история с надписями. Я считаю, мы добились успеха. Взбудоражили общественное мнение. В западные газеты соответствующая информация не попала, но нашей вины в этом не было.

По глупейшей случайности участники акции протеста были арестованы.

Бесспорные улики предъявил Горбунов и против меня. Фотографию, отпечатки пальцев. Предупредил, что дело все равно пойдет как чисто уголовное, поддержки с Запада ждать не приходится, да и внутри страны никто на защиту хулиганов не встанет. Дал мне понять: одного из нас они могут освободить. При наличии доброй воли.

От меня не требовали показаний против арестованных. Гарантировали, что не будет никаких очных ставок. Не требовали данных и о семинарах. Я проговорил с полковником два часа. Говорил и об арестованных, но что? Я всеми силами старался их выгораживать, а не топить. Что было, согласитесь, почти невозможно. Меня выпустили. Взяли подписку о неразглашении.

Пусть распространители грязных обо мне слухов попробуют сами оказаться в таком положении.

У меня появился шанс.

Если бы я попал в лагерь, безвозвратно погибла бы моя научная работа, которая уже почти привела к созданию принципиально нового типа лазеров. Непоправимый ущерб был бы нанесен и возможному возобновлению деятельности семинаров. А что бы я выиграл? Написал бы мемуары об условиях в советских концлагерях? Их и так предостаточно.

Я искренне, подчеркиваю, защищал Лобанова и Глузмана. Я выставил зачинщиком Розенкранца, которому уже ничего не грозило так или иначе. Горбунов мне верил. Обещал смягчить наказание последственным.

Он обманул меня. На следующей встрече заявил, что вскрылись новые обстоятельства. Дал прослушать несколько пленок. Видимо, на семинарах действительно имелись стукачи. Или хотя бы один.

Я наотрез отказался от дальнейших встреч. Но Горбунов сказал, что я добьюсь этим одного — пойду по делу о надписях как организатор. У них был компромат и на других участников семинаров. Началось следствие по делу о ксероксе в Министерстве пищевой промышленности — это был самый надежный наш аппарат.

Попав в ловушку, я решил, в свою очередь, провести своих противников. Да, меня заставили кое-что подписать. Обязательство докладывать, подписку, что я не буду передавать сведений о Глузмани и Лобанове на Запад. Я сообщал информацию о некоторых участниках семинаров. Но картину искажал. Намеренно и постоянно.

Подозревая за собой слежку, деятельность семинаров я временно приостановил. О тех, которые все же созывались, не сообщал. Играл перед Горбуновым роль примитивного и корыстолюбивого...»

Слово «труса» было густо зачеркнуто, но потом снова вписано от руки.

«...труса. Поставлял ему ложные, дезинформирующие сведения. Если отбросить интеллигентскую брезгливость, моя деятельность принесла неизмеримую пользу!

Советую задуматься над этим.

С начала до конца мое «сотрудничество» с большевистской тайной полицией было только ловкой игрой. Максимум того, что я сделал плохого — не организовал кампании в защиту арестованных Глузмана и Лобанова. Поначалу не хотел рисковать из-за подписки. Потом моя попытка пере-

дать материалы на Запад провалилась. Следующая была еще неудачнее. После встречи с профессором Уайтфилдом меня задержали и пригрозили 64-й статьей...

«Вот оно что! — скрипнул зубами Марк. — Вот почему пропал профессорский чемодан! Ну и артист! Ну и гнида!»

«...конфисковали подаренные им восковки, продержали четыре часа в одиночной камере. Предупредили, что не потерпят двойной игры.

О Баевском и его романе. Авторство установили практически без моего участия. Из намеков Горбунова я понял, что у них действительно есть свой человек в «Рассвете». Рукопись была отправлена в конце февраля из Вены, т. е. явно одним из эмигрантов, уехавших в начале года. Соответствующий отдел ГБ быстро составил список подозреваемых. Я сказал, что Баевский прозы вообще не пишет. Да, я им сообщил кое-какие факты, использованные впоследствии обер-лакеем, так называемым писателем Ч., в его гнусной статье. Но все это легко бы узнали и без меня.

Как видите, я совершенно честен. Я конспиративно предупредил Баевского о грозящей ему опасности. После ареста сообщил о нем в Ленинград. Несмотря на опасность.

Все это мне надоело.

Приступаю к осуществлению своего плана. Меня затравили. Меня выжили с работы. Ничтожества, подонки, вчера еще воровавшие у меня научные идеи, объявили мне так называемый бойкот. Со дня на день меня могут бросить в застенки Лубянки. Могут убить или искалечить. Им удалось меня скомпрометировать. Плевать. Но все это донельзя пошло и то-скиливо.

Да, пошло! Жизнь разменивается на мелочи. Не желаю пускаться в философию. Лень, да и почему я должен выворачиваться наизнанку перед всякой сволочью! Доказывают не словами, а поступками.

Перспектив нет, кроме как утопать все глубже в болоте пошлости и скуки. Одни тонут в советском болоте. Другие корчат из себя борцов с режимом и кончают тем же. Мир измельчал. В нем царят глупость и ничтожество. Эмигранты обрекают себя на такое же болото, только буржуазное. Гнить в тюрьме не желаю. Там КГБ будет к тому же легко со мной расправиться».

«И этот набивает себе цену, — думал Марк, — к чему бы только? Не повесился же он, в самом деле!» На всякий случай он заглянул в ванную — и никакого мертвого тела с высунутым багрово-синим языком, конечно, не обнаружил. Жив, жив Иван, только к чему же он клонит?

«Не вижу дальнейшего приложения своим силам. Распространяющие сплетни обо мне пусть прикусят свои грязные языки, иначе горько пожалуют. Берусь доказать свою правоту. На весь мир. Не хочу лишь превратного толкования. Никакой вины я не искупаю. Ее и не было.

Поручаю этот документ Марку Соломину. Если же он, не Марк в смысле, а документ, попадет в лапы ГБ, то пускай знают, что они обречены. После того, как Иван Истомин покажет, на что он способен, начнется взрыв по всей России. Развалится все, пускай и не сразу. Благодаря мне.

Ждите».

На этом убудочный «документ» и заканчивался. Полно, не розыгрыш ли? Не вбьжит ли в квартиру Иван, надрываясь от хохота? Нет, если и шутка, то прескверная. Марк снова бросился к комоду, разыскать полученное давеча Ивановым письмо «из Сибири». Вскрытый конверт лежал в самом низу и содержал в себе отнюдь не политое слезами послание старушки-матери, не мудрые наставления отца, не просьбы жениться и не голубиное воркование. Содержал он самую прозаическую, на дрянной серой бумаге повестку, призывающую гражданина Истомина И. Ф. явиться сегодня к 9.30 утра на улицу Дзержинского, в приемную КГБ. Подписана была повестка полковником Горбуновым.

Не врал.

Зимой, когда до самого горизонта лежали плотные снега, изредка оживляемые серыми и черными пятнами деревень да еле заметными спичечными коробками дальнего подмосковного городка, вечерами испускавшего зеленоватое слабое зарево, — зимой у Ивана было довольно тихо. В

летние же месяцы гул кольцевой дороги мешался с криками детей у подъезда, с радиомызкой из открытых окошек, с лаем выводимых на прогулку пуделей и терьеров. Сквозь эти-то звуки и уловил Марк еле различимый скрип металла. Кто-то осторожно пытался повернуть ключ в замке, закрытом изнутри на собачку. Сквозь дверной глазок он увидел на лестнице озадаченного хозяина квартиры. Потрудившись еще над замком, Иван дважды нажал кнопку звонка.

— Ты давно здесь? — быстро спросил он. — А я в магазин выбегал. — Он взмахнул авоськой с двумя бутылками молока. — Обычно-то молоко у нас в пакетах, знаешь такие, за шестнадцать копеек, а тут вдруг завезли в бутылках. Поразительно!

Он повесил в шкаф свою плотную, не по сезону, синюю куртку.

— И на вокзал с утра ездил, — тараторил Иван. — Решил повременить с отъездом. Вчера вечером валяюсь тут с Лариской, включаю, понимаешь ли, ящик, и диктор, хамская рожа, сообщает: на юге, мол, дожди. Циклон из Турции, черт бы его взял. Говоришь, давно пришел?

Марк молча пропустил его в комнату.

— А-а, — протянул Истомин, — успел-таки прочесть мой документ? Ну и как? Понимаешь, решил и я попытать силы на литературном поприще. Машинка имеется, отчего же не развлечься! Отчего не пофантазировать? К тому же бесценные образцы. Классические! Исповедь Ипполита, точно? И Ставрогина. Умел писать старик. Слушай, я случаем не переборщил с убедительностью? Есть риск, что примут за чистую монету? Травили же Достоевского. Орала, что девочку он изнасиловал сам, а никакой не Ставрогин. Ты у меня первый читатель!

Околесицу свою Иван выливал весьма торопливо, проглатывая окончания слов и слегка размахивая авоськой.

— Тянет к перу. К самовыражению. Вокруг меня и поэты толкутся, и актрисы, и художники... Что за жара! Ладно, пусти-ка меня на кухню. Молоко в холодильник... Пусти, чего ты стал, как столб? Говорю же тебе, мне надо на кухню, на кухню, ты что, оглох? Или обиделся? Хорошо, согласен, неудачная шутка. Но имей чувство юмора, Марк, не злись, друзья мы в конце концов или нет? И потом, твои личные чувства я постарался пощадить. Что мне стоило присочинить, например, что мой звонок в Ленинград Наталье прослушивали, она ведь мне потом тоже звонила, и таким-то образом и вышли на тебя и на твою...

Короткий удар кулаком, в который Марк вложил всю свою силу, пришелся шуплому Ивану чуть ниже пояса. Бедный Истомин жалобно вскрикнул, согнулся пополам, выронил авоську, а затем и вовсе, согнувшись в три погибели, рухнул на пол. Одна из бутылок открылась, и молоко медленно потекло на пол.

— Идиот... за что?

— Говно, — сказал Марк. — Говно ты и шут гороховый. Убить тебя мало.

— Погоди, — застонал Иван, — погоди, Марк... Я должен тебе все рассказать и... ох! объяснить...

— Черт с тобой! — Марк помог ему подняться. — Только поздно уже объясняться. Поздно. Что ты мне можешь сказать?

— Прежде всего, что бить товарища и вообще подло, а если он не может тебе ответить, то и подавно. Струйского бы небось не ударил, побоялся. Ну что, повестку нашел, да? И поверил. Ты что думал, я от Горбунова? Дурак! Я с ними завязал, мне бежать надо, меня взять могут в любую минуту! — проорал он и заковылял к креслу, по дороге подняв полупустую молочную бутылку. — Ты что, ничего не понял?

— Нет.

— Ну и вали к чертовой матери! Я, по-твоему, клоун! Тебе известно, кретин, что я чудом уцелел? Что я бы должен сейчас в морге лежать, без рук, без ног? Руки распустил, мститель! Вроде Якова — тот тоже ничего не узнал толком, а тут же за телегу — Иван стукач, нас, мол, посадили, а его не тронули. Вместо того чтобы порадоваться за друга. Им, видите ли, заявление какое-то липовое показывали. Фальшивку полицейскую!

— Фальшивку?

— Ну почти фальшивку, какая разница! Один мог спастись. Я и спас-

ся, себе на голову. Потому что заслужил этого больше, чем те недоумки. В письме все сказано, что я распинаюсь.

— И кто же ты получаешься после этого? — спросил Марк почти с любопытством. — Может, тебе еще пару раз вмазать? За профессора, за Андрея?

— Профессор твой легким испугом отделался! — огрызнулся Иван. — А я именно из-за него и попал в переплет.

Опасливо миновав Марка, он вышел в прихожую и вернулся со своей курткой.

— На, торопливый юноша, изучи этот предмет. Только осторожней. Один раз не сработала, другой сработает. Нас тогда разнесет — не соберешь.

Озадаченный Марк обнаружил, что к изнанке куртки подшита давшая сбруя из обрезков кожи, а к ней — приделаны проволочные крючки, в свою очередь, державшие штук двадцать спичечных коробков, оклеенных рыжей оберточной бумагой. Коробки соединялись медным проводом, ухидившим в карман. В самом же кармане Марк нашел батарейку «Крона» и небольшой выключатель. Из раскрытой коробочки на его ладонь высыпалось немного желто-серого порошка, пахнущего миндальным мылом.

— Ничего не понимаю, — пробормотал он. — Это что... взрывчатка?

— Динамит, — сказал Иван отрывисто. — Силикагель, пропитанный нитроглицерином. Не бойся, — хихикнул он, когда Марк осторожно положил куртку на спинку кресла. — Без детонатора не жакнет.

— Постой... Ты что, покончить с собой хотел?

— Меть выше. Человек десять бы на тот свет отправил, не меньше. Ну и себя самого, разумеется, за компанию. Я в Мавзолей сегодня опять ходил, — добавил он, помолчав. — С тобой когда — это была пристрелка. А в этот раз...

Марк по-прежнему недоумевал.

— Снова клоунствуешь?

— Заткнись! — взвизгнул Истомин. — Ну-ка, примерь курточку! Примерь, нажми кнопку! А-а! Я очередь вперед пропускал... дети...

— Пожалел волк кобылу.

— И тошнило... а рассчитано было железно... уравнения на компьютере просчитывал... и саркофаг, и гэбэшников, которые очередь направляют...

Лицо у рассказчика побледнело, заострилось, говорил он жарко и бессвязно. Пронять друга, впрочем, ему не удалось...

— Детишек пожалел! — брезгливо перебил Марк. — На компьютере рассчитывал! Ну, добро бы пожертвовал ты, как говорится, жизнью за правое дело, хотя лично я никакого правого дела не вижу в том, чтобы взрывать никому не нужную мумию, — новую бы из воска вылепили в два счета. А ты вдобавок жив-здоров. Сказки мне рассказываешь, а сам молочко себе принес, в холодильник поставить хотел...

— Сволочь! — заорал Иван пуце прежнего. — И удара твоего никогда не прощу, так и знай! Ты мокрица, ты насекомое, ты никогда меня настоящим не понимал, ты...

— Отчего же не понимал, Иван? Сильных ощущений захотелось, по достоевщине пройти? Наука — слишком сухо, диссидентство — мелко да и опасно. Стучать — скучно и слишком грязно. А устройство свое ты когда отключил — в очереди? Или вчера? Или так и замыслил, чтобы не сработало?

Иван, мгновенно и густо покраснев, снова схватил свою куртку.

— И этого не прощу! На, попробуй! Надены! Провода — фальшивые, выключатель — ненастоящий, Истомин — шут гороховый! Да? Только дай мне из квартиры выйти, на лестнице обождать. Слабó?

Он на самом деле поднялся с кресла.

— Слабó, — внимательно посмотрел на него Марк. — Так отчего же оно отказало?

— Понятия не имею, — почти прорыдал Иван. — Ну поверишь ли — я и взрывчатку, и запальную систему вчера испытывал в рощице. Эхо гуляло минут десять, стекла в домах дрожали. Система простейшая. Раскаляется проводок, детонирует одна коробочка, а от нее все остальные.

Я вчера и батарейку новую купил. В ГУМе. Старая слабовата оказалась. Нераспечатанная была, в пластиковом пакете, с гарантией. Дай-ка я ее стоединю.

Среди технического хлама, кучей наваленного в стенном шкафу, он не без труда раскопал украденный некогда с работы армейский, крашенный защитной краской вольтметр. Присоединил клеммы к батарейке. Стрелка прибора рванулась, дрогнула и заколебалась у отметки полтора вольты.

— Погоди... что за дьявол... на ней же написано... черным по белому... девять вольт... срок годности... гарантия...

Марк посмотрел на злосчастную батарейку, на шкалу вольтметра, где тонюсенькая стрелка медленно, но неудержимо ползла в сторону нуля... И вдруг расхохотался неудержимым, нескончаемым, оглушительным истерическим смехом. Сбитый же с толку Истомин поначалу порывался что-то лепетать, но вскоре просветлел, робко ухмыльнулся и, наконец, присоединился к приятелю. Трое старушек, гревших на солнце свои кости у подъезда, оторвались от вязания и закинули головы кверху, гадая, с какого этажа доносятся эти жуткие квакающие звуки, перемежающиеся всхлипами и приставываниями, и не надо ли, случаем, вызвать «скорую помощь» из психушки.

Через час с чем-то молочная лужа на полу исчезла, Иван с Марком сидели каждый в своем кресле и довольно мирно приканчивали бутылку коньяку, начатую еще позавчера.

— Все у меня погубило, — хмурился Иван, поднося зажженную спичку к своей исповеди, — мы с тобой теперь одного поля ягоды. Прежняя житуха кончилась, гангрена с ней произошла — и выход один, сам понимаешь. Я улетаю в Сибирь, сегодня же, поживу в деревне у школьного приятеля. Всесоюзного розыска, надеюсь, я не заслужил. Поохочусь месяца два, рыбки половлю. Суд к тому времени кончится, руки и у тебя будут развязаны. Живи куда здесь. А вернусь — с подробным планом. Ты в нем, думаю, заинтересован не меньше моего, так?

— Что мне остается!

— Вот и славно. А гости незваные нагрянут — скажешь, Истомин на юге, оставил тебя квартиру стеречь. Будет и на нашей улице праздник, потерпи только. Верить?

— Верю, верю, Герострат несчастный, отвяжись только. Да и что мне, повторяю, остается?

Глава седьмая

После обложных московских дождей, после жгучего холода ветреных октябрьских ночей, после серых, стесненных городским горизонтом утренних зорь и замешанных на мокром снеге — вечерних, после гнусных своих залоев и злобных бессильных слез, после унижительнейшего прощания с Конторой и отвратительных допросов «в качестве свидетеля по делу гр-на Баевского А. Е.» — словом, после всех своих драм и трагедий Марк попал, наконец, в земной рай. Покружив над серебристым, цвета лебяжьего пуха, морем, самолет мягко приземлился на узкую полосу батумского аэродрома, и стюардесса не без лукавой улыбки объявила, что за бортом двадцать четыре градуса тепла.

По-домашнему маленький аэропорт был почти безлюден. Лишь у железной ограды летного поля, в двух шагах от самолета, стояла небольшая терпеливая толпа — отъезжающие. На площади испускал короткие гудки полупустой автобус да выглядывали из своих запыленных машин ленивые таксисты, покуривая и взмахами фуражек приглашая разомлевших северян. Цвет отдаленных гор с расстоянием менялся с зеленого на желто-серый, а там и на синеватый, с белыми пятнами ледников; невидимое море насылало влажный ветерок, насыщенный запахами яблок, винограда, жухлой осенней листвы. Марк снова вздохнул. В фанерном павильончике закусочной предлагали пресный грузинский хлеб, красное вино, сыр, пучки зелени. Впрочем, для русских патриотов имелись вспухшие соленые огурцы да та же водка, по сто граммов которой осушили Марк с Иваном еще в Домодедове.

«Цихидзири! Зеленый мыс! Кобулети! Очамчир!» — со вкусом про-

возглашал Иван названия окрестных поселков, считывая их с плаката, где жизнерадостно скалилась парочка молодых курортников. Получив в багажном отделении свои маленькие чемоданы и увесистый ящик с лазером, они втащили все хозяйство в автобус и отправились в путь. Двум сотрудникам общества «Знание», которые решили совместить отдых у моря с чтением лекций по современным достижениям оптической физики, торопиться было некуда. Иван, тот даже захватил ласты, маску и подводное ружье, а теперь настаивал, что для начала надо обосноваться близ какой-нибудь турбазы и «непреренно отодрать по одной-две золотозубых провинциалочки—юг, осень, романтика, дают безотказно, Марк, по опыту знаю...». Марк все больше отмалчивался, но в конце концов тоже слегка развеселился. Особо его привлек живописанный болтуном Иваном мандариновый сад, виноградник и хурма—плоды, по замыслу Истомина, должны были сами падать в рот постояльцам.

Сошли они в местечке Махинджаури, не доезжая пяти километров до города. Турбаза поблизости, действительно, имелась, а вот с жильем оказалось туговато—в любой день могли грянуть холода, а в хилых летних сарайчиках, для курортников предназначенных, отопления не было. Слоняясь по крутым улочкам поселка, выкликивая от калиток смуглых хозяек, одинаковым движением откидывавших со лба блестящие черные волосы, они забирались все дальше и дальше в гору. На участке хозяев, которые оказались благосклоннее остальных, ни мандаринов, ни винограда не было, зато под окнами дощатого флигелька журчал довольно задорный ручей и сияли-таки меж облетевших веток оранжевые фонарики обещанной хурмы. Оставили сумки, потащились на крошечный вокзал за оставшими вещами, на рынке купили кинзы и зеленого лука, в магазине—порядочный кусок овечьего сыра. Купили и теплого хлеба. В окно доносился шум ручья, гоготанье хозяйских гусей, высокие голоса женщин, собиравших чай на соседском участке.

— Вот мы и дома.— Иван принялся накрывать на стол.— Первый скромный успех. За недельку обживемся, а там переедем повыше в горы. Говорят, прелюбопытнейший город Батуми. Ты что, правда, здесь не был?

— Сюда американцы почти не приезжают.

— Вот и хорошо. Подзакусим—да и в путь-дорогу. Справки милицеские у тебя? Не потерял? Чудно. К властям сегодня пойдем?

— Лучше завтра.

Солнце и море делали свое дело—Марк вдруг расслабился, отошел, даже тлевшая в нем все последние месяцы злоба на Ивана куда-то пропала.

— Я жутко проголодался, оказывается.— Он вгрызся в твердый, как камень, сыр.— От шашлыка бы не отказался отнюдь.

— Поищем в городе,—кивнул Иван.— А вино в магазине заметил—рубль семь копеек бутылка! Благодарить!

— Не для нас с тобой,—брызгливо заметил Марк,—надо в себя прийти. По крайней мере мне.

Тут Иван извлек из портфеля бутылку и, не слушая Марковых протестов, налил им обоим по стакану. И когда он ее успел купить, чертов сын?

— Сухое вино, учит товарищ Микоян, полезно,—наставительно сказал он.— Это бормотуха, любимое твое пойло, вредна. Слышал, японцы приобрели у нас пять тысяч бочек «Солнцедара»? Наши поразились, но продали. А косорылые, не будь идиоты, загрузили товар на пароход, вышли в открытое море и все вино немедленно за борт и вылили. Покупали, оказалось, только ради бочек бесплатных—хорошие были бочки, дубовые...

— Не верю!—засмеялся Марк.

— Ну и хрен с тобой, только не сиди тут, как в воду опущенный. Веселись, скотина! Мы же отдыхать приехали! «О, море в Гаграх!»—фальшиво пропел он.

— Отвяжись. И налей мне еще вина, еще чаю. И зелени дай, и хлеба, и сыра отрежь.

Только в ободранной этой комнатенке, под репродукцией «Охотников на привале», за нещадно скрипевшим дубовым столом, только здесь, сидя

на кровати с никелированной спинкой и невольно наслаждаясь душистым хлебом и мутноватым вином, Марк вдруг осознал, как нечеловечески устал он за эту осень. Гром, грянувший в начале августа, прокатился по его жизни да и ушел вместе с грозой в иные края, а для него, Марка, потянулись бездомные будни. В письмах, отчаянных и бестолковых, Клэр жаловалась, клялась, уверяла; писала и о том, что с Феликсом не виделась и что «эта страничка перевернута навсегда». О Билле не упоминала вовсе, но, судя по всему, жила с самоотверженным химиком по-прежнему. Уведомила Марка и о том, что «для пробы» подала на визу, но получила отказ. Марк же сообщил ей, не вдаваясь в излишние подробности, что оставил работу и разошелся со Светой, а в ответ получил неожиданный упрек: «Понимаешь ли ты, какую ответственность взвалил этим на плечи мне?» На почту, куда письмо из дымного Нью-Джерси приходил в отдел «до востребования», он являлся ежедневно.

С несостоявшимся тестем, Бог миловал, свидеться ему больше не довелось. За вещами же к Свете он приехал сам, небритый, отчаянно наглый и даже навеселе. Встретили его холодно, затем, однако, накормили ужином, обласкали и оставили ночевать, на что он без видимой неохоты согласился. Ночь изобиловала объятиями, слезами, сумасшедшими обещаниями и планами; наутро, содрогаясь от отвращения к самому себе, он пожелал Свете счастья и унес вещички, посулив вечером позвонить. Иван его терзаниям не сочувствовал вовсе. Уверял он, изумляясь, что на месте приятеля так и прожил бы у Светы до самого отъезда в Батуми, но, вероятнее всего, шутил.

Ключи от квартиры в Теплом Стане у Марка были, только квартира оказалась зачумленная. Продолжали в нее приходиться на имя хозяина заказные письма, безвестные доброхоты приглашали его по телефону «посидеть на игле», скорбные барышни, рыдая в трубку, требовали денег на аборты, анонимы назначали свидания в темных местах. Через неделю с чем-то после исчезновения Ивана у подъезда остановилась черная «Волга», и не кто иной, как полковник Горбунов, в сопровождении двух чинов помоложе поднялся на тринадцатый этаж. Звонили они в дверь добрых полчаса и даже угрожали ее взломать, но в конце концов все-таки ретировались. Марк, который все это время просидел, дрожа от ужаса, в ванной комнате, съехал на следующий же день, сняв за бешеные деньги какой-то сарайчик в Малаховке.

В одном отношении, правда, квартира была чиста и даже стерильна. После нелिцеприятного разговора Марк с Иваном закопали сброу и коробочки с желто-серым порошком в недалеком лесочке, а чемодан с западными книгами, ксеро- и машинописными копиями самиздатских сочинений Марк доставил на такси к Ярославу. Тот посокрушался насчет Андрея, посочувствовал самому Марку, чемодан обещал пристроить и кстати показал пресловутое письмо от Якова, где тот, помимо всего прочего, обещал «глотку перегрызть этому стукачу». Спорить Марк не стал, адрес Розенкранца дал незамедлительно—Ярослав на днях получил выездную визу.

От остановки автобуса спустились они на пустой пляж, пахнувший водорослями и одиночеством. Дымка над серой водой скрадывала контуры дрейфующих вдаль рыбачьих кораблей, море и небо у горизонта почти сливались. Направо взгляд наталкивался на стрелу Зеленого мыса, налево тускнели краны батумского порта и расплывчато мерещился сам город, а за ним не то различался, не то чудился еще один мыс, уже за турецкой границей. Марк пристроился было на гальке пляжа, но ненадолго хватило осеннего тепла, исходившего от камней,—сыростью потянуло от них, могильным холодом. Между тем приятель его тыкал суковатой палкой в груды мусора, выброшенного морем. Иные корешки и обломки были отполированы водою до поразительного благообразия.

— Видишь, — он протянул Марку очередную находку, — с одного боку — птица Феникс, с другого — автомат Калашникова. Готовое произведение для выставки «Лесная фантазия». Знаешь, в бывшем храме Симеона Столпника? На Новом Арбате.

Марк, сгорбившись, безмолвно рассматривал море.

— Охота тебе, — сказал он. — У меня этого добра было чуть не два чемодана. Камешки, открытки, черепки, значки, свечи, керамика. С Кро-

поткинской съезжая, все выкинул к чертовой матери, только драконы остались. Так и стоят теперь у Светки. Ну, полно развлекаться, автобус подъезжает.

С процессом тянуть не стали— всего два месяца с небольшим пришлось провести Андрею в Лефортовской тюрьме. На свидании с Марком он шутил, хвалил тюремную библиотеку, хвастался, что впервые в жизни прочел труды императора, тезки Марка, в отменном дореволюционном издании. Помимо продуктов, Евгений Петрович ухитрился передать сыну даже томик Мандельштама, а главное, ценой Бог весть каких усилий и унижений раздобыл для него западную новинку—очки с темнеющими стеклами. От круглосуточного света в камере глаза у подследственного сильно воспалились, слезились почти не переставая.

Вызывали на допросы и Марка. Он быстро сообразил, что отнюдь не только «Лизунцы» интересуют следствие. Откуда-то всплыло и слово «семинары», обросло плотью намеков и неосторожных косвенных показаний, так что если б не упорное молчание Владика, специально выписанного из мордовского лагеря, вполне могло бы переключиться в обвинительное заключение. Но не переключалось. Магнитофонные пленки—не доказательство, сколько ни намекай на их существование. А свидетели в голос твердили, что да, собирались полужнакомые люди по разным домам, иной раз и у покойного В. М., политики никакой не было. Следствие только разворачивалось в полную силу, когда Ярослав вдруг улизнул в Вену—такое бывало, плохая была координация между отделами органов. И Истомин, главный злодей, исчез с концами. Побесился следователь да и успокоился—на Баевского-то материалов было предостаточно. И черновики он не все уничтожил, и от авторства мюнхенской книжки не отказывался. А Марк молчал—не так, конечно, как брат, кое-что говорил, да все не то. Да, учился с Розенкранцем на одном курсе, потом как-то разошлись. Как, он уехал в Америку? Припоминаю, об этом говорилось в статье прозаика Ч. Прискорбно. Поступок брата оценить никак не могу. Романа не читал. Как он передал его за границу? Понятия не имею.

— Ваш почерк?—Струйский протянул ему написанное по просьбе Сергея Георгиевича письмо.—Ваша подпись?

— Мой,—сказал Марк.

— Как же прикажете расценивать данный документ? Видите, тут черным по белому—поступок моего брата Баевского А. Е., то есть изготовление антисоветской литературы и передачу ее за рубеж, решительно осуждаю. Вы же взрослый человек, Марк Евгеньевич. С высшим образованием. Вам ясно, что подразумевается этой фразой? Ваше согласие с антисоветским характером романа, раз. Косвенное подтверждение того, что Баевский передал его в «Рассвет» для публикации, два.

— Видите ли,—Марк взглянул на Струйского с чувством, которое испытывал в жизни, может, раза два. С ненавистью.—Меня вынудили составить это заявление путем шантажа. И ты учти, лейтенант, мне терять нечего, я человек конченный. Не вызывай меня больше на допросы. Не стоит. Провалишь свое первое дело. А что я сказал насчет шантажа—занеси в протокол.

Через пять минут побледневший Струйский выписал ему пропуск на выход—и больше, действительно, не вызывал. Надо добавить справедливости ради, что за порученное ему дело Баевского взялся он с огромной неохотой, чуть не поссорился с отцом и добился даже, что его вскоре от следствия отстранили—слишком много грубостей шепотом пришлось ему выслушать от некоторых свидетелей.

А адвокат Ефим Семенович ничуть не терял своей веселости, в частности, долго и зарзательно смеялся, когда Марк спросил, нельзя ли подать на прозаика Ч. или на «Литературную газету» в суд за клевету. Вообще же много дрыгал пухлыми ручками и ножками и жаловался на трудности работы с подзащитным. Тому, оказывается, не терпелось изобразить из себя героя, в последнем слове воззвать к гражданской совести судей и чуть ли не мировому общественному мнению. «Безумец!—воскликнул адвокат.—Как он осложняет мне работу! И какое мировое общественное мнение? Какая совесть может быть в таком бесспорном деле, на полужакрытом суде?»

Психиатрическую экспертизу Андрей прошел благополучно, а слушание дела устроили почему-то в Волгограде. Марк добрых шесть часов убил на доставание билетов. Мать Андрея, тишайшая учительница русского языка, знай твердила свое: «Стыд-то какой, Господи, на старости лет...» Марк пытался утешить ее обширной телеграммой от Розенкранца, телеграммой от каких-то американских писателей, от французских, от западногерманских, но она расстроилась еще пуще. Была на процессе и молчаливая заплаканная Инна.

Уложились в полдня. В три часа начали разбирательство в небольшом зале областного суда, в восемь вечера зачитали приговор. Не обошлось, кстати, и без дешевой символики — Марк против воли все время косился в окно, где маячила, замахнувшись мечом, пресловутая скульптура Родины-матери, склепанная из огромных стальных листов.

Он вдруг пожалел, что расстался с Истоминным. Грустно было шляться по городу в одиночестве. Тоска и усталость не покидали его, не давали радоваться ни балкончикам на витых чугунных колоннах, ни осеннему изобилию рынка, ни забавным объявлениям, набранным вычурным шрифтом двадцатых годов. Саввозь облетающий парк он вышел на набережную, с сожалением бросил взгляд на внушительное темно-серое здание батумской гостиницы. Будь в кармане удостоверение Конторы, пустили бы. Тогда было бы — окно в парк, ветер с моря, музыка из ресторана по ночам, тонкий запах старого дерева и плюша в огромном номере. А может, и не пустили бы, раз на раз не приходится.

— Умели строить, — услышал он. Седовласый, чуть обрюзгший полковник говорил доверительно, сжимая руку своей молодящейся подруге. — И не спорьте со мною, Татьяна Михайловна, вы в ту пору еще пешком под стол ходили. — Подруга хихикнула, раскусив тайный комплимент. — Порядок при нем был настоящий, работать еще не разучились. И что же? Цены снижались всякий год, полки в магазинах ломились, икры навалом — ешь, не хочу, девятнадцать рублей кило — зернистая, тринадцать — паюсная, красная вовсе — семь. Как сейчас помню..

Он пропустил парочку вперед. Облака сгустились, только по влажному теплу, исходившему из одной точки неба, чуть посветлее других, можно было угадать, где сверкает за тучами солнце, видное только птицам — или нет птиц, летающих так высоко? — да пассажирам аэропланов.

«Боже мой, — подумал он, — впервые в жизни мне совершенно наплевать на то, что случится со мной, скажем, через две недели».

Когда зачитывали недлинное обвинительное заключение, публика в зале — местные чины ГБ, комсомольские активисты да досужие пенсионеры — помалкивала. Зато когда Андрей признал авторство, признал, что читал отрывки вслух и давал копии романа приятелям, но виновным себя не считает, возмущенно зашумелась. С глазами у подсудимого стало совсем неважно, пришлось и на суд надеть дымчатые очки — то-то было толков в фойе насчет нахального вида московского диссидента. На улице шел мокрый снег, воздух в зале суда стоял сырой и спертый. Кое-кто сидел прямо в пальто, другие держали верхнюю одежду на коленях.

Честно отработывал свой немаленький гонорар Ефим Семенович, хоть и диковато звучали иные его пассажи об искреннем раскаянии подсудимого. Обильно потел, осушил почти весь графин с желтоватой водой, перед ним стоявший, к концу речи пришел в порядочное возбуждение. Разумеется, говорил он, нельзя отрицать антисоветского характера «Лизунцов», никто не спорит с заключением экспертов из Главлита. И да, чтение романа вслух «группам от трех до десяти человек», имевшее место в Москве и в Ленинграде, можно бы при иных обстоятельствах квалифицировать как распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Отрывки из романа передавались в эфир радиостанциями стран империализма, что еще прискорбнее. Но оснований обвинять подсудимого в антисоветской агитации и пропаганде, на что напирал товарищ прокурор, — нет! Не со злым умыслом имеем мы дело, товарищи, а с легкомыс-

ленным, безответственным характером подсудимого. Судить нужно не столько Баевского, сколько предателя родины Розенкранца, обманным путем вывезшего преступное сочинение за рубеж. Подсудимый же искренне полагал, что оно носит чисто юмористический характер. Наивность? Да! Наивность на грани преступления? Тоже да! Однако обратите внимание, товарищи, именно на грани! Увы, заблуждения подсудимого коварно использовали в своих грязных интересах силы, враждебные нашему строю (жар, с которым произнес эту фразу адвокат, успешно скрыл ее грамматiku), силы враждебные, да, умеющие извлекать выгоду из всего — в данном случае из непомерного тщеславия подсудимого, из его честолюбия и идеологического инфантилизма... Обратимся к стихам Баевского — и мы увидим так называемую «чистую лирику», безо всяких покушений на подрыв советской власти...

Да-да, и незапятнанный моральный облик подсудимого — характеристика из Кириллова, характеристика из жэка: «К обязанностям дворника относился добросовестно, принимал участие в субботниках, имел общественную нагрузку, состоя в редколлегии стенной газеты».

Последняя фраза, как и упоминание стихов в адвокатской речи, сыграли на руку обвинению. Под гневный шум в зале зачитал прокурор одну из строф дергачевского государственного гимна из повести, произведя ее в «гнуснейшее глумление над советской песней», прочел и разысканные по стенгазетам стихи, «говорящие не столько об идеологическом инфантилизме, сколько о предельном цинизме обвиняемого...»

Поздним вечером после суда в дурно освещенной столовой ели какие-то сомнительные котлеты с короткими толстыми макаронами. Ефим Семенович, с которого уже слетел весь гонор, объяснял подавленной Инне, что брак с Андреем ей удастся оформить разве что чудом, а без этого — ни о каких свиданиях не может идти и речи. Евгений Петрович молчал, мать Андрея поминутно прикладывала к раскосым глазам розовый кружевной платок. До самого конца, до самых жидких аплодисментов после чтения приговора ей, видимо, казалось, что сына тут же и выпустят на свободу. Впрочем, приговор был самый мягкий, не в последнюю очередь потому, что Ефим Семенович уговорил-таки Андрея воздержаться от резкостей в последнем слове. И прочел подсудимый вместо призывов к поминавшейся совести и общественному мнению — стишок средней длины, встреченный поистине гробовым молчанием. «Не убивайтесь, что вы, — разводил руками Ефим Семенович, — три года общего режима — это же до смешного мало! А ссылка после срока — ну подумаешь, и в ссылке люди живут. Отбудет свое, молодым еще вернется...»

— Вот, послала сына учиться в Москву двенадцать лет назад, — плакала Елена Николаевна, — думала, университет кончит, человеком станет. Последнее отдавала. Что же ты его не уберег, Женья?

Евгений Петрович молчал.

— Он настоящий человек, — сказал вдруг Марк. — О нас забудут, а о нем, может, и через сто лет вспомнят.

— За что вспоминать? — Голос ее дрожал. — За антисоветчину? За то, что в одиночку пошел против всей страны? Да неужто он прав со своей писаниной, а родина его — нет?

— Он прав, — жестко ответил Марк, — а родина его — нет.

— Может, и так, — загрузил Ефим Семенович. — Темен жребий русского поэта.

Они остались в столовой одни. Меж столов ходила уборщица, с тяжким грохотом переворачивая алюминиевые стулья.

— Зря вы принимали так близко к сердцу мое адвокатское словоблудие, — сказал адвокат, — а уж прокурорское — тем более. Ладно, — он смеялся, — мне пора. Вы в аэропорт? Я все-таки поездом. Ох, совсем забыл, Марк. Андрей просил передать вам стихи. Держите.

Покуда в аэропорту утешал Евгений Петрович плакавших в обнимку женщин, Марк стоял в сторонке. Стихотворение, оно же последнее слово подсудимого, выучил наизусть и отдал листок папиросной бумаги с накопанными строчками Инне. А само оно, строчка за строчкой, теперь против воли всплывало в памяти, сливаясь с ревом улетающих самолетов.

«Листопад завершается. Осень мельтешит, превращается в дым. Понапрасну мы Господа просим об отсрочке свидания с Ним. И не будем

считаться с собою — над обоими трудится гром, и небесное око простое роковым тяжелеет дождем.

Все пройдет. Успокоятся грозы. Сердце вздрогнет в назначенный час. Обернись — и увидишь сквозь слезы: ничего не осталось от нас. Только плакать не надо об этом — не поверят, не примут всерьез. Видишь, холм, как серебряным светом, ковылем и полынью порос.

И река громыхает в ущелье, и звезда полыхает в дыму, и какое еще утешенье на прощание дать своему брату младшему? Мы еще дышим, смертный путь по-недоброму крут, и полночные юркие мыши гефсиманские корни грызут.

И откуда свою колесницу распрягает усталый Илья — спи спокойно. Пускай тебе снится две свободы — твоя и моя».

Глава восьмая

— Темно-то как, Господи, — не удержался Марк.

— Не волнуйся! — наперебой закричали вокруг. — Сию секунду! Тут и электричество есть! Дай только собраться!

Как отрезало — замолкли, принялись в полутьме рассаживаться вокруг стола, с противным скрипом ворочая тяжелыми табуретками по земляному сырому полу. Наконец затлела под потолком дрянная коммунальная лампочка. Марка клонило в сон, а собравшиеся выглядели оживленными, даже довольно веселыми. Одного из них он не знал — крепкого парня в окладистой бороде, с длинными волосами, на затылке перехваченными аптечной резинкой. «Иностранец», — сообразил он.

— И ты присаживайся, Марк! — жизнерадостно сказал Иван. — Боишься, что для тебя табуреточки не припасли? Только уж поодаль, пожалуйста, вот тут, у стеночки, да. Хорошо? Ну, не ерепенся, право же. — Он извлек из-под стола толстенный фолиант, раскрыл его на середине. — Видишь, чего написано: в необходимых случаях созывается специальная комиссия из числа местных обывателей, которая и решает дело. Неужто неясно?

— Всегда был туповат, — сказал из угла Струйский.

— Скорее, глуповат, сынок, — поправил его Горбунов.

— Да неужто для такого обормота бестолкового — еще и спецвагон из Дергачева выписывать, неужто Петра Евсеича отрывать от государственных дел?

— Ни в коем случае, Марья Федотовна, — сказал Иван. — Это было бы против духа и буквы нашей конституции. — Он зазвенел невесть откуда взявшимся председательским колокольчиком. — К порядку, граждане, к порядку, а то до утра не кончим! Да и вы лучше садитесь, Соломин, а то так у нас сядете, что не встанете.

В углу захихикал кто-то невидимый. Марк сел.

— Так-то лучше, — молвил Иван наставительно.

— В ногах правды нет, — вставил на чистом русском языке профессор Уайтфилд.

— Ну и начнем, — продолжал Иван, — скажем, с Михаила Кабанова как самого красноречивого. Как-никак, писатель!

— Он тебе нравится, Клэр? — Андрей кивнул на Марка.

— Мало сказать. — Она сощурилась, будто в попытке что-то припомнить. — Я его люблю. У него мужественное тело, большие голубые глаза, близорукие, но поразительно красивые. Густые брови, длинные, как у скрипача, пальцы. Он помнит наизусть многие стихи своего несчастного брата и всегда помогал ему. Он чудесный любовник. — Она чуть зарделась. — Его ночной голос глубок и чист. Он приветлив, умен, нежен, добр. Правда, Феликс?

— Я слышал, он излечил тебя от одной застарелой страсти, — отозвался бородатый, — и покровительствовал одному московскому старику. Доставал ему дефицитные лекарства, на чаепития не являлся без торта или горсточки конфет.

— Он был моим любимым гостем, — подтвердил Владимир Михайлович. — Мы часами играли в шахматы, он слушал мои рассказы и сочув-

ствовал мне. Приносил билеты в кино, а однажды даже в кукольный театр и денег никогда не брал.

— И я ходила с ним в кукольный театр, — подала голос Света. — Он помогал мне учить французский, охотно делал всякую работу по дому. Отдавал мне на хозяйство всю зарплату, ни гроша ни утаивал. По утрам, в выходные, по ночам или просто среди бела дня мы часами валялись в постели, он развлекал меня смешными историями, рассказывал, как счастливо будем мы жить с ним, какие у нас будут замечательные дети, мальчик постарше, девочка помоложе. Он вскопал землю отца моего и засеял ее польнойю.

— Он купил у меня картину, когда голод стучался в двери мои, — сказал Глузман, — и в глазах его, когда снимает он очки свои, светится настоящая ветхозаветная тоска.

— Он любил свою мать, — сказал Евгений Петрович, — по ее настоянию он много лет не виделся с отцом. А помните, как горевал он, когда погиб несчастный Ветловский? Он принес на похороны самоубийце букет сирени, он дважды был на могиле за эти годы, он дал денег кладбищенскому сторожу на уход за нею. А когда его товарищ решил бежать в Америку, он устроил ему хорошие проводы. Больше Господу радости об одном раскаявшемся, нежели о сотне праведников, а он, если и отрекался, то горько плакал о своих отречениях.

— Несколько ночей провел он у постели одного больного дантиста, — сказал профессор, — у него ясный ум, у него есть зачаточные представления о добре и зле — не так уж мало для русского!

— Приятелей своих, уголовников, отговаривал антисоветчиной заниматься, — сказал Струйский, — без особого, правда, успеха, но ведь искренне же, от души!

— Вижу, всем он тут нравится, да и я, признаться, не исключение! — воскликнул полковник Горбунов. Был он сегодня в форме, с десятком орденских планок на зеленом кителе. — Правда, я с ним едва знаком, через Сергей Георгича только, ну да на допросе пришлось однажды над ним потрудиться, отпрыску своему однородному помочь. Но что такое допрос, товарищи вы мои задушевные! Не та на нем ситуация для настоящей дружбы! А, ей-Богу, по душе мне этот паренек синеглазенький, барашек наш ненаглядный, сойтись бы с ним покорооче на пикничке с шашлычком, потолковать по вашему, профессор, выражению, о добре и зле. Чертовски занятая материя. Верно, Глузман?

— Шутите, гражданин начальник.

— Какие шутки! — засмеялся Горбунов. — Какие уж тут шутки, гражданин заключенный № 654/158ЯГ, коли я со студенческих лет еще твердым образом был убежден: добро и, так сказать, зло находятся в диалектической взаимосвязи! Поясню для иностранных подданных — всякое добро может обернуться злом и, наоборот, при недоучете классового момента. Допустим, ты, мистер Уайтфилд, ты, зуб даю, давно уж скатился в гнилое болото ложного мелкобуржуазного гуманизма.

— Скатился, — сокрушенно кивнул профессор.

— А ты, Феликс, наоборот, шлялся по джунглям с автоматом да грабил незащитных крестьян, так? Это уже уклон левый — и тоже, друзья мои, для нас неприемлемый! — Он обвел комнату посуровевшим взглядом. — Особенно тебя это касается, Евгений Петрович. Ну признайся честно, без антимоний этих твоих, ну не стыдно ли тебе? Да неужто ты всерьез веришь, что надо, мол, отвечать добром на зло? Благословлять проклинающих вас? Молиться за ненавидящих вас? И во всю эту херню насчет званых и избранных? светильников без масла и прочего?

— Как же иначе! — вскинул голову Евгений Петрович.

— Во дурак старый, а? Воистину сбудется изреченное через пророка: седина в голову — бес в ребро. Слушай, Евгений Петрович, заруби на носу: если я у тебя отсужу рубашку, не нужно мне твоих милостей в смысле верхней одежды — сам отберу, коли нужно будет. И если попрошу тебя идти со мной одно поприще, а потребуются два — поташу на веревке, на фиг мне твоё согласие. И щеку вторую не подставляй — оно, конечно, и удобней, только не знаю, товарищи, лично мне при виде такого идиотизма захочется не то что по правой щеке вдарить, а просто всю морду разнести фарисею. Не выйдет, господа мракобесы! Помню, заключал один

реакционный писатель: если Бога якобы нет, то все позволено. Я же наоборот перед вами выражусь. Анархического мелкобуржуазного своеволия мы никому не позволим, вы уж простите. Но нам, которые сплоченные единой идеей борьбы за счастье всего прогрессивного и уничтожение всего реакционного человечества, позволено, извините, все. Это факт, граждане, а против факта никуда не попрешь. И, следовательно, никакого вашего Бога в наличии не имеется!

— Бог есть, — сказал Марк.

Тут часть присутствующих расхохоталась, а пуще всех Иван.

— Ну даешь! — закричал он, привскочив с места. — Выходит, двести пятьдесят миллионов советских людей шагают не в ногу, один только Марк Соломин со своим папашей, клерикалом недорезанным, шагают в ногу! Скажу тебе по дружбе, Марк, — он перешел на доверительный тон, — забыл бы ты, приятель, все эти басни религиозные, пока не поздно. Скажи, родиться ты хотел? Страдать хотел? Погибнуть — хочешь? По глазам вижу, что нет. Тебе все условия создали для жизни, а ты...

— Обманул доверие.

— И папаша его тоже хорош.

— Все мы тут хороши.

— Товарищи, тише! Еще перессориться не хватало!

— Сюда бы Федю Моргунова. Он бы мигом разобрался.

— Так может, кликнем?

— Его позавчера расстреляли в Набоковском лесу, — сказал Андрей. —

Его и Колю Звонарева.

— Ты откуда знаешь? — насторожился Горбунов.

— Так я же и написал этот роман, товарищ полковник.

— Не врешь? — восхитился тот. — Господи! Здорово-то как! Ты сам не понимаешь, Кабанов, как ты мне помог, по гроб жизни не забуду! Всем отделом бьемся, никак автора не найдем, а он сам признается! Слушай, лично попрошу начальство, чтобы тебе за явку с повинной годика два скостили, слово советского офицера! И позволь уж, пока суд да дело, облобызать тебя по-дружески как замечательного автора! Зачитывались! Хохоту было в отделе — не поверишь! Я младшему сержанту собственноручно коробку конфет немецких презентовал, чтобы для меня лишнюю копию сделала. И не обижайся ты на нас — будь роман плохим, никто б тебя и пальцем не тронул!

Потянувшись через стол, он и в самом деле смачно расцеловал упирающегося Андрея в обе щеки. Одновременно с этим дверь избушки приоткрылась и внутрь заглянула какая-то бритая голова в армейской пилотке. «Потом, потом!» — зашипел Горбунов, и голова исчезла. А Марк украдкой распрямил затекшие ноги — табурет ему попался на редкость неудобный.

— А тебе не жалко его, Клэр? — снова раздался голос Андрея.

— Ночи напролет плакала я от разлуки с ним, — отвечала она тихо, — перечитывала его письма и разглядывала ту фотографию, где он сидит на самаркандской скамейке со своими драконами. Конечно, сердце у меня разрывается от жалости. Он родился в таком жутком государстве, а родину все-таки любил. Всю жизнь стремился к счастью и теперь сам не может понять, отчего потерпел поражение.

— Он не захотел со мной в Америку, — сказал Костя, — да его бы и не пустили.

— А если б пустили, какое его ожидало бы разочарование! — усмехнулся профессор. — Он же был уверен в глубине души, что за границей, на свободе — все беззаботны и счастливы. Да и немудрено — иностранцев-то он видел только во время отпуска, в гостях.

— Ни методы нашей не понимал, — сочувственно сказал Струйский, — ни в целых наших не сек. Какие шансы упустил, чудила грешная!

— Ежедневно, если не ежеминутно, ему приходилось кривить душой, чтобы заработать на кусок хлеба с маслом.

— Он не верил в Бога и пренебрегал Его утешением. Гордыня его была воистину непомерной, но сам он страдал от этого больше всех.

— Он терпеть не мог убивать кошек, а сколько раз приходилось ему по разнарядке райкома заниматься забоем и обдиркой!

— Ох, граждане, товарищи вы мои! — засмеялся Иван. — Он у вас прямо святой какой-то выходит! Среда его, видите ли, заела, агнца Божьего! И вы все о своем Боге! — упрекнул он Евгения Петровича. — И вы, Марья Федотовна, тоже придумали — кошек ему, видите ли, свежевать не по чину, подумаешь, цаца! Чем он лучше других? Хотя, — он помедлил, — мне чем-то по душе ваша всеобщая сердобольность. В самом деле, ведь не звери же мы, не леопарды какие-нибудь. Хотите что-то добавить, Феликс? Милости прошу!

— Мне идея ваша очень нравилась, — начал Феликс, почесывая бороду. — Коммунизм, в смысле. Все счастливы, за исключением вырождков. Общий порыв. Вся плесень в человеческой душе истребляется, и на смену ей приходит объединенное движение к благородной цели. Вот вы, простые советские люди, вы знаете, как омерзителен буржуазный строй со всей его свободой и материальным изобилием?

— Знаем!

— Как не знать!

— Инфляция и безработица! — протрубил полковник Горбунов.

— Ну, это вы бросьте! Со всей инфляцией и безработицей у нас все равно такая жизнь, какая вам и не снилась. То бишь, — поправился он, — бедность, конечно, тоже есть...

— Лично наблюдал стариков на Сорок второй улице, вынимавших из мусорных ящиков окурки, — вставил Розенкранц, — о Гарлеме и не говорю.

— ...но она просто поживописней, ваша пострашнее будет. Дело не в ней, а в бесцельности и пошлости нашей жизни. Вот мы и ищем выход. А у вас, друзья мои, жизнь еще пошлее, еще отвратительней. А в Албании просто концлагерь во всю страну. И чего же, спрашивается, делать прикажете? Я вам расскажу, — оживился он, — мы в августе прошлого года объявили двух пленных заложниками за наших ребят. Слышим по радио — отклонили апелляцию, приговор приведен в исполнение. Что ж, спозаранок идем в палатку к пленным, снимаем с них наручники, ноги связываем да и ведем к реке. Знаете, у нас в джунглях никаких таких страстей с копанием могил перед расстрелом не нужно, — пояснил он, — там пираньи. По дороге один из них, Хосе, мне и говорит...

— У, троцкистка твоя душонка, Феликс! — взвился полковник Горбунов. — Чего ты лирику разводишь? Ну, шлепнули заложников, велика ли беда? Вон Владимир Ильич тоже заложников брал, чтобы хлеб стране вовремя поставляли, и учил: чем больше расстреляем, тем лучше. И что это вы за помощью к китайцам сунулись? С нами бы скорей победили, а победителей, как известно, что? Не судят! О своих бы товарищах лучше подумал, дурень. Ладно, хватит болтать. Как же все-таки нам быть с гражданином Соломиным? По имеющимся у нас сведениям, он намерен с помощью поддельных документов сотрудника общества «Знание» проникнуть в погранзону, якобы для чтения лекций. Вкрасться в доверие к командиру одной из застав и, улучив момент, пересечь госграницу, в дальнейшем попросив у властей сопредельной империалистической державы политического убежища. Каков подлец, а!

— Это вы загнули, гражданин начальник, — сказал Глузман. — Лично я никакой подлости в этом не вижу. Хочет человек жить в другой стране, и пускай себе живет.

— Ты еще Декларацию прав человека помяни, — беззлобно огрызнулся полковник. — Дурень, не зря в лагере сидишь. Как же мать его? А отец? А родина, которая, как известно, дороже матери? Не-ет, не можем мы себе позволить терять людей. С иностранкой переспал? И что с того? Так у нас пол-Москвы за границу навострится — вон сколько этих иностранок развелось, задницами виляет! Он, понимаете ли, обиделся! Он несчастный! А мы что, счастливые? — Горбунов ухмыльнулся собственной шутке. — Я, к примеру, со своим допуском — в эту за границу, даже в Болгарию сраную, в жизни не попаду. Два года подряд отпуска летом не дают! В санаторий комитетский поехал — чуть язву желудка себе не нажил! В оперативе нашем всякий стройматериал с кровью, с потом выбиваю! Сын — бездельник, чуть дела не провалил, чистюля, а как я старался, чтобы его с оперативной работы на следовательскую перевели, перед генералом унижался! Теперь разводиться собрался. Согласен, супружница

у него была не сахар. Но кто у него в свое время нормальную бабу отбил?

— Собака на сене, — проворчал Струйский.

Собравшиеся оживились. В дальнем углу кто-то закурил в кулак, распространяя удушливый запах махорки. Снова зазвенел истоминский колокольчик.

— Светает, граждане, прошу покороче, — сказал Иван. — Нас ждут. Все мы люди, все мы человеки, всем нам, конечно, в известной мере жаль Марка Соломина, поскольку он, простите за высокопарность, должен за всех нас принять страдание, пойти, иными словами, на крест. Кое-какие страдания, правда, он уже принял, — поправился он, — отмечу, что принесенные им материальные и моральные жертвы смело можно квалифицировать как значительные... Вы не согласны, Марья Федотовна?

— Глупости вы какие-то говорите, Иван Феоктистович! — обозлилась она. — Какие страдания? Какие жертвы? Чего человеку нужно было? Здоров, как бык, детей нет, сто двадцать рублей зарплаты, да от иностранцев вечно что-то перепало, квартиры не было, так вступил бы в кооператив как порядочный. Страдалец! У меня вон вся молодость прошла по очередям да по коммунальным кухням, личная жизнь не сложилась, но, слава Богу, только зажила, хоть на старости лет, думаю, отдохну, рюмки хрустальные себе купила, сервиз чешский, соседи разъехались — и тут ваш Марк пожаловал, как снег на голову. Кухню мыл грязной тряпкой, на полу вечно разводы оставались, а сам, барин, туалетной бумаги себе завел целый рулон, водку свою конфетами шоколадными закусывал — чуть не каждый день фантики от «Мишек» в помойном ведре! Кофе выдувал по три чашки в день, и все без цикория, даже растворимый доставал где-то. Два костюма у него, ботинок три пары, рубашек без счета, тулуп этот модный, дубленка. Чего еще надо человеку? Голода не знал, войны не нюхал, заказы у него на работе. Поделались бы как-нибудь, прошу. А он ни в какую — что сам, говорит, не беру, то матери отношу, Марья Федотовна. И колбаса у него там по четыре тридцать, полукопченая, и ядрица, и икра, и рыба красная чуть не каждый месяц. И мыло у него вечно было иностранное, пахучее такое. Ключи от квартиры оставлял кому попало, чтобы женщины водили...

— Это все материальное, — сказал Розенкранц, которого последняя фраза Марьи Федотовны слегка смутила. — Не об этом у нас речь.

— Он меня предал, — с обидой отозвалась Света. — Изменил да еще концы спрятать пытался. И не просто изменил, а вдобавок влюбился в какую-то заезжую потаскушку. Вдвойне мерзавец. Отца моего, кристально-го человека, совестью мучиться заставил.

Тут Марк заметил, что сидит Света совсем рядом со Струйским, обнимающим ее за талию. Но ему было уже все равно.

— Когда его друг навсегда покидал Россию, он не поехал в аэропорт на проводы, опасаясь неприятностей по службе.

— От которых-таки не убежал, — со смешком добавил Струйский.

— Всю жизнь он продавался тоталитарному режиму, — сказал профессор, — всю жизнь он беззащитно...

И тут Марка наконец прорвало.

— Замолчите! — Он вскочил, со страшным грохотом опрокинув табуретку. — Замолчите! Что я вам сделал? Кто вы такие, чтобы судить меня? Дайте мне дышать, дайте выйти отсюда, оставьте в покое!

Народ удивленно зашептался.

— Странный человек, — пожал плечами Иван.

— На улицу просится, — прокомментировал Горбунов, — может, ему до ветру надо, прошу прощения у дам?

— Он уйти хочет, — возразил Андрей.

— Уйти? — раздался общий хор. — Куда? Зачем? Сумасшедший!

— А что, — начал профессор, — не отпустить ли нам его, в самом-то деле, что грех на душу брать?

— Для его же блага, — горячилась Света, — закон есть закон, мы должны о нем позаботиться...

— Пусть катит хоть на рога! — выпалил Струйский. — До Дергачева доканает как-нибудь, а там с ним живо разберутся.

— Или по дороге разберутся, — добавил Горбунов, — тут патрулей много, даже со спецвагонами есть.

— Может быть, кто-нибудь пойдет со мной? — спросил Марк. Никто не отозвался.

— Может быть, ты, Клэр?

Но она смотрела в сторону, словно не слышала. Между тем кто-то настезь распахнул дощатую дверь избышки, и Марк увидел бесконечную дождливую равнину, где сквозь клочья тумана угадывался силуэт не то церкви, не то силосной башни на горизонте.

— Ступай, Марк, ступай, — сказал ему Владимир Михайлович.

И Махинджаури, и Батуми остались далеко позади: уже третий день Марк с Иваном обретались в горной деревушке, где и летом-то курортниками не пахло. Со своей раскладушки Марк увидел раздетого до пояса приятеля у жестяного умывальника. Обливаясь ледяной водой, тот сладко покряхтывал. Рядом с ним стоял невозмутимый индюк, по двору бродило полдюжины мечтательных кур во главе с красавцем-петухом. Сразу за оградой начиналась глянцевиная зелень чайных кустов.

— Ну и скверно же ты спал сегодня. — Иван с махровым полотенцем через плечо вошел в комнату. — Стонал, метался, кричал. Смотри, отправлю тебя обратно в столицу нашей родины. Мужик ты или нет?

— Кровать жесткая, — поморщился Марк, — и холодно тут ужасно. Ты оставил мне воды в умывальнике?

— Два ведра, дорогой, хватит на целый взвод. Хозяйка дала нам яиц и хлеба. А обедом пускай уж кормят на заставе.

Завтракали на улице, в обвитой виноградом беседке. Утро выдалось солнечное, акварельные горы вокруг деревушки настраивали на самый беззаботный лад.

— Видишь, здесь осень уже совсем глубокая. — Иван показал на ближайший склон, где среди темной зелени серели пятна облетевших кленов. — На побережье не так чувствуется.

— Там и зелень настоящая. Терпеть не могу всех этих пальм и магнолий. Курорт! — сказал Марк с раздражением.

— А моя Маргарита взახлеб расхваливала, — засмеялся Иван.

В Махинджаури он отправился-таки на танцплощадку при турбазе, отловил там жеманное широкоплечее создание из Ульяновска, действительно с двумя золотыми зубами, и всю ночь, к немалому негодованию Марка, возился с ней на своей койке.

— Купила она свой ковер?

— А как же! Кольца золотого не достала, не с пустыми же руками возвращаться. Сколько счастья было, Марк, застрелись.

— Интересно, не становится ли дорога на заставу хуже, когда отходит от поселка?

— С чего бы? Да и что нам беспокоиться? Мы же все равно налегке, пускай за лазером и чемоданами машину пришлют. Они нам обязаны — кто кого развлекать будет, если разобраться? Вон в Батуми какая прорва публики заявилась. Ты мне лучше вот что скажи: мы на границе, часом, не встретим твоего Скворцова?

— Окстись, — вздрогнул Марк, — только этого не хватало.

— Шансы невелики. К тому же, если судить по твоим рассказам, его уже давно перевели в стройбат.

— Черт его знает.

— Ну давай вернемся. Меня, правда, в любом случае посадят, а тебя ждут невиданные перспективы. Даже с волчьим билетом можно у нас прожить. Зазнобу свою забудешь понемногу. Думаешь, она тебя ждет? Ты, любезный, был лишь очередным пикантным эпизодом в насыщенной биографии свободного человека...

— Замолчи, пожалуйста.

— Сам напросился. Не пужайся, Марк Евгеньевич! Никого не жалею, ни о чем не жалею, перемелется! У меня, что ли, родителей нет? Полетят они кувыркром со всех постов, подумать страшно. Папашу, может, и во все кондрашка хватит. А у нас с тобой вероятность получить пулю в затылок — смехотворно мала, это тебе не расстрел в подвале. Тебе же и вовсе грех жаловаться — с моей ногой в случае чего не больно разбегаться.

Прокравшийся в беседку индюк склеивал обильно роняемые Марком хлебные крошки, куры оскорбленно кудахтали невдалеке.

— Сколько, говоришь, получим, если попадемся?

— Ты—с помощью Ефима Семеновича—никак не больше трех лет. А твой покорный слуга—до пятнадцати. На высшую-то меру не потяну. Ты не забывай, что мы не самоубийцы. Если ни на одной заставе не будет растяпы-командира—вернемся. И, ради Бога, поменьше болтай. Молчи, кивай, улыбайся. Голограммы не побились?

— Нет.

— Водка цела?

— Что с ней делается!

— Ну, давай собираться. Двенадцать километров не шутка.

Вскоре они уже неторопливо шагали по горной дороге, грунтовой, но вполне приличной, разве что иногда малость крутоватой. Щадя товарища, Марк замедлял шаг на подъемах, иной раз они присаживались на обочину или, скинув рюкзаки, забирались в колючую чащобу за каштанами и орехами.

— Слушай, Иван.— Марк освободил очередной каштан от сухой шипастой шкурки.— Скажи-ка мне одну вещь напоследок. Ты кого-нибудь в жизни любил?

— Изволь,— отозвался Иван,— жену свою первую Тamarку любил отчаянно. Какие штуки она в постели выделывала—конец света. Жаль, глупа была, как пробка.

— Seriously.

— Коньяк люблю, но это тебе известно. Анашу не очень, кокаин бы любил, если б не похмелье. Опасность люблю, даром что с ГБ так обосрался. Даст Бог, вернусь в Россию разведчиком, коли это племя еще не вымерло. Потом, если уж серьезно...

Из-за поворота дороги послышался надсадный шум мотора, и через несколько секунд возле них остановилась зеленая полторка. Припекало солнце, в кустах повистывали невидимые птицы. В просвете между горами, словно на открытке, сквозило море с дымящим пароходом. Проверив у друзей документы и выслушав объяснения Ивана, улыбочивый лейтенант предложил подбросить ученых физиков из Москвы, и они в два счета докатили до заставы, где об их лекциях уже получили телефонограмму из батумского отделения всесоюзного общества «Знание».

Эпилог

— Ну же, Рекс, ну!—почти жалобно прошептал ефрейтор Романенко.— Что с тобой сегодня, псина?

С самого развода беспокоилась его красавица-овчарка. Скулила, подрагивала, повизгивала, даже наверняка бы разлаялась, если б не намордник. В такую морозящую осеннюю погоду собаки, как и их хозяева, бывают подвержены беспричинной тоске.

— Заболела, наверно,— тем же шепотом предположил со своей верхотуры Скворцов.

— С чего бы?

Притихший пес снова пристроился у сапог ефрейтора, дежурившего со Скворцовым в секрете. Пограничники скучали: охраняемая тропа по старой памяти звалась турецкой, но уж лет десять как не пробирался по ней ни один вшивый контрабандист, о шпионах и говорить нечего. Пете секрет был в новинку, и он, даром что не раз до того патрулировал границу, поначалу заметно волновался.

Невдалеке от их поста... собственно, какой там пост? Дощатый, весьма некомфортабельный помост на развилке столетнего вяза— для Пети да кружок примятой сырой травы под деревом— для ефрейтора с собакой... Невдалеке от поста, за рощей, зарокотал газик, направлявшийся на их заставу,—и вдруг замолк.

— Уж не физиков ли обещанных к нам везут?—сказал Романенко.

— Наверно. А остановились-то что?

— Мало ли.

— Поможем?

— Спятил — пост покидать. Сами справятся.

Напрасно, ах, как напрасно настаивал ефрейтор Романенко на соблюдении буквы устава караульной службы! Всего метрах в трехстах от героев-пограничников совершалось не что иное, как государственное преступление. Марк с Иваном вконец отчаялись за последнюю неделю — лекциям аплодировали, кормили до отвала, водили показывать границу, только без надзора ни разу не оставили. Вот и прибегли они к тому самому насилию, которое на апрельском, печальной памяти, семинаре так гневно осуждал Ярослав: запахали мохеровый шарф Ивана в рот оглушенному шоферу газика, связали бедного киргиза заранее припасенной веревкой и отволокли в кювет. Негодование пленного не поддавалось решительно никакому описанию — не сам ли он, растяпа, только что выболтал диверсантам, что машина проезжает мимо знаменитой турецкой тропы? Но ни ефрейтор Романенко, ни рядовой Скворцов обо всем этом, понятно, не дозревали. Преступники же, к большому злорадству связанного, не догадывались, что на тропе есть засада.

— Завтра и у нас лекция, — воодушевился Романенко. — Пойдешь?

— Зачем?

— Эти ученые... Молчать, Рекс, молчать!.. Будут лазеры демонстрировать. Слышь, Петька, ты вообще что-нибудь читаешь, кроме Библии своей?

— Мало, — сознался Петя.

— И про гиперболоид инженера Гарина не читал?

— Не-е.

— Ни хрена ты в жизни не петришь, рядовой. Это как один дореволюционный инженер Гарин хотел завоевать мир. Путем абсолютного сверхоружия. Железная повесть, ее всякий школьник знает. Толстой написал, но не тот, а наш, советский. Понимаешь, этот инженер якобы изобрел способ концентрировать, ну, как бы сгущать световые лучи. Ну, тогда это была фантастика, а сегодня для науки нет пределов. Берешь кристалл рубина, можно алмаза — и получаешь когерентный такой пучок световых фотонов...

Угодил Романенко в армию в некотором роде по несчастью, провалившись на экзаменах в Ленинградский университет. Парень он был думающий и незлой, появившегося во взводе Петьку тут же взял под негласное покровительство, благо сам ходил в отличниках боевой, политической и какой там еще подготовки. Сальный треп в них маленькой, на шесть человек казарме теперь регулярно пресекался; на десятикилометровом кроссе в августе месяце ефрейтор поднял с земли измученного рядового и добрых полчаса тащил на себе его автомат и скатку. Петька тоже привязался к студенту-неудачнику, даже охотно слушал его долгие истории о допризывных приключениях да пересказы научной фантастики.

— ...и если, допустим, в космосе, то лазерное оружие теперь самое перспективное, в смысле, против спутников...

— Будто и так оружия мало, — сказал осмелевший Петька.

— Не смешил бы ты мои тапочки, рядовой. Будто не знаешь, что сначала всегда военные разработки, а за ними гражданские. Чудила ты, честное слово. Вокруг такие достижения науки и техники... Молчать, Рекс!

— А что мне твоя техника? Люди-то не меняются. О душе никто не думает.

— Душа — это сказки для загробной жизни, — отрубил Романенко. — Ты мне душу, а я тебе — лазерный, скажем, нож для бескровных операций. Вот, скажем, у тебя раковая злокачественная опухоль — фьюить, вырезал и похлялял гулять по парку. Плохо?

— А Бога все равно забыли, — упорствовал Петя. — И любви между людьми совсем мало.

— Это у нас-то в стране? Где человек человеку друг, товарищ и брат?

— Про страну не знаю, — отрекся Скворцов, — я вообще говорю. Богу — Богово, а кесарю — кесарево. Власть есть власть, надо ей отдавать все, что она требует. Кроме души — она Богу принадлежит.

— Ну и что? Ты чего хочешь? Чтобы мы все обратно в церковь ходили по воскресеньям? Чтобы закон Божий в школах? Чтобы попы жирели?

— Нет, — терпеливо разъяснял Петя. — Я так считаю, Паша, что надо возлюбить ближнего, как самого себя. Но этого мало. Не только ближнего, а вообще всех, и врагов тоже. Я тебе покажу это место в Нагорной проповеди. Когда все это поймут, тогда только и наступит настоящий коммунизм.

У Марка с Иваном хватило ума на то, чтобы, во-первых, переговариваться тишайшим шепотом, а во-вторых, пуститься в свой недолгий путь не по заросшей тропе, а чуть поодаль, сквозь заросли. Удовольствие было ниже среднего: терновник, акации и какие-то колючие лианы вскоре в кровь исцарапали им лица и руки, да и передвигаться удавалось лишь с черепашной скоростью. Когда же до них донеслось очередное повизгиванье Рекса, они и вовсе замерли на месте.

— Ч-черт, — шепнул Иван, — близко-то как.

— Идем, Иван, идем, — выдыхал Марк, — метров сто всего осталось. Ножницы приготовь, нож. Еще с полчаса у нас точно есть.

То ли Рекс ухитрялся в шелесте дождя и листьев улавливать шорох шагов, то ли ветром доносило до него запах чужих, но беспокоился он все сильнее. Вдобавок был обижен: увлекшийся откровенным разговором хозяин непрестанно его одергивал.

— Давно хотел тебя серьезно спросить, Скворцов, — задрал голову, Романенко пытался в желтой листве разглядеть лицо собеседника, — почему тебя всякие божественные умствования вообще как-то колышут больше, чем нормальная жизнь? Ты не сердись, я безо всякой подначки. Невесты у тебя нет. Солдат ты, прямо скажем, неважнецкий, хоть и стараешься. Кино привозят — торчишь в казарме. Не керосинишь с ребятами, даже курить не куришь. От скуки же сдохнуть можно!

— Все нет, — возражал Петя. — У меня есть мечта. Вот демобилизуюсь, уеду в Сибирь и соберу новую общину из молодежи. Где-нибудь на БАМе.

— Так тебе и позволили.

— Я добыюсь. Я хочу стать, как Евгений Петрович.

— Носишься ты с ним, прости, как дурак с писаной торбой. Ну, читал я его письма — ничего особенного, тоска зеленая.

— Ты его не знаешь, — настаивал Петя. — Он удивительный, он себе из зарплаты оставляет пятьдесят рублей, остальные отдает бедным. И утешает, кто приходит. Он у нас самый образованный, он университет кончил и не кичится совсем. Евангелие часами толкует, все понятно становится. У него Бог в сердце есть.

— В смысле, совесть.

— Бог, — упрямылся Петя.

Тут обычно и останавливались нередкие споры между приятелями. Несостоявшийся физик уверял, что и безо всякого такого Христа, «хоть и ничего себе древняя легенда из библейской жизни», можно быть порядочным человеком, «ну, как в моральном кодексе строителя коммунизма». Молоденький же московский баптист твердил, что «от неверия только отчаяние и безысходность бывают» и «кто от Бога уходит, тот непременно впадает в злодейство, даже если ему и кажется, что он людям хочет добра». Оба были юны, оба пели отчасти с чужих слов, но убеждений своих держались крепко. Правда, сегодня у ефрейтора имелся в запасе один весьма сильный, прямо-таки сногшибательный аргумент, прибегаемый с самого начала караула.

А Марк, забрав у Ивана массивные садовые ножницы, перерезал колючую проволоку первого из трех заграждений. Роща и контрольно-следовая полоса — довольно широкая лента вспаханной земли с отпечатками их следов — остались позади, так что нарушители скорее всего уже успели задеть сигнализацию. Плохо поддавалась проволока, Марк щурился от натуги. Иван нетерпеливо наблюдал сзади, подергиваясь от возбуждения.

— Кстати, — сказал Романенко, — Богу, разумеется, Богово, но и насчет римского царя у меня к тебе, Скворцов, серьезная претензия. Ты воинскую присягу принимал?

— Конечно, — насторожился Петька.
 — Слушай, рядовой, я тебе друг или нет?
 — Друг.
 — Что у тебя позвякивает в левом кармане?
 — Ничего.
 — А все-таки?
 — Гильзы пустые, — растерялся Петька.
 — Очень интересно. А с какой целью?
 — Так.
 — А еще баптист. Зачем ты мне-то лапшу на уши вешаешь, Скворцов? Ладно, бросай свои фокусы. Я за тебя, считай, отвечаю. Кинь-ка мне одну твою гильзу.

Петька шумно вздохнул.

— Хорошо, рядовой, на первый раз прощаю. Даю тебе одну минуту ноль ноль секунд. Смотреть в твою сторону не буду... Молчать, Рекс! И скажи спасибо, что не капитан на моем месте. За такие штуки под трибунал угодишь в два счета, рядовой, ты чем думаешь — головой или задницей?

Снова вздохнув, Петька принялся, щелкая железом, колдовать над своим автоматом.

— Готово?

С дерева послышался третий вздох.

— Теперь те холостые, которые ты из магазина вынул, кидай вниз. Молодец. — Романенко поймал несколько брошенных ему патронов и со всего размаху зашвырнул их в кусты. — Не перестаю на тебя дивиться, рядовой. О душе ты можешь часами распространяться, а сам присягу нарушаешь. Как это называется?

— Я... я чтобы по учебному нарушителю случайно не вмазать... и не все заменил, а только самые первые...

— А вдруг настоящий враг? Матерый? Так и поперся бы на него безоружный? И сам бы погиб, и нарушителя упустил.

Советская граница охраняется надежно. Настоящий нарушитель — птица такая редкая, что его впору бы занести в «Красную книгу». Как встрепенулся бы, как взвился бы ефрейтор Романенко, если б узнал, что чуть ли не в сотне шагов от него целых два «настоящих врага» продолжают, перебравшись за первое ограждение, торопливо преодолевать колючую проволоку следующего! Марк сверху донизу разорвал рукав одолженной ему другом синей куртки, плащ на Иване тоже висел ключьями, но уже рукой им было подать до бешеной, вспухшей от осенних дождей пограничной реки. Однако и сигнализацию они, разумеется, задели. Заставу поднимали в ружье. Молодые солдаты бойко разбирали из пирамиды свои автоматы в полной уверенности, впрочем, что сирена тревоги ревет по милости очередного кабана или лисы.

— Я не знаю, — промямлил обескураженный рядовой, — я считаю, Бог дает человеку жизнь, и другой человек не имеет права ее отбирать.

— Гуманист сраный! — засмеялся Романенко. — Это у человека жизнь отбирать нельзя, а у бешеной собаки — как? Дай таким, как ты, волю, тут бы турки давно всех армян перерезали.

Упорное беспокойство пса передалось, наконец, его хозяину. Он поневоле насторожился — и вдруг услышал в шуме дождя нечто вроде приглушенного стопа со стороны дороги. Впоследствии, вспоминая о случившемся ЧП, Романенко не переставал удивляться, как поздно они с Петькой сообразили, что газик слишком долго не трогается в путь после остановки.

— Слезай, подежурь на моем месте. — Он вздрогнул. — Там что-то неладно.

Он ушел вместе с Рексом, а через минуту-другую до Петьки донесся его крик:

— Рядовой! Ко мне!

Эти слова вместе с заливистым собачьим лаем услышали и Марк с Иваном. Первый от ужаса выронил ножницы, за что и получил от второго гневное:

— Кретин! Успеем еще! Режь!

Между тем шофер Теймуразов, едва изо рта у него вытащили шарф, заорал, что «шпион оба туда в лес пошел!», всем подергивающимся свя-

занным телом указывая направление. Натянув поводок, Рекс с сердитым лаем кинулся по свежему следу. Увы, ефрейтор не поспевал за четвероногим другом. Тот без труда пробирался низом, а Паше приходилось продирается сквозь те же самые лианы и акации, которые так мешали Марку с Иваном. Вздуродженный пес в конце концов дернул поводок так резко, что хозяин упал, здорово расшибив колено о случившийся камень. Налетевший на него Петя ухитрился кое-как удержаться на ногах.

Как говорила потом в один голос вся застава, ефрейтор Романенко поступил самым толковым образом, не уронил солдатской смекалки. Он отпустил Рекса, мгновенно исчезнувшего в зарослях. Машина с заставы была уже на подходе, но в драгоценные оставшиеся секунды на помощь овчарке мог прийти только Петька.

— Рядовой Скворцов, приказываю! За Родину! — крикнул Романенко, пытаясь привстать. — По уставу, вплоть до применения оружия! За Рексом! Бегом! Физики эти проклятые диверсантами оказались, беги!

И он снова повалился на землю, держась за ушибленное колено.

Пете можно было и не приказывать. Губы его скривились от жалости к поверженному другу, да и охотничий азарт — штука заразительная. Не чувствуя боли от царапин и ссадин, не замечая, как хлещут его по лицу набрякшие сыростью ветки, он припустил за лающим Рексом. А тот уже выскочил из рощицы, с лету перемахнул через первое заграждение, второе — и рванулся из тумана прямо туда, где копошились две фигуры.

Завидев пса, одна из них, что стояла ближе к проволоке, почему-то не устремилась в почти готовый проход, а пропустила своего сообщника. Рекс тут же сбил замешкавшегося нарушителя с ног, предупредительно зарычал и кинулся на второго, как раз входившего в воду.

Умная собака совершила роковую ошибку. В руке у второго преступника оказался порядочных размеров охотничий нож, который он с неожиданной ловкостью и всадил, испустив злобное хаканье, в горло бедному Рексу, привычному к ласкам и законному сахару после задержания учебных нарушителей. Несчастный пес захрипел, получил еще один удар в живот и неловко повалился на бок. Диверсант же повернулся к подымавшемуся товарищу, крикнул ему «Скорее!» и кинулся в быстрый поток. Сердитая река, колотя о камни и переворачивая, понесла пловца вниз по течению, и, как он пристал к турецкому берегу, — никто не видел.

А его менее везучий напарник при падении угодил прямо в клубок колючей проволоки, не выколот себе глаз разве что по счастливой случайности и промешкал слишком долго. Из чащи летело «Стой!», над рекой и зарослями разнеслась автоматная очередь, выпущенная в воздух. Обливаясь кровью, мелко дрожа от животного отчаяния, он наконец выпростал из проволоки ногу и также кинулся к реке.

— Стой! — раздалось ему вслед. — Стой, стрелять буду!

Оставалась надежда, что пограничник все-таки не сможет его догнать, не сумеет так быстро перебраться через заграждения, пускай и перерезанные. Кроме того, стрелял Петя из рук вон плохо, и времени прицелиться не было. Зато и расстояние до преступника было всего шагов сорок, от силы шестьдесят. Он вскинул автомат и прямо с опушки дал по нарушителю длинную очередь.

Шпион тут же упал, даже перевернулся кубарем, потом как-то сжался, подергал ногами и затих — лицом к дождливому небу, совсем рядом с трупом Рекса.

Из рощи уже спешило на помощь растерянному герою человек шесть во главе с сержантом.

— Молодчина, рядовой! — Сержант, мгновенно оценив обстановку, похлопал Петю по плечу. — Вот тебе и боевое крещение! Не ожидали от тебя! Отпуск теперь получишь, десять дней. Напьешься, натрахнешься — прямо завидно! Ну, орел! Ловко ты его уложил. Осторожней, ребята. Он, может, жив еще. И вооружен, как пить дать.

Давешний охотничий азарт вдруг покинул Скворцова. Он сгорбился, сник, приотстал от солдат, с опаской державших путь к распростертому на берегу нарушителю. Тот, действительно, оказался жив и даже в сознании. Только куртка на груди так набухла кровью, что отчетливо виделось, как падают в образовавшуюся густую темно-красную лужицу капли дождя.

— Господи, помилуй, Господи, помилуй, — дрожал Петя, одолевая проволочное ограждение. По лицу его, мешаясь с кровью, потом и грязью, неудержимо текли слезы. — Господи святой, помилуй меня, грешного, — шептал он, приближаясь к товарищам, склонившимся в кружок над обезвреженным шпионом.

— Где второй? — допытывался сержант.

— Ты! — раздался голос Романенко. — Ты... Рекса моего убили, сволочи!

Сильно хромая, он проковылял к мертвому псу, присел на корточки и положил ладонь на его теплую еще голову.

— Где второй? — допытывался сержант.

Петя, наконец, нашел в себе силы посмотреть на диверсанта, вздрогнул, широко раскрыл глаза. Окровавленный шпион был как две капли воды похож на сына Евгения Петровича, и даже разбитые очки валялись неподалеку. Он протиснулся ближе к лежащему. Нет. Этого никак не могло быть. Никак. А блуждающий близорукий взгляд умирающего наконец упал на Петю.

— А... хр... баптист... — прохрипел он. — Баптист... ты... страшно... баптист... больно...

— Марк Евгеньевич! — вскрикнул Петя каким-то заячьим, пискливым голосом. — Марк Евгеньевич! Ма-а-арк Евге-е-еньевич!

Остолбеневший сержант и остальные пограничники так и не поняли, отчего рядовой Скворцов испустил этот нечеловеческий крик, далеко разнесшийся по долине и, может быть, достигший самого Господа Бога, отчего он упал на колени над трупом диверсанта, а затем вскочил с земли, схватил за ствол свой автомат и принялся колотить прикладом своих боевых товарищей, метя в головы и в челюсти. Ловкий удар ребром ладони, полученный от сержанта, мигом свалил Петю на землю, а вскоре его, спеленутого по рукам и ногам, с кляпом во рту, отвезли вместе с трупом шпиона в больницу районного городка. Там их пути разошлись: тело отправили в морг дожидаться судебно-медицинской экспертизы, а истощенно вопящему Скворцову ввели основательный укол и определили его в отдельную палату.

— Реактивный психоз, — пояснил доктор ефрейтору Романенко, — вот до чего эта религия доводит.

Поэзия после поэзии

Где-то к середине 70-х годов сложился в Москве круг художников и поэтов авангардной ориентации, объединенных необходимостью найти общий язык новейшего искусства. Тогда же возникло понятие «московский концептуализм» как пароль, на который отзывались в то время не более двадцати человек.

Концептуальная поэзия — не столько что, сколько кто. Более десяти лет тому назад познакомились друг с другом поэты Всеволод Некрасов, Дмитрий Пригов (Дмитрий Алексанч) и я. Чуть позже появился прозаик Владимир Сорокин. Следует назвать и Андрея Монастырского, который как раз в это время стал отходить от поэтических опытов и занялся искусством перформанса, которым занимается и теперь.

Сопоставление наших поэтических систем на уровне текстов может обескуражить, ибо различия обнаружатся там куда очевиднее, чем сходства. Очевидны различия — причем принципиальные — не только стилевые, но и различия темпераментов, личных опытов, жизненных установок. Различны даже поколения.

Внешне объединяющими нас были три обстоятельства. Первое: полная «несмачиваемость» ни с какими тогдашними литературными компаниями. Второе: общая для всех привычка существовать среди художников и заражаться идеями новейшего изобразительного искусства в большей степени, чем современной словесности. (Кстати, из сферы изобразительных искусств и само понятие «концептуализм».) Третье: почти мгновенное взаимное признание и взаимная заинтересованность. Внутреннюю же общность, как мне кажется, определили некие силовые точки, к которым притягивается и от которых отталкивается художественный опыт каждого из нас.

Если и можно говорить о художественной системе, общей для нас, то я попытаюсь обозначить ее в самых общих чертах, так, как я ее понимаю, без претензий на какую-то ни было объективность и, разумеется, не от имени коллектива. Поэзия «московского концептуализма» в своей практике и теории исходит из того постулата, что «все уже написано». Это, можно сказать, «поэзия после поэзии». Поэтому для нее не существует проблемы «старого» и «нового» в области стилевых или тематических исканий. Все в равной степени старое. Все в равной степени новое. Проблема новизны поэтому решается не на уровне стиля, а на уровне отношения к стилю. Художественная практика концептуализма — это не столько создание произведений, сколько выяснение отношений. Отношений между автором и текстом, текстом и читателем. Между «присутствием» и «отсутствием» автора в тексте, между «своей» и «чужой» речью, между прямым и переносным смыслами и т. д. Формализация этих отношений в рамках текста создает эффект «мерцания». Стилей, смыслов, значений. Эффект, который можно считать ключевым для понимания этих текстов.

Цитатность (или квазицитатность) концептуального письма обусловлена тем, что осознается как факт искусства любой ширины круг разнородных или однородных явлений, понятий и процессов. Но для того главным образом, чтобы заключить его в кавычки.

А закончу я эти заметки как раз цитатой. На этот раз из моего любимого Паскаля: «Пусть не корят меня за то, что я не сказал ничего нового: ново уже само расположение материала; игроки в мяч бьют по одному и тому же мячу, но не с одинаковой меткостью...»

Стоит расположить уже известные мысли в ином порядке — и получится новое сочинение, равно как огни и те же, но по-другому расположенные слова образуют новые мысли».

Вопросы литературы 1992

1. И вот я пишу...
2. Я пишу под завыванье ветра, под дребезжанье оконных рам, под шум прибора...
3. Я пишу: «Тут началось нечто невообразимое!»

4. Пишу. Пишу под шум прибоя, под приступы тошнотворной тоски, под звон стекла...
5. Я пишу: «Трудно даже представить себе, что тут началось!»
6. Я пишу под звон стекла, под насмешливые взгляды окружающих, под завыванье ветра...
7. Я пишу: «Невозможно и описать, что тут началось!»
8. Господи! Что началось?
9. Да и есть ли хоть кто-нибудь, кто сумел бы объяснить, что все это значит?
10. Если есть, то кто?
11. Если нет, то почему?
12. А почему здесь дети?
13. Где они были?
14. Что дети делали в лесу?
15. Хорошо ли поступают дети?
16. Кого встретили дети около дома?
17. Кто из детей правильно ухаживает за комнатными растениями?
18. Что дети делают неправильно?
19. Почему им всем никто не объяснит, что им тут вовсе не место?
20. Почему окно открыто?
21. Что лежит на столе?
22. Для чего нужны эти вещи?
23. Как можно назвать все вещи одним словом?
24. Что теплилось и погасло в камине?
25. Где теплился и погас слабый уголек?
26. Какой уголек теплился и погас в камине?
27. И вообще в чем тут дело?
28. Кто обратился к старому паромщику на «ты» и что из этого вышло?
29. К кому Николай обратился на «ты» и что из этого вышло?
30. Как обратился Николай к старому паромщику и что из этого вышло?
31. Откуда взялся старый паромщик?
32. Что за Николай?
33. Чья именно жизнь изменилась самым решительным образом после случайно подслушанного телефонного разговора?
34. И какого именно потрясающего зрелища стали все мы свидетелями, когда наконец-то развеялся густой черный дым?
35. И чей это ребенок не говорил до четырех лет, а потом вдруг произнес слово «Мондриан»?
36. И какие конкретно геройства осуществляет страстный любовник веселой пастушечки ради достижения ее благосклонности?
37. А что ответила Катенька Батурлина на недоумение англичанина-теннисиста по поводу ее столь внезапного замужества?
38. Что именно заставило ее резко обернуться и мертвенно побледнеть?
39. И что же там такое случилось, после чего, встретив его случайно на ступеньках Оперы, она взглянула на него так, будто бы увидела впервые?
40. И сколько лет было Алексу во время описываемых событий?
41. Чем, интересно, закончилась вся эта непристойная возня вокруг наследства?
42. А чем закончился спор о том, какая из функций языка первичнее?
43. А о том, кто из французов лучше?
44. А о том, кого там застрелили в последнем акте?
45. А о том, кто больше Родину любит?

46. И где же, наконец, проходит эта пресловутая граница, о которой только и разговоров?
47. Где она?
48. И вообще, зачем все это?
49. И каким это образом человек по фамилии, кажется, Тупикин оказался в чужой квартире?
50. Что он там делал?
51. Кто он такой?
52. Лицо. Узкое снизу, расширяющееся кверху. Большой лоб. Выражение глаз жесткое, лишенное признаков рефлексии. Кто это?
53. Выдающийся вперед подбородок. Низко опущенные поля серой шляпы. Неверная походка. Вечно виноватый взгляд. А это кто?
54. А кто говорил, что он не хочет есть?
55. А кто шел по солнечной стороне улицы, в то время как на теневой разворачивались основные события?
56. А кто говорил, что ему все равно?
57. А кто испытывал необъяснимое волнение от одного только вида босых ступней?
58. И кто это утверждал, что он ведет прямой разговор с языком на языке языка?
59. А кто первый заметил, что тут что-то не то, но промолчал?
60. А о чем все-таки шла речь во время той знаменательной встречи?
61. А это еще откуда?
62. Откуда, например, взялась хромая ворона на грязном снегу?
63. А откуда, интересно, взялись поваленный забор и заледеневшее крыльцо?
64. А засохший воробьиный помет на черенке лопаты?
65. А сморщенная сарделька на нижней ступеньке эскалатора?
66. А упасть, поскользнувшись на банановой шкурке?
67. А разбить огрызком мела очки учителю черчения и рисования?
68. А втроем пытаться запихнуть живую курицу в чемодан?
69. А ходить каждый день на уколы пешком полчаса в один конец и волнующий запах эфира?
70. А смерть пьяного хирурга в канаве?
71. А еврей-парикмахер в мытищинской бане?
72. А сама баня?
73. Откуда все это?
74. И вообще, почему все именно так, а не иначе?
75. А что это за опрятная старушка, которая, разглаживая ребром сухонькой ладошки складку на крахмальной скатерти, все что-то рассказывает, рассказывает?
76. И какие такие соседи, пожилая пара, якобы помнящие меня с самого рождения?
77. И при чем тут старомодная галантность профессора Вольфсона, когда речь, казалось бы, вовсе не о том?
78. А что еще за клетчатый пыльник, забытый кем-то на садовой скамейке?
79. А что там такое простиралось до самого горизонта? Уже ведь небось и не вспомнить...
80. А что за «ниточка укропа»? Откуда взялась «ниточка укропа»?
81. Какой еще старик? С какими слезящимися глазами? Откуда он взялся?
82. Или вот написано: «С карандашом в руках я мог бы доказать... и т. д.» Что доказать? С каким еще карандашом?

83. А что это за такие губы, якобы кривящиеся в язвительной усмешке? Чьи губы? Почему?
84. Почему он вдруг решил, что именно я знаю, куда подевалась его товальня?
85. Откуда мне знать?
86. И почему это вдруг отец с матерью едва заметно переглянулись?
87. И почему это я чувствую, как неудержимо краснею, как на глаза наворачиваются слезы жгучего стыда?
88. И разве можно забыть тот миг, когда среди звенящей тишины вдруг раздалось тихо, но отчетливо: «Маменька, это я... Это я взял папашины часы...»?
89. Как забыть все это?
90. Но кто же это все-таки был?
91. И что ему было нужно?
92. И почему он так странно ушел — не попрощался?
93. И к кому были обращены слова: «Старик, я слышал много раз, а видеть не пришлось...»?
94. И дальше: «Скажи, которому из нас прорваться удалось?»?
95. А это о чем: «Однажды на сыром ветру, когда ни сесть, ни встать, с кровавой кашею во рту пойду тебя искать...»?
96. А это: «С кусочком мела у доски предстанет пред тобой средь гомерической тоски лирической герой»?
97. А это: «Не подойду, не прислонюсь, не посажу пятна...»?
98. И дальше: «И пред тобою я явлюсь белее полотна...»?
99. И вообще, что все это значит?
100. И вот мы читаем.
101. Мы читаем под завыванье ветра, под дребезжанье оконных рам, под шум прибоя...
102. Читаем. Читаем под шум прибоя, под приступы тошнотворной тоски, под звон стекла...
103. Мы читаем под звон стекла, под насмешливые взгляды окружающих, под завыванье ветра...
104. Мы читаем:
105. Господи! Что тут началось!
106. Все повскакали со своих мест.
107. Незнакомые друг другу люди бросились обнимать и целовать друг друга.
108. Некий забавный толстяк, вытащив из-за ворота салфетку, принялся размахивать ею, как флагом.
109. Весьма почтенного вида дама влепила сочный поцелуй молодому священнику, чем немало смутила его.
110. А что говорить о детях?
111. Одним словом, всеобщему ликованию не было границ.
112. В тот миг каждым из нас овладело отчетливое чувство, что все страшное и тяжелое во всей нашей жизни ушло безвозвратно.
113. А впереди лишь бесконечная радость.
114. Радость навсегда.
115. Впрочем, все по порядку...

К у к л ы

РАССКАЗ

Под утро ладонь коснулась лица и голос шепнул: «Будем жить...», и душа отозвалась: «Будем...». Сердце ее тотчас же проснулось, забило сильно и часто, разгоняя онемевшую за ночь кровь в теле, но сознание оставалось во сне, и лицо еще чувало теплоту ладони, хотелось поцеловать ее, и голос хотелось еще раз услышать: откуда он звал и где проживает сейчас? Но голос не повторился, утих, приглушенный ударами сердца, только тревога в душе осталась, глазастая и усмешливая, подступавшая из заоконного илисто-мутного света. Стараясь ее отогнать поскорее, она приподнялась на топчане, протянула руку в закуток у стены. Дети спали. Им еще рано было вставать и жить начинать в трудах и заботах. Окутав каждого одеяльцем, она хотела уже опустить ноги на пол, но вздрогнула, позвала тихонько:

— Буцман! Ты, что ли? Буцма-а-ан!

В ответ мяукнули хрипло, но требовательно.

— Буцман! Чую...— Она опустила ноги на пол, и, нагнувшись, пошарив ладонью, наткнулась на сохлый ломоть хлеба, втиснула его на подоконник, рядышком с ломтиком кулича с засахарившейся корочкой, оглянулась, угадывая в уголке, у двери, живую душу.

— Ну? И где ты там? Не нравицца хлебушек? Не нравицца... Обвалял, а не ешь... Сухова не хочешь—знаю... А свежева и нима... Свежева мы б и сами поели... А? Не правду тебе говорю? Чуешь?

Буцман снова мяукнул: все, мол, я чую и понимаю, вскочил на топчан, улегся на улежанном, еще теплом месте хозяйки. Он знал, что сейчас она по привычке будет ругать его ни за что, ни про что. И надо помалкивать, будто бы виноват. Свернувшись в клубок, он прикрыл ухо лапой, вроде уснул, но, когда босые ноги зашлепали по полу, вскинулся, услышал добродушно-ворчливое:

— Ишь, разлегся! Боярин какой... Идем, идем... Деточки пускай спят... А ты у дверей... Ты— за старшего... Понял? Вот такытка...— И, нашарив в закутке у окна корзинку, толкнула дверь.

Влажная сырость слепого рассвета обняла ее тело. Дождя не было, сушь стояла. Старые вербы у берега, знакомо склонив волнистые косы, просветляли плешины холодной бегущей воды. Ветер ополоснул лицо, заластился у ног, раздувая платье. Дождя не было и не будет, отметила она и ощупкой, угадывая босыми пятками выбитую траву у порожка, пошла со двора.

Буцман, забыв о наказе оставаться за старшего, кинулся было следом, но, словно ударившись лбом о невидимую стену, остановился, вытянув шею, позвал хозяйку.

Она не оглянулась. Старалась не сбиться с утоптанной стежки. Сбиться никак нельзя. В двух шагах был обрыв, а там глубина, и туда не надо, деточек кормить надо. Деточки ждут...

Дыхание ее было частым, сердце стучало надсадно, и снова, как в предутреннем сне, захотелось, чтобы ожил в душе ласковый, родной голос. Губы вытягивали его шепотом из потемок сознания на слух, но ветер, распоясавшийся на вольном просторе, мешал—шелестел вербами. Мешали гудки буксиров у дальней речной излучины, и только запомнившееся повторялось: «Будем жить...» «Будем...— отзывалось разгоряченным пульсом в вис-

ках.— И хлебушек будет... Даст Бог хлебушка... Белого даст... Мягенького... А может, и мяса внакладку перепадет.»

Должно было перепасть. День, похоже, праздничный, вставал над окраиной городка: примету почуяла. Уже у крайних домов, у каждой почти калитки, висели, обветриваясь от нафталина, знакомые лоскуты. Один даже к лицу прилип, когда заворачивала за угол. Материя на ощупь не годилась для носки,— похуже ветоши показалась. На центральной улице, у казенных ступеней побогаче, свисала, не колыхалась от ветра. Но на ощупь уже не попробуешь— крутоват был цементный порог. Тянуло оттуда тошным дымом цыгарок и ваксой. Шарканье ног слышалось, бубнящие голоса. Не различишь, кто чужой, кто знакомый,— все, как овцы гуртом. А главный за пастуха, посередке. Четыре глаза, видать, у главного. Углядел сразу— сердце почуяло,— голос подал, да такой, что в плавнях не спрятаться:

— Эй! Артеменка-а! Скока раз я тебе говорил? А?

Подкованные сапоги простучали вниз по ступенькам, пахнуло в лицо чесноком. Пальцы хваткой клешней ухватили за локоть.

— А ну сгинь! Сгинь... Не порти фасад! — прошипело над ухом.

— Дяденька! Родненький!! Дядень...— успела выкрикнуть, и голос застрел в горле: железная была рука у Артеменко, приученная по наказу хватать.

— Чтоб ты сгорел! Антихрист...— И в сторону отскочила.

— Поговори, поговори у меня! — донеслось в спину. Но заглушилось цокающим, словно палочкой по звонкому льду, неживым, выраввшимся ниоткуда голосом: — Раз! Раз! Раз! Проба! Проба! Дорогие товарищи! К параду! Проба! Проба... Раз! Раз...

Она вздрогнула, вслушалась. Из ящика голос... Ящик железный... И припустилась подальше от цементных ступенек, знала уже — там хлеба не подадут. Лучше пока переждать, покуда протапают заведенным строем по скользкой брусчатке люди, покуда «ура!» прокричат под команду из ящика. Долго будет кричать, но к обеду утихнут и разбегутся к вину разливному, к базару, а кто хозяин запасливый, тот и к домашнему, своему, и к еде праздничной. С приварком мясным будет еда, с хорошим приварком. И рыбу есть будут хозяйева, жареную, и малосолку-дунайку — кто поймал, кто украл, а за пойманную считает. И мясо-убоину тоже на белую скатерть выставляют. Пахло уже в переулке убоиной, чуяла, пахло, и сердце крепко забилося, но шаг поубавила, хотя по памяти знала дорогу. Сейчас вот ложбинка будет — не споткнуться бы, не упасть. А сейчас мостик горбатый через ерик — сыростью потянуло от близкой воды. А дальше по кладке пружинной дорога вела к порожку. «Все, все! Слава Богу! — сердце стучало.— Будем жить... Будем... Ниче... Правду голос сказал... Тяткин голос... Тятка, он знает...» — И шагнула к забору. Сладко-щекочущий запах олифы почуяла, видно, калитку подкрасили к празднику — пальцы прилипли. А щеколду забыли подкрасить — железо было холодное, руками затертое. Сила народа затерла. И каждый с наказом:

«Семен Акимыч! Кустюм мне сшей!»

«А мне спиньжак!»

«Пальто мне, Семен Акимыч... Матерьял глян! Бостон-шевиот! Все властя переживет...»

А Семен Акимыч в ответ: «Будем думать...»

Чем? Головы с рождения не имел. И руки не к тому месту пришиты. Вот только лицо. Какое у него стало лицо? Был рыжий, кудлатый. Сейчас, может, и польсес от спешной работы. Не выйдет к калитке. Мастером стал. А кем был? Утюгом махал и тятку боялся. Тятка спуску ему не давал. «Сенька! — кричал.— Ты черта кусок! Чуешь паленым тянет? Испорть мне саржу — убью...» А Сенька в ответ: «Я ж стараюсь, Тимофей Лексеич...» «Старайся, старайся, — легчал голосом тятка.— На сарже научисся — до шерсти дойдешь...» Там, далеко, в согретых солнышком стенах, жил его голос. Там пахло утюжным жаром, шерстью, кропленой водой. Там стол у окна стоял и лоскутки на полу валялись. Если б их все собрать — на одеяла хватило б, на платья, жакетки детям. Сейчас таких лоскутков не достать. Может быть, и остались у Сеньки. Может быть, выйдет и даст, если попросишь...

В звякнувшем стуке щеколды замерло сердце. Лаем собачьим, незлым, прорвалась тишина. Хлопнула дверь в глубине двора, и, как из мутной воды, колыхнулся далекий голос:

— Тя-ят! Аляна пришла!

Нет, Сенька не выйдет, и не дожدهшься. Раз только и услышала его шаги в давний-предавний день, в еще непривычном мутно-илистом свете мелькнуло пятно лица за забором, и голос чужим показался: «Слухай сюда! Я тебя знать не знаю. И видеть не видел...»

— Тя-яты! Аляна-а! — снова выкрикнули во дворе.

Ответный голос был тот же, чужой, не давнего подмастерья Сеньки — мастера, Семена Акимыча.

— Что растятыкалась? — вырвалось глухо из распахнутого окна. — Вынеси ей хлеба кусок...

«Хлеба, хлеба, — ударило. — И слава Богу... Будем жить... Будем...» Вытянув шею, замерла, вслушиваясь в легкое шлепанье ног по цементной дорожке. Дыханье почуяла детское и запах волос, мокро пропахших ромашкой.

— На! Держи! — услышала.

— Спаси Христус, дочечка! Дай вам Бог меряного и немеряного...

— Даст! — Колыхнулось светлое пятнышко над калиткой. — Покою нима... Усе празднуют, а нам кустом двубортный строчи! И подкладка чтобы шелковая была... А где ее счас найдешь, шелковую?

— А кому, кому ж это шелковую? — спросила поспешно, ощупывая горбушку.

— Известно кому! Начальству...

— Начальству? Ага! — И спрятала хлеб на самое дно корзинки. — Начальству надо... Одним — шить, другим — носить... Тятка так говорил. Тятка, он голова... Он знает...

— Знает не знает! Некогда нам с тобой разговаривать! — перебил голосок, и светлое пятнышко личика колыхнулось, вот-вот исчезнет, не докричишься.

— Постой! Постой, дочечка... А что обещала?

— А-а-а! Счас... — Шаги простучали в неведомую глубину двора, и в душе отозвалось: «Счас, счас, сказала...» Засунув руку в корзинку, нажала пальцем горбушку: мягкий был хлеб, свежий. Хотела уже отщипнуть хрусткую корочку, но пятки босые снова прошлепали по цементной дорожке, замерли у калитки.

— На! Держи... — И полоснуло в лицо теплым дыханием. — Держи, во-от! Совсем новая... Руки только левой нету. Оторвалась... Не знаю, где счас искать...

— Ниче, ниче! Ручку найдем... Пришьем ручку... Спаси Христус! Спаси Христус, дочечка! — И прижала к груди невесомое тельце, ощупала волосы, губы, глаза. Мягкие были волосы, шелк чистый, а реснички колючие. — А имя? — вскинула голову. — Имя ее какое?

— Ленка!

— Ленка. Ага! Леночка... Хороший дитенок... Платье, глянть. Тонкое платье, дочечка. Холодно будет Ленке...

— Ой! Пожалела! — оборвал голосок. — А сама ходишь в чем? — Светлое пятнышко приподнялось над калиткой. — А? Глянть на себя! Чучело краше... И босая чего? Мы тебе туфли на прошлой неделе дали? Дали! Ты где туфли дела? Где?

Тень от лица качнулась, и ей показалось, что вот сейчас вытянется из-за калитки рука и отнимет подарок. Она отпрянула назад, прижала Ленкино тельце к груди, зашептала испуганно:

— Есть, есть, дочечка, туфли... Я их заховала. Зимой надену. А сичас тѣпла. Без туфлей тѣпла... И ножкам полегче. Ножки землю чуют... Дорожку кажут... — И, спрятав Ленку в корзину, прижалась к калитке плечом, зашептала, стараясь не утратить светлое пятнышко: — Спасибо, дочечка! Дай вам Бог меряного и немеряного... Хлебушка и мясца дай...

— Даст! Дождешься! — не поверил убегающий голосок.

— Даст! Даст! Будем жить! Тятка сказал... Чуешь? Нынче пришел. В кустоме из габардина... А я лежу. Барыня. А он мне: «Дочка! Ты что ж тятку сваво не встречаешь? А ну вставай! Ты хозяйка чи хто?» Будем жить, сказал. Все у нас будет. И деточкам, и тебе... Так, так и сказал. Чуешь меня?

Ответного голоса не дождалась. Шлепанье босых пяток утихло в глубине двора, хлопнула дверь на веранде. Вытянув голову, она еще вслушивалась, потом, проснув руку в корзину, нащупала легкое тельце, погладила волосы, щетинку ресничек, прошептала чуть слышно: «Ленка. Дитенок, Ленка. Может, сестричка Марицы?» И еще раз ощупала волосы и лицо. Нет, Марица

помягче телом была. И платье на ней было шелковое, а снизу кружевом белым обшито. Отец платье пошил и Марицу пошил. Лицо у Марицы круглое было. Рот нарисован. Глаза без ресниц — две пуговички костяные. Днем и ночью глядели, не закрывались, даже во сне — там, в закутке, — в теплом предутреннем сне, в другой, будто приснившейся жизни, в тонком стеклянном лучике, заслоненном резким, нестерпимо-болящим светом, прожегшим сонную тишину переулка. Свет, полоснув по стенам, замер в окне. Два слепых глаза высветили комнату, и она проснулась, услышала железный рокот машины и, еще не открывая глаз, почувала, как родные, исколотые иголкой подушечки пальцев коснулись лица. «Вставай, вставай, дочка, — услышала голос. — Одевайся, дочка... Беги, беги ради Христа!» «Куда бежать, тятя? — И заглянула в лицо: красноватые, привычно слезящиеся белки глаз глядели с тревогой, и она испугалась: — Тятя! Очки твои где?» Отец не ответил, глянул в окно. Свет слепых глаз скользнул по стене, гулко лязгнула дверца кабины, простучали по кладке шаги. «Беги! На Молёны беги. К бабушке Дарке... Тамытка будь...» «Ага, ага! Побегу, тятячка... А Марицу взять можно?» «Можно, можно... Стой! Кофту надень... — Ладонь подтолкнула ее к окну, прижала к груди. — Храни тебя Бог...» Голос был уже за спиной. Мягко ударила в пятки земля палисадника. Царапая о шиповник колени, пробралась в огород, к соседям, и побежала потемками дальше и дальше от нестерпимо слепящего света, по улочке, прижав Марицу к груди. Сердце ее стучало, сердце не испугалось. «Надо, надо бежать, — отдавалось в висках. — Тятя сказал — значит надо. Тятя, он знает, что говорит... На Молёны, сказал...» Знала дорогу к Молёнам. Может быть, там и молился когда-то люди. Только давно, очень давно, когда была жива еще мать. Лицо ее, голос выстудились из памяти. Только что и остался в дальнем ее закутке запах ладана, свежеструганных досок, худой, морщинистой ладошки бабушки Дарки. Она гладила ее волосы, шептала. «Сиротинка ты, сиротинка...» Но голос ее жалеющий заглушался крепким, отцовским: «Ниче, ниче-е-е! При живом тятке сиротами не останемся.. Так что ты, Дарка, не надо...» Ответного голоса бабушки Дарки она не упомянула, но знала, что живет она у Дуная, в хатенке своей, на Молёнах, и сейчас, вот сейчас встретит ее и укутает теплым платком... Нет, не встретила бабушка Дарка. Дверь в хатенке была настежь распахнута. Топчан перевернутый у стены увидала, черепки глиняных мисок. Сквозным ветром тянуло с Дуная в распахнутое окошко. Всю ночь просидела, забившись в угол. Под утро озябла, услышала шаги, и сердце забилося: «Тятя!» Но не отец шел к хатенке. Не носил он сапог, ваксой пропахших, и голос был не отцовский — чужой, акающий, хихикающий, и ноги чудно выбрасывал, будто не человек шел, а заводная кукла. Видала уже такую, когда ездил с отцом на ярмарку. Ключик был на спине у куклы. Умела она танцевать, размахивала руками, но лицом была краше — щеки румяные, губы, как вишневый цвет. А у этой — плоское, косоглазое, с тонкими, будто пришитыми, усиками над губами и сплюснутым носом. Сердце ударило: «Бежать!» Но куда убежишь? За спиной были плавни, прямо — обрыв и Дунай. Она замерла, прижала Марицу к груди, закрыла глаза, услышала хихикающий голосок: «Ай, какой пёрсык! Зачем спрятался? Я говорил, что здэс будэт! А?» — И захихикал снова, толкнул в бок попутчика. Его-то и не заметила поначалу. Он молчаливый был, часто дышал, и глаза его водянисто-блеклые глянули на нее, как в пустоту. «Дите, слышь? — сказал косоглазому. — Чего с нее взять?» «Вай! Что гаварыш? — взмахнул косоглазыми руками. — Какой дите? У нас таких замуж берут! Калым дают... — И захихикал, протянул руку к ней, вырвал Марицу: — Атда-ай! Зачем взрослый дэвочка кукла?» — И, размахнувшись, забросил ее в обрывную крутизну. Она обернуться хотела, чтобы запомнить место, куда упала Марица, но не успела. Хваткие руки оторвали ее от земли, прижали к груди, понесли в закуток, за хатенку. Железные пуговицы больно кололи спину. «Дядечка! — закричала она. — Пусти, дядечка...» Но ладонь, пропахшая псиной и табаком, приглушила крик, и резануло, будто осколком стекла, внизу живота. Она потеряла сознание, но очнулась, чуя затылком стонущее дыхание: «Пёрсык! Пёрсык!» — И рвущую резко, толчками боль. И вдруг резь ослабла, железные руки разжались, и сверху хихикнули: «Эй! Иди спробуй... Бэсплатна!» «Ну ты к черту! Зверь я, что ль?» — отозвались в утренних сумерках. «Зачем зверь? Какой зверь, дарагой? Э-э-э! Ты не прав...» — Голос утих. Она встала на четвереньки, почувала дым костерка у порога хатенки

и, отплеывая сухую траву, повернула к обрыву голову. Там Марица! И, приподнявшись, держась за стену, косолопа переступая ногами, шагнула к порожку. «Дядечка,— позвала гихонько.— Отдай Марицу... Отдай, дядечка...» «Какой Марица? Зачем Марица?— Косоглазый подтянул ее к костерку.— А? Отвечай! Зачем убежать хотел? От нас нельзя убежать...» Рука его крепко держала ее за локоть. Ей стало больно, она глянула на второго, но тот сидел безучастно, помешивая прутиком в костерке, поднял нехотя голову. «Ну? Че скажем?» «А что прикажу!— Косоглазый сжал губы.— Нэт, скажем, не нашли...— И подтянул ее за руку.— Не нашли мы тебя! Нэт тебя! Нэт!» «Пусти! Марицу мою отдай! Марицу... Тятке скажу!» «Ай-ай-ай! Зачем тятке? Тятка твой— врах! Кулак— тятка! Нэт тятки. Ту-ту-у тятка!» «Брешешь! Тятка мой дома... Мой тятка— мастер! Его все знают... Скажу! Скажу... Я руку твою запомню...» «Вот так гаварыш?— спросил косоглазый и притянул ее ближе.— На! Запомни...» Пахнуло в лицо дымным жаром золы. Она вскрикнула, прижала ладошки к глазам, и предутренний свет замер, еще не родившись, и таким и остался с той давней поры покалеченным, мутно-илистым, как вода в Дунае. Зато звуки и запахи стали ближе, понятней. На ощупь, кожей босых пяток, ноздрями угадывалось проходящее время— будни и праздники, солнце и стужа.

...Она уже отошла от выкрашенной калитки, прижав корзину к груди, вытянула руку, остановилась. Теплый ветер донес с площади стук барабана и, словно на ключ заведенный, топот множества монотонно-послушных ног.

«Ра-а-а-ищи-и-и!»— ударило громовое, раскатистое, и отозвалось послушно: «Ра-а-а-а!» И жестяным эхом упало на крыши, кусты сирени, вялую прель затхлой сырости ериков. Она вслушалась, ожидая, что гром повторится, ей стало чудно, она не могла понять: кто там кричит в ящичке из железа? Какую силу имеет? Сколько живых и послушных душ повторять заставляют? И все этот голос железный слушают, старый и малый, все, кто ходит может, бьют каблуками по брусчатке дороги, мимо цементных ступенек. Им дорога нужна широкая. А здесь, в переулке, не разгуляются очень.

Перейдя через мостик, свернула за угол. Земля под ногами пошла уже обогретая солнцем. Не будет дождя. Точно, не будет. И ветер утихнет. Что ему дуть понапрасну— праздник сегодня. Вяло обвисшие доскаты у штакетников касались лица. Один, еще один. А дальше забор дощаной и калитка. Не спутать и не забыть. Та же, что и была. Только щеколды нет— ручка дверная. Стучать не надо. Она подняла руку, нащупала кнопочку-пуговицу, нажала ее легонько, и неслышимый с улицы звук потянулся в ослепшем сознании в непозабытую полуденную минутку, когда месяц спустя, не свывнувшись со слепотой, воротилась с Молен в городок. Падая, спотыкаясь, добрела до этого дома, скользнула пальцами по шершавым стенам, стеклу окна, надеясь все еще, что обманул косоглазый,— тятка дома сейчас. Здесь, в родных стенах, стоит за столом, ладошкой поглаживает теплую шерсть отреза и, поглядывая поверх очков на Сеньку, учит его, бестолкового: «Не спеши, не спеши, как голый в баню. Лекалу плотней прижимай! Где запас? Запас— палец оставь! Во-о! Чин чинарем...»— И Дашке подмигивает. А она у окна сидит, петли обметывает на пиджаке. Сейчас увидит ее, обернется: «Тимофей Лексеич! А гля, хто пришел?» И отец подойдет к окну, крикнет: «Эй, дочка! Ты ж где пропадала? Заходи, заходи в хату...» Но молчала бездушно законная жизнь. Ладошка, скользнув по стеклу, провела по шершавому камню стены, уперлась в калитку, толкнула ее плечом— заперта! Кулачком ударила, позвала: «Тятя-я! Тятечка родный!» Услыхала, как простучали шаги в глубине двора, и мучнистый овал лица высветился в проеме калитки. Чужим от лица пахло, лекарствами пахло, духами. «Господи...— услышала испуганно-удивленный шепот.— Петя! Петенька! Поди-ка сюда...— Теплые пальцы потянулись к ее лицу, коснулись лба, обожженных ресниц.— Господи...— повторился голос, но уже тише, просяще.— Кто это так тебя, девочка? Тебя надо в больницу. Ты ведь ослепнешь совсем...— И снова позвала нетерпеливо, в почужевшую, не родную уже глубину двора:— Петя! Ну где ты там?» В ответ хлопнула дверь на веранде, тяжело простучали шаги, табакком пахло, едко-тошнотным, не жившим с рождения в этих стенах. Широкое, словно из теста, лицо, качнулось и замерло в проеме калитки. «Ну? Кто эта?..» «Не знаю, не знаю, Петечка...— словно оправдываясь,

быстро ответил жалеющий голосок, и снова запахло лекарствами.— Ты чья, девочка? Тебя как зовут?» Ей захотелось ответить, прижаться к ладони, но запах табака и знакомый уже акающий голос стоящего за спиной человека спугнули— холодный был голос, чужой. «Правду, правду сказал косоглазый,— забилось испуганно сердце.— Тятки маво́ уже нет. Ту-ту-у тятка... А эти живут теперь здесь. Заняли нашу хату...» Она отступила на шаг от калитки и снова услышала, как жалеющий голосок повторил: «Тебя как зовут, девочка?» «Аставь...— пахнуло табачным дымом.— Пабирушка... Не видишь?» «Но глаза! Глаза, Петя... Ослепнет девчонка...» «Не трогай, не трогай пальцами... Заразная, может...» «Да что ты, не видишь? Это ожог... Самый обыкновенный ожог... Лицо и глаза... Вот только чем? Перевязать надо...» «Тэк, тэк! — за спиной усмехнулись.— Может, ты здесь приемный покой устроишь? — И широкая сырая ладонь легонько толкнула в плечо.— Ступай, ступай, девочка... Тут не собес, понимаешь...» «Да ты подожди, подожди, Петя! Хоть хлеба давай дадим,— снова ожил жалеющий голосок и крикнул во двор: — Даша! Дашенька! Вынеси хлеба...». «Хлеба, хлеба», — отозвалось в болящем сознании. Забыла уже, какой он на вкус, этот хлеб. На Моленях трава росла, мятно-горчащая, хлипкие корни были у тростника плавневого и едкая горечь коры у старых верб у обрыва. Услышала, как простучали шаги к калитке и быстрый голос, знакомый, Дашин, — чей же еще! — выдохнул: «Осподи... На, девочка!» И, будто язык прищемила, убежала. Не захотела признать хозяйскую дочку или застеснялась, что не модисткой — прислугой стала у новых хозяев. На модистку кто ж теперь выучит? А рубахи стирать и обеды варить — учиться не надо и выгода есть. Что со стола упадет — твое. Вон раздобрела как на чужих харчах! И шаги ее уже не те, что были, резвые — тяжелые простучали шаги, никуда не спешащие, будто хозяйские...

Вот и сейчас распахнулась калитка. Сытым жаром дохнул в лицо с детства знакомый голос:

— Пришла, значитца? А я уже думаю, может, случилось чего... Как неделю тебе нима, дык вроде чего не хватает.— И, шагнув за калитку, склонилась к лицу.— Ты эта... Чуешь? Не жми долго на кнопку. Не глухая покеда... Стой! Я сичас. Тутытка стой...

— Ага, ага! Постою...— Она прислонилась к теплым доскам забора, замерла. Постоять — это можно. Во двор кто же пустит? А в хату и вовсе дорогу забудь. Хата — давно чужая. И стола отцовского у окна уже нет. На веранде стоит стол. Шерсть и сукно на нем хозяева новые не раскраивают, пиджаки и пальто на ватине людям не шьют. На них Сенька шьет. А хозяева за столом, во всем новом сидят, и в любой день, в праздник и в будни, всякой еды на этом столе много. Голосов не слышать только. Хозяин сейчас, видать, там, на цементных ступенях стоит, руками размахивает. Хозяйка может и дома быть — духами и кремами лицо мажет, чтоб больницей не пахло. Нет, не слышать и хозяйки. Те же шаги тяжело простучали к калитке, остановились.

— Замучилась я, Алян, с этим обедом,— пахнуло в лицо сытым дыханием.— Ей-бо, замучилась... Как праздник — морока... Сама на дежурстве сѣд-ни. Дело понятное — дети рождающца кажин день... А мне — наказ! И жарь им и парь... Стой, стой! Сама покладу...— Голос утих, и бумажный сверток тяжело провалился в потемки корзины.— От тákытка... Ешь на здоровье, Аляна... Ешь, разговляйся в честь праздничка...

— Ага, ага! Спаси Христус! — Она прижала к груди корзину и, вытянув шею, прислушалась к жару дыхания.

— Ешь, ешь,— повторился голос.— Пойду я... Пирог у духовку поставлю, пусть преет...— Дыхание жаркое отдалилось, но тень замерла, вдруг в просвете калитки: — Стой! Стой, Аляна... Чуешь, что скажу? Ты эта... Через недельку зайд. Платью дам... Сама подарила. На, мне гавбрит, Даша, носи... А сам видел ды подсмехнулся, душа бугалтирская. Это тебе, гавбрит, за выслугу лет... А? Хотела ему сказать: по-вашему, по-савецкаму,— выслуга. А по-нашему, православнаму,— на тебе, Боже, что нам не гоже. У грудях жмет, и рукава в пол-локтя... Тебе в самый раз будет, ты похудей меня... Бязевая, теплая плата. А то ж, глян, обносилась ты, осподи... Стой, стой... Смерок на глаз сыму. Та-ак! Сантим десять снизу отрежу ды подошью...

— Спаси Христус! Спаси...

— Потомытка скажешь спасихристус. Потомытка...

Просвет в калитке сузился, но еще дышало теплым светом лицо, пахло еще позабытым, домашним. Удержаться этот запах хотелось. Но как, как? Она подошла к просвету, сердце забилось, нырнула ладошкой в корзину, пальцы коснулись детского тельца, личика, мягких волос. Вытащила куклу, крикнула:

— Глянь, Дашечка! Глянь, что у mine!

— Ой ты, осподи... Дите ты, дите... — отозвались из просвета калитки. — Скока жа их у тебе?

— Пять! Десять! Много, много! А эту Ленкой зовут...

— Ух ты, ух ты! И кто жа тебе ее подарил? Не Сенькина дочка? Мастера-а! Тоже по моде савецкой живут... На тебе, Боже... Руки ж, глянь, одной нима!

— Ручку найдем! Ручку найдем! — И, подняв над головой легкое тельце, закружилась, притопывая. — Ленка бравинькая! Ленка дочечка! У mine будет жить! И водичечку пить...

— Ох-хо-хо! — донеслось из-за калитки. — Дите ты, дите, осподи, Боже ты мой. Дите было, дите осталось... Сховай, сховай ее, а то отымут...

— Не отымут! Не отымут! — И, притопывая ногой, закружилась снова, но, услышав, как калитка стукнула, на этот раз на прочный запор, приутихла, поцеловала Ленку в колючие реснички, спрятала обратно в корзину, ощущала заодно шершавую тяжесть бумажного свертка. Что там может быть за гостинец? Проткнула пальцем податливую бумагу, понюхала. Жареным сладко запахло, и не пирогом «савецким» с картошкой, пусть хозяева сами с картошкой едят, — печеньем запахло! Деточкам будет печенье. Леночке будет. А это, что это? Яблочки. Одно. Еще одно. Кожица сморщенная. С прошлого года яблочки. А это — твердое! Крашенки это. Одно, еще одно... Господи! Спаси Христус, Дашечка... Спаси, сохрани...

Сердце ее веселее забилось; ветви сирени у хозяйских оград сладким запахи, нагретая пыль под ногами мягким ковром застелилась. Зашагала, притопывая по переулку, сгибаясь привычно под ветвями мирабели. Одну отщипнула — кислая, с горькой косточкой. Расти покуда. Всем хватит — и нам, и хозяевам. Кто там живет-поживает за этим забором? Поди угадай! И запаха не слышать. А жил, жил запах! Деревом струганым пахло, и стучал молоко, и бочки рядком под навесом стояли. Новые, звонкие! И хозяин, дядя Павло, во двор выходил, в фартуке, вытертом до тусклого глянца, отряхивал опилки со шляпы и улыбался: «Эй, заходи в гости, Аляна! Как там тятя твой поживает?» — И улыбался, манил рукой. Не улыбнется и не поманит уже. Нет мастера, дяди Павла.

Ту-ту-у дядя Павло...

А здесь? Здесь помягче земля. И тоже пахло, не деревом — кожей и гуталиновым варом из распахнутого настезь окошка. В окошке дядя Адамка сидел, голова разлохмачена, щепотка гвоздочков во рту. Стук молотком! Стук — еще! А в другом окошке, за чистым стеклом чипицы¹ на каблуках, новые, солнышком тусклым до блеска натерты. «Подрастай, подрастай, Аляна! — кричал из окошка Адамка. — Я тебе такие чипицы сделаю, что просто — шик! Парижский фасон...» Не сделает. Нет ни окошка, нет и витрины. Нет мастера дяди Адамки.

Ту-ту-у дядя Адамка...

Бурьян рос на месте хатенки. Отхожей прелью, старьем, известкой тянуло из выгребной ямы. Нечего здесь останавливаться. Она прошла еще с десятков шагов, подняла голову — живой дух почуяла. Руку вытянула — забор. Ни щелочки, ни просвета. Но пахло из-за забора знакомым — голубцами горячими. Сладко пахло, видно, на масле коровьем жарили голубцы. И масла не пожалели, а сверху — сметаной. На столе праздничном, видно, стоят, в большой глиняной миске, с чуток отбитым краешком, как в доме отцовском была там, в ясном, замершем солнце закатном, там и себя видела, в байковом платьице. Сидела с Марицей. А рядом Сенька сидел, подмастерье, и Дашка сидела, и графинчик красным отсвечивал в солнце закатном, а у графинчика с голубцами миска — одна на всех. «На всю артэлю!» — так говорил тятка. Он сам голубцы сготовил: «Вот вам... Ешьте! Праздник сиводни. Тока креститесь все.

¹ чипицы — туфли (местн.)

Бога благодарите, что пищу дал по трудам. Бох видит, а мастер знает, праздник не забывает... Ешьте, Сеня, Даша. Вспомните, кто вас у люди вывел... И ты давай, Аляна, ешь. Вырастай...» — Рука отца потянулась к миске, подцепила вилкой самый большой голубец. Пахло от голубца душистым перцем. Как пахло!..

Она прижалась к забору, принялась, но запаха перца не почувала. Может, забыли хозяева поперчить? А может, и не едят с перцем? По советской моде живут? Как узнаешь? Нащупав ладошкой щеколду, подергала — яростным лаем отозвалось из глубины двора.

— Тарзан! Место! — приглушил лай голос хозяина.

Сердце ее, разгоряченное быстрым шагом, замерло — не было в этом дворе собаки. А может, ошиблась? Может, купили? Сейчас на собак тоже мода пошла — добро хозяйское охранять, прохожих пугать.

— Место! Место! — громчел, приближаясь к калитке, голос. И сердце почувало: хлеба не вынесут. Ни кусочка не вынесут. Надо уйти, скорее уйти... Но опоздала с догадкой. Звякнув щеколдой, уже распахивалась настезь калитка, уже гремел, заглушая собачий лай, голос хозяйский:

— Ага-а! Какие к нам го-о-сти!

— Гости, гости, дядечка! — отозвалась чуть слышно. И руку вытянула, ладошку ковшиком: — Подайте Христа ради... Подайте, родимые...

— Подайте или поддайте? — переспросил хозяин. И тень от его широкой груди склонилась над нею: винцом пахнуло, дымком папиросным. — А-а? Что молчишь, образина? Скока у тебя в перине заховано?

«Не даст! Уйти, уйти!» — ударило запоздало в сердце, но рука все тянулась к близкой белеющей тени, и голосок повторял заученно:

— Подайте! Хлебушка... Деточкам...

— Деточкам? Ух ты-ы! Эт-та откуда ж у тебя деточки? Ты ж вроде замуж не выходила, — усмеялся хозяин и вцепился цепкими пальцами в кофтенку. — А? А? Что ты мне вешаешь? Скока, спрашиваю, в перине твоей заховано? Тыщ двадцать есть? А? А? — Пальцы чуток ослабли, и она отступила на шаг, но не угадала второй руки, крепко прижавшей ее к забору.

— Пусти! — прошептала. — Христа ради... Я хлебушка...

— А колбаски не хочешь? Колба-аски... — Пальцы оторвали ее ладошку от теплой доски и, прижав к животу, потянули вниз. — На-а! Пощупай... Пощупай колбаску...

— Пусти! Христом Богом...

— Щупай, щупай! — подхихикивал голос. — А? А? Нравицца колбаска? Сухая... Капченая...

— Антихрист! Пусти-и-и! — выкрикнула что было мочи. Сыто-отрыж-ным, заскучавшим будто, отозвалось:

— Кто тебя держит? Пугала старая... — Рука крепко толкнула в плечо.

С лязгающим стуком калитка захлопнулась, и все чудилось, что тяжесть ее придавила сверху. Падая, постаралась прижать покрепче к груди корзину, но сорвалась рука, и сладко пахнущее сдобой печенье, крашенки, яблоки, горбушка хлеба рассыпались по земле. Начала поднимать, обдувая губами пыль, ползала на четвереньках, отыскала и Ленку, отряхнула платице, прижала к груди, чувствуя, как отдается в ее легком тельце гулкой и частый стук сердца, зашептала, грея безответные губы своим дыханием:

— Дитеночек... Родненький... Ударилась... У-у-у! Ударилась... А ручку? Болит ручка? Дядя гадкий, плохой дядя... Не дал хлебушка Леночке... Ниче-е-е! Мы сейчас к другим людям пойдем... Мы сладенького поедим... Там, там сладенькое...

Стараясь не споткнуться, выбралась из переулка и по детской давней памяти потянулась по мягкой земле к брусчатке дороги. Свернув вправо, остановилась, прижалась к теплой дощатой стене. Свежей масляной краской пахла стена. Ладошка скользнула по нагретым на солнце доскам. Принялась, знала, что не ошиблась. Жил, всегда жил здесь запах «сладенького», там, в застывшем стеклянным лучиком дне, когда отец привел ее сюда, заглянул в окошко, окликнул: «Яков Семеныч! Взвесь-ка нам порцию на рубель савецкий!» «Таки на рубель две порции выйдет...» — отозвался невидимый Яков Семеныч. «Взвесь, взвесь на рубель... А сдачу себе оставь. На почин! — И, наклонившись, протянул ей прохладный бумажный стаканчик. — Ешь, дочка... Палочкой, палочкой». Сладко пахнущая ванилью и снегом ро-

звая горка дымилась в стаканчике, пощипывала язык, студила ладонку. Как вкусно было! Как хотелось быстрее добраться палочкой до самого донышка! Еще оставалось много в стаканчике. Еще тянулась туда рука... Но обломился нечаянно давний стеклянный лучик, и резко запахло масляной краской от заколоченного окошка, душный воздух заколыхался и раскати-стое: «Ра-а-а!» вырвалось из-за домов. Не отшагали еще добрые люди по праздничной улице. Еще была у людей охота кричать за то, что дышат бес- платно. Шум голосов, топот испугали ее поначалу. Она прижалась к дощатой стене, прислушалась. Людской гомон вывернул на простор площади, засту- чали шаги монотонно и часто, будто заведенные на пружинный завод, запахло резко одеколоном, потом нагретых тел и нафталином. Может, костюмы люди из сундуков достали, может, те самые, что отец шил. Как узнаешь? На ощупь кто даст попробовать? Шагнуть ближе — боязно. Она замерла, вслуша- лась. Легкий ветер пружинил полотнища над головами идущих, детские го- лоса перезванивали колокольчиками. И вдруг резко и совсем рядом выкрик- нул властный голос:

— Дистанцию! Дети! Соблюдайте дистанцию...

Она вздрогнула, и почудилось, что десятки пар глаз разом глянули на нее. Прижалась к теплым, масляно пахнущим краской доскам, но поздно было.

— Глянь! Аляна! — выкрикнул кто-то.

— Аляна пришла...

— Пойдем с нами, Аляна! — И следом дурашливый голосок затянул при- певку, знакомую, незлобивую:

Аляна с утра пъя-яна-а!
Аляна с утра пъя-яна-а!

Но взрослый, нарочито-командный голос оборвал резко:

— А ну прекратить! Вы где находитесь? Пышненко, не отставай! Раз, два! Раз, два!

Топот ударил дружнее. Ясно-белая масса стронулась, удаляясь, и в про- свет между последними рядами снова выскользнул тонкий стеклянный лучик, и она почувала родное тепло отцовской ладони, обхватившей ее ручонку, и запах его дыхания, и колкую шерсть праздничного пиджака. Отец потянул ее дальше, от сыро пахнущего ванильной прохладой окошка, остановился и, вы- тянув шею, усмехнулся себе самому: «Ты ж глянь. В кителях... Все как один». «Так и пускай себе, Тимофей Алексеич! — ответили сбоку. — Легче кроить бу- дет». Она оглянулась. Дядя Адамка стоял рядышком, в новых скрипучих чи- пицах стоял, шурился, приложив ладонку ко лбу. «Это та-ак! — отозвался отец. — Фасон понятный. Раскроим...» И, наклонившись, вытер ей губы плат- ком. «Что? Поела уже? Бросай стаканчик, бросай. Накося, погляди...» Креп- кие, сильные руки оторвали ее от брусчатки, умостили на плечо. Сердечко ее забило от непривычной высоты, теплым ветром обдало лицо. Она увидела головы, простоволосые, в кепках и шляпах, словно пришитые друг к другу суровой ниткой, и красный ящик увидела, и людей, стоящих на этом ящике, чинных и неподвижных, затянутых в кители. Верно отец подметил: все одно- го фасона — раскраивай и строчи. Плечо отца вдруг качнулось, и она увиде- ла, как рука в кителе за красным ящиком резко вскинулась вверх, и гром- кий, басистый голос выкрикнул: «Дорогие товарищи! Вековечная мечта бес- сарабского народа сбылась! Отныне вы все вместе с советской Родиной будете строить светлое будущее! Ура, товарищи-и!» Рука упала обрубленно, и нест- ройный хор голосов, не приученных к механическому повторению, отозвался придушенным: «Ра-а-а!» И утих, заглушился тягостной тишиной. «Что ж так слабо, товарищи? — выкрикнул прежний басистый голос из-за красного ящи- ка. — Разве так встречают освободителей? Больше энтузиазма, товарищи! Больше радостного горения во имя славы великой матери-Родины! Ра-а-а!» «Ра-а-а!» — отозвалось уже погромче, и головы в кепках и шляпах зашевели- лись. Она вытянула шею, ей захотелось как следует разглядеть лицо челове- ка за красным ящиком, но отец, видно, устал держать ее на плече, опустил бережно на камень брусчатки, прошептал себе самому: «Ты ж глянь на их... Освободители... Када б самих немец в одно место не клюнул — освободили б. Держи карман...» «Таки точно, Тимофей Алексеич, — отозвался дядя Адамка. — Сами за ящиком, а мы с тобой тут...» «Тебя ж хто за ящик поставит, Адам Мойсеич? — улыбнулся отец. — Ты себе знай шей на их сапоги». «И где ж сто-

ка кожи найти? Кожа сейчас в цене», — засомневался дядя Адамка. «Ниче-е! Кожа найдется! Разутимы они не останутца!»

Голос отца утих, тонкий стеклянный лучик давнего солнца заслонился ожившим гомоном голосов, хлопанием транспарантов, топотом ног, уже не детских, а тяжелых, но таких же наученно-послушных, словно ключиком заведенных на бесконечный завод. И уже не слышать было тех давних басистых слов, не видеть красного ящика, кителей и сапог. Там, там, в памятном закутке, они и остались. А в чем эти были одеты-обуты? На этих цементных ступенях? Она не знала. Не давний, басистый, вырвался над головами шагающих голос — неживой, механический:

— Ра-а ищи-и-и!

«Ра-а-а!» — отозвалось послушным эхом. И, словно взбодренное этим «Ра-а!», понеслось снова гулким железом:

«Подзамене-е-емасси-и-изма-а-а-инини-и-изма-а-а! Ере-е-ед-обе-де-оммунизма-а-а!» «Ра-а-а!»

«Ра-а-а!» — отозвались готовно близкие голоса.

«Ра-а-а!» — подхватили дурашливо звонкие, детские. И снова топот множества заведенных ног, пустой бой барабана приглушили голоса. Ее оттерли с обочины. И кто-то юркий закружился белой бабочкой у лица, закричал:

— Аляна с утра пьяна-а!
Аляна с утра пьяна-а!

Она вскинула руку, отмахнулась, стараясь угадать, откуда кричал голосок, и вдруг резко с другой стороны вскрикнули:

— Она видит! Колька-а! Один глаз види-ит!

— Аляна! Ты меня видишь? — позвал другой голосок.

— Вижу, вижу! Усе вижу, усе чую... — Она взмахнула рукой, притопнула и, склонив набок голову, стараясь не потерять размыто-белого пятнышка, позвала: — Иди, иди до меня, воробушек... Иди, чтось спытаю... Кто там зилезный кричит? Кто, кто, воробушек?

— Колян — воробышек! — захохотали.

— Как дам счас! А ты! Ты зараза! — И скомканный катышек бумаги щелкнул в ее лицо.

— Кто там зилезный кричит? Из ящика кто кричит? — повторила снова она, заслоня ладонью лицо.

Но обиженный голосок удалился и вдруг ожил рядом на расстоянии дыхания.

— Зараза! Зараза смердючая!

— Смердючая, смердючая! — повторила она, губы растягивали обожженную кожу: дыхание детское было близко, теплом от него тянуло, и захотелось погладить волосы. Она протянула руку, но белое пятнышко отскочило и закружилось, словно привязанное на нитке, и тогда она догадалась, как подманить его ближе: сунула руку в корзину, нащупав теплое тельце, вытащила его и, высоко подняв над головой, выкрикнула:

— О! О! Глянь что! Глянь! Ленка! Ленка бравинькая! Ленка дочичка-а! — И, притопнув ногой, закружилась, подбрасывая руку. — А? А? Ленка, Леночка! Мой дитеночик! Мой пригоженький...

Легкие тени заколыхались и, словно подхваченные теплым ветром, приблизились.

— Колька! — зазвенел голосок. — Глянь! Без руки!

— У нее и с руками есть! У нее что хошь есть!

Она остановилась, прислушалась, стараясь удержать этот теплый, пахнущий солнышком голосок, но он не стоял на месте, мельтешил белой бабочкой и вдруг зазвенел над ухом:

— Что у тебя в кошелке?

— Аляна! Покажи, что?

— Groши, что...

— А ты цыть, воробышек!

— Что, не веришь? Знаешь, сколько у нее грошей? Тыща! Две!

— Мильен!

— Два мильена!

— Кто, кто там зилезный кричит? Деточки! Кто? — снова спросила она и, вытянув шею, взмахнула рукой со сжатой в ладони Ленкой, стараясь отогнать

близкие светлые тени. Но снова вырвались, заглушая звонкие голоса, топот, тот же механический и бездушный голос:

— Атуе-е-ет-никая-я-я-иска-я-я-атия-я-а-а! Раищи-и-и!

«Ра-а-а!» — подхватили взрослые голоса вдаль.

«Ра-а-а!» — отозвались детские, звонко-дурашливые. Близкие тени всколыхнулись, сливаясь в сплошной, беспросветный поток. Теплая, пропахшая солнышком белая бабочка исчезла. Ей стало досадно, хотелось отыскать ее в жарком потоке людей, учуять в запахе одеколona, нафталина от пиджаков, плотной, словно сшитой крепко-накрепко суровыми нитками массе. Спрятав Ленку в корзину, она уже решила занести ногу на нехоженую брусчатку, но вдруг почуяла — нитки наживлены живо. Разом вдруг разорвались, и топот множества ног уже не казался ей заведенным невидимым ключиком, затих топот, видно, сломалась пружина, и голос железный тоже затих, как и не было. Живые, усталые голоса вырвались из поредевших рядов и понеслись вразнобой в теплом весеннем воздухе:

— Шаба-а-аш! Отпраздновались!

— Товарищи, товарищи! Транспаранты, портреты руководителей по предприятиям... Рыбзавод... Быткомбинат... Кто ответственный?

— Ефимыч — ответственный!

— Неси, Ефимыч! Отгул получишь.

— Гляньте, Аляна!

— Аляна! С праздничком!

— Ефимыч! Дай ей патрет!

— Очкастого дай! Он полегче...

— А ну, кончай насмехацца! Идем по стакану, Аляна! Идем, идем...

«Идем!» — отозвалось в сердце.

— Идем! Идем, дядечки! Идем, роденькие... — прорвалось облегченно.

Крепкие ладони дружелюбно подтолкнули ее с обочины, она сделала шаг и, словно переступив запретную черту, растерялась, но тут же обвыклась, почувяла искоженную скользь брусчатки, оброненные лепестки тюльпанов, подсолнечную шелуху, обертки мороженого, сладкую душную прель разгоряченных тел и размеренный стук каблуков, уже не подчинявшихся механическому голосу из железного ящика, а живший своей мощной, природной волей. Люди шли быстро, и те же дружелюбные голоса окликали ее со всех сторон:

— Аляна! Не отставай! Держи ногу, Аляна!

— Держу, держу... — поддакивала разогретая быстрым шагом, и, прижав корзину к груди, боясь уронить ее нечаянно и потревожить Ленку, она побежала вприпрыжку. Ей стало легко, радостно стало: зрение, слух были уже не нужны. Люди несли ее, плотно прижав с боков, по единственной в городке мощной дороге, к близкому жаркому омуту, где пахло на белеющим известкой заборчиком кисло-терпким, знакомым... На мгновение она укоротила шаги, чуть-чуть не споткнулась в том месте, где брусчатка обрывалась теплой земляной пылью. Легкий свет полуденного солнца заслонила сумеречная прохлада черепичного навеса, и еще острее запахло кисло-терпким, знакомым. Ноги охолодил мокрый цемент. И цемент пропах кисло-терпким. И крик, разорвавший давку тишину, был крепче железного голоса.

— Куда? Куда прете? Прилавок ломаете! Идолы!

— Валя! С праздничком, Валя... — отозвались заискивающие голоса.

— Два литра, Ва-а-а!

— Три литра бери!

— Что три? На один зуб три...

— Куда, куда прешь? Ты за кем занимал?

— Гады! Все ноги поотдавили...

Ее отгеснили к шершавой прохладной стене. Кто-то больно и сильно толкнул в грудь. Что-то хрустнуло в глубине корзины. «Ленка!» — успела подумать. И уже хотела выбраться из-под навеса на вольный простор, но почуяла, как пахнуло в щеку кисло-жарким дыханием.

— Эй, люди! Вы что в самом деле? Дайте стакан Аляне!

— Аляне всегда-а!

— Аляне — зако-о-он! Эй, дай стакан! Аляна! Иди сюда...

Ее подхватили под руки, вытащили на порог. И тот же жарко-кислый дурашливый голос выкрикнул:

— Пей, душа Божья! Оскоромься!

Она почуяла ребристый холодок стекла, пенная струйка потекла между

пальцами, она слизнула ее языком и, причмокивая, сжала стекло ладошками, поднесла ко рту, запрокинула голову.

— Во-о! Во засоса-а-ала! — хохотнул одобрительно жаркий дурашливый голос. — Учись, Пантелеич!

— Налей!

— Налей ей еще! — подхватили разгоряченные голоса.

— Праздник! Налее-е-ей!

Она пила. Еще и еще. Стало легко на душе. Радостно стало. Звон голосов, запах пота, шарканье ног, размытое полукружье лиц — все смешалось, запрыгало, закружилось. Прижав одной рукой корзину к груди, она вытянула другую, ища опоры, но жаркий круг расступился, и взвился над кругом прежний дурашливый голос:

— Сбацай! Аляна-а-а!

— Станцуй! Станцуй! — отозвались.

Она подняла голову и, притопывая ногами по теплой пыли, пошла семейным шагом вдоль живого круга.

— Дава-а-ай! — рвануло над головой.

— Во, во-о! В честь праздничка-а! — похохатывали вокруг.

Нескладный поначалу дощаной стук ладоней слился в единый, дружный. Раз! Еще раз! Она закружилась, и теплый стеклянный лучик выскользнул из памятного закутка на волю и зазвенел тоненьким голоском:

На базаре мамка сливы продава-а-ала!

На базаре мамка гроши добыва-а-ала!

— понеслось поверх жарких размытых лиц, заглушая дощаной стук ладоней, выше и выше, к ясному, вольному свету.

Гроши добыва-а-ала, платочек купи-и-ила!

Я платок надену-у-у, выйду погуля-я-ять!

— Гоп! Гоп! Гоп! Гоп! Выйду погуля-я-ять! — ответили дружно из круга.

— Дава-а-ай! — вырвались голоса.

— Артистка-а-а!

— Кина не надо...

Голоса сплелись, приглушились хохотом. Она продолжала кружиться. Сердце ее жарко и часто билось. Стеклянный тоненький лучик еще тянулся из дальнего закутка памяти. Приподняв ногу, хотела еще раз притопнуть, но неожиданная тень заслонила вдруг ясный, безоблачный свет, и стеганул резко холодный голос:

— Что за концерт? А ну, расходи-и-ись!

— Кто пришел?! — хохотнули из близкого круга. — Артеменка-а-а!

— Дайте стакан Артеменке!

— Моей милиции стакан! Вмажь, Артеменка! Борзей будешь...

— Поговори, поговори! — хлестанул, отбиваясь, с угрозой голос.

— Ай, испуга-а-ал!

— Расходись, сказал!

Она вздрогнула, хотела остановиться, но ноги как заведенные все еще пританцовывали, и сердце билось молодо, крепко.

— А ну-у! — Чужая рука хваткой клешней рванула ее за кофтенку.

— Пусти-и! Пусти, дядечка-а-а!

— Дуй отсюда, пока не забрал...

— Зачем обижаешь слепую? — выкрикнули из круга.

— Наел рожу!

— Во, во-о! Ремень, глянь, на пузе лопается...

— Поговори, поговори! — огрызнулся голос, но вдруг стих, словно срезаный, и новый родился — тихий, просящий, дружеский.

— Иди... Иди спать, Аляна, — зашептал на ухо. — Иди по-хорошему...

— Иду, иду, дядечка! — кивнула она. — Спать иду. Спать хорошо... Деточки спят... Бравинькие мои спят... — И, вытянув руку, выбралась из круга. Покачиваясь, зашагала в белеющий ясно просвет забора. Ноги снова почували лаковую гладь брусчатки, детский звон голосов услышала, уже знакомых, привычно-беззлыхных.

— Глянь на Алян-у!

— Укачало Алян-у!

— Аляна с утра пьяна-а-а! Аляна с утра пьяна-а-а! — И чья-то теплая ру-

чонка потянула ее за подол платья, но не сильно, играючись, потянула. Она отпрыгнула в сторону. «Пьяна, пьяна,— отозвалось звонкими бубенцами в висках.— Пьяной хорошо. Лехка пьяной... Пивцо сладенькое. Пивцо бравинькое... Смейтсь, деточки, смейтсь, дядечки. Люди добрые, люди милые... Вы все видите, вы все слышите... А я пьяная, а иду, иду к деточкам, в хатку, к деточкам... В хатке тепленька. В хатке тятка сидит. В моей хатке сидит... Косоглазый сбрежал. Не ту-гу-у тятка. Нет, не ту-гу-у! В хатке тятка. Пиджаки людям шьет. Сенька с Дашкой петли обметывают. А я лоскутки собираю. На платье деточкам. Платья родненьким. И Леночка платье пошьем... Где? Где ты, Леночка? — Рука потянулась в корзину, сердце испуганно замерло, но успокоилось тотчас — на месте Ленка лежала.— Спи, спи, мой дитенок... И я сейчас спать ляжу. Тятка меня одеялом накроет. Спи, дочечка, скажет... Спи, вырастай...»

Она зашагала быстрее, ноги ее заплетались, но она не сбилась с привычной дороги, угадывала ее по запаху обжитого жилья, легким теням, скользачим между кустами сирени. Хозяйские плетни колыхались навстречу, покачивались, словно приподнятые над землей. Звенели щеколды калиток, играла железная музыка во дворах. Городок отрывивал праздничные харчи. У крайних домов, почуяв скорый конец пути, упруго ополоснувший лицо ветер с Дуная, она остановилась, вытянув руку, запричитала:

- Подайте Христа ради! Подайте, люди добрые...
- Поддалась уже,— услышала неспешный голос.
- Ему отозвался другой:
- Оскоромилась, точно. Хорош с тебя...
- Христа ради! Просю... Деточкам просю...
- Вынеси ей хлеба!
- Да гля-я-янь! Корзина с верхом.
- Ниче, ниче-е-е! Праздник седни. На, душа Божья!

Теплая, пропахшая новой материей рука втиснула шуршащий бумагой сверток в корзину — рыбой пропах сверток, маслом подсолнечным.

— Спаси Христус, дядечки! Спаси Христус, тетечки...— И, накрыв рукавом верх корзины, замерла, прислушиваясь к голосам, ждала, может, внакладку пивца поднесут. «На-ка, Аляна! — окликнут.— В честь праздничка, на...» Не окликнули. Сами, видать, все пивцо выпили. Нам с деточками не оставили. И ничего. На здоровье. Зато у нас хлебушек есть. Деточкам есть. И рыбка есть жареная. Буцману — рыбка. Буцман — старший! Он хозяйку ждет, деточек стережет. Жди, жди, родимый. Мы идем. Мы с тяткой идем. Рука у тятки теплая. Он тоже праздник справлял и пивца выпил. Угостили пивцом. А как же не угостить? Тятку все знают! Тятка — мастер! Он штаны людям шьет! Пиджаки и жакетки. Правду я говорю, тятя? Она вытянула шею, прислушалась, но отец молчал, шел рядышком строгий и чинный. В праздничной шляпе, в пиджаке с галстуком. И пахло от него сладким пивцом, одеколоном и чуток приשמаленной шерстью. На самой окраине городка он остановился, погладил ее голову шершавыми, исколотыми иголкой пальцами, поднял на руки, прижал к колючей щеке: «Что зажурилась, дочка? Не журысь! Ниче-е-е! Будем жить... Будем, дочечка...— И вдруг утих, зашептал еле слышно на ухо: — Чуешь? Чуешь, что я скажу... Я фасон ихний понял... Пошьем! Румынам шили — не обижались! И Советам пошьем... Китель что? Пустяк, думаешь? Два накладных кармана и воротник стойкой? Эге-е! Не пустяк, дочка. Не-ет! Фокус есть. Я фокус заметил. Под мышками Советам надо двойным швом строчить. Нагрузка под мышками... Видала, как тот за ящиком руками махал? Во-о! Нагрузка большая... Сороковкой строчить надо. Ниче-е-е! Застрочим... Двойным швом застрочим... Чуешь, что говорю?» «Чую, чую, тятечка!» Она подняла голову, огляделась. Ветряной свежестью ополаскивало лицо, пахло сиренью и сыростью дунайской воды, ясная глыбь неба просвечивала между вербами. Но весь этот виданный-перевиданный свет ложился под ноги в обратную, уже позабытую сторону. «Тятечка! — позвала она во весь голос.— Тятечка-а! Мы не туда идем... Нам на Молены надо. Я там живу. С деточками там живу... А наша хата занята. Врачиха живет в нашей хате... Чуешь, тятечка?» — И замерла, дожидаясь ответа, стараясь не утратить родное дыхание, запах паленой шерсти, тепло исколотых иголкой пальцев отцовской ладони. Рука ее потянулась к нему, она сделала шаг, но оступилась в темный, пустой колодец, на самое дно, в беспамятную тишину...

...Душа не упомнила времени забытья, но тело озябло от сырости, значит, был уже вечер. Она услышала, как простучали шаги, и голос, уже не отповский, чужой, ехидно-усмешливый, выкрикнул:

— Во нажралась! Слышь? Петяня-я! Нажралась, грю...

— А место здесь — я молчу, — отозвались из сумеречной прохлады.

— Ага! Класс — природа! — Кто-то присел на корточки, провел ладонью по ее животу, шлепнул легонечко по щеке. — Вставай, вставай, хозяйка... Гости пришли...

— А ты ее похмели, Толян! — снова отозвались из сумерек.

— Эт-та успецца!

Она вздрогнула: голос ей показался знакомым. Ей захотелось вспомнить, где и когда она его слышала. Упершись ладонями в землю, она приподнялась, вглядываясь в замутненный, илистый свет, — простудой тянуло из сумрака, пахло дымком, огонек у обрыва раскачивал нестойкую тень. Она провела по земле ладонью.

— Ленка! — позвала шепотом. — Игде моя Ленка? — И, подхватившись, захлопала ладонями по земле. Пальцы кольнули острые камешки и отжившие веточки ивы. — Ленка... Леночка... — шептала она сбивчивым шепотом. Нащупала, слава Богу, корзину, отыскала на донышке охолодавшее тельце, хотела уже его вытащить, призвать к груди, людям похвастаться, но невидимая рука уже тянула корзину к себе, и прежний, усмешливый голос дышал в лицо кислым дыханием:

— А ну-ка, ну-ка... Что там у тебя? Поделись с рабочим классом...

— Отдай! Отдай Ленку! — закричала она и, вытянув руки, хотела вцепиться в усмешливое лицо. — Отдай! Дядечка-а-а!

— Ну чего? Чего орешь? — приглушил ее крик ухмылистый голос и снова другому, невидимому, у дымного костерка, выкрикнул:

— Петяня-я! Закусь есть. В натуре. Работать не надо... Хлеб, мясо, рыба жареная... Жи-и-ись...

— Палец занозил, зараза! — нехотя отозвался глухой голос. — Хоть бы планку струганули.

— А ты кого нес?

— Выполним-перевыполним...

— А я лысого... Лысый в порядке! Лаком покрытый... — Усмешливый голос утих, но она еще слышала, как шуршит бумага в корзине, дыхание слышала и, снова вытянув руку к невидимому лицу, зашептала:

— Ленка... Дядечка! Ленку отдай... Ради Христа...

— Эту, что ли? — усмехнулся голос. — Эй, Петяня-я! Вспомни детство золотое!

— И все? — отозвались из сумерек.

— Вроде все... — Тень от невидимого лица качнулась, склонилась над нею. — Алян! А гроши? Гроши где? Займи до полочки...

— Ленку! Отдай Ленку, дядечка-а!

— Не может быть! — выкрикнули от костра. — Под периной пощупай!

— И то верно! В натуре... — подхихикнул послушный голос. Шаги ударили в сторону. Она успела вскочить, вцепиться за ногу.

— Ленка-а! Деточки-и-и! — закричала снова, но, словно ударившись головой о железную стену, споткнулась и не слышала больше ни дыхания человека, что звался Толяном, ни резко хлопнувшей двери в хатенке от его крепкой руки. Не слышала, как он шагнул за порог, поперхнулся от кошачьего духа, спертой гнили, затхлости и, вытянув в темноте руку, сделал один шаг, похлопал себя по карманам, вытащил спичечный коробок и все никак не мог зажечь спичку: сера шипела и тухла. Наконец немощный огонек с натугой высветил горку тряпья на продавленном топчане у стены, окошко, заплесневелые кусочки хлеба, ломтики кулича, тускло-матовые крашенки, выложенные аккуратным рядом на дощечке у подоконника. Спичка погасла, и в то же мгновение на замену ей вспыхнули в тусклом свете дверного проема два фосфорных огонька и упругая тень с шипящим мяуканьем бросилась к дверному проему. Человек пригнул голову, ознобный холодок обжег сердце. Он выругался и, злясь на себя самого, шагнул к топчану, начал сбрасывать слежавшееся тряпье. Сердце его продолжало испуганно биться, и все казалось, что он не один в этих стенах. Он зажег еще одну спичку и замер.

В нестойком свете немощного огонька тесным рядом к стены сидело чужое семейство. Матерчатые, гипсовые, целлулоидные головы с отбитыми,

сплюснутыми носами, любовно закутанные лоскутками, ветошью, и перед каждой на черепке, осколке блюда, лежали кусочки заплесневевшего хлеба, сморщенные и подгнившие ломтики яблок, очищенные крашенки. Глаза, множество глаз, выцветших, с облупившейся на зрачках краской, глядели на человека, как на пустое место. Он попятился к двери, остановился. Ему стало досадно и стыдно терпеть эти глаза на своем лице, и, стараясь приглушить этот стыд, наступая на себя самого, уже позабытого, детского, он поднял ногу, смахнул первый ряд детских голов, потом второй, третий. И с радостной, саднящей яростью начал втаптывать их в земляной пол. Хрусткий скрип гипса, скрежет стекла, черепков успокоили его. Он попятился к двери, выскочил на порог, вглядываясь в освещенную кромку обрыва и слабый огонек у костра.

— Ну что? — спросили оттуда. — Есть что-нибудь, Толян?

— Ничего...

— Что ничего? Плохо искал...

— Да идите вы на хрен все!

— Ты че, оборзел? Толян? Да у нее знаешь скока?! Нам с тобой не иметь за все пятилетки... — Нестойкая тень качнулась над костерком, и кто-то грузный, пропахший дымом, рассекая тяжелой тенью поляну, присел у порога. — Аляна! Ты где гроши ховаешь? Вставай, вставай! Ух ты красотка моя-я! Душа Божья-я... — Голос утих, поперхнувшись, и тень распрямилась. — Толян! Ты что с ней сделал? Что сделал?

Она очнулась, услышала этот голос, услышала, как простучали шаги от порога и бестелесные тени склонились над нею, чьи-то холодные пальцы коснулись лица, открытого рта и, словно обжегшись, отпрянули, и едкий, запылавшийся голосок прошептал:

— Я ж не сильно... Не хотел я... Толкнул... Хрест даю...

— Глохни! Не сильно...

— Хрест! Хрест, Петяня! Не хотел, не хотел... Рвем отсюда... А? Рвем, Петяня...

— На меня захотел повесить? Хите-ер...

— Петяня, Петяня! Хрест даю...

— Глохни, сказал!

Тени снова склонились над нею. Она еще слышала голоса, запыхавшееся дыхание, но уже не различала их по отдельности. Они слились в один — непонятный, механический голос, одно лицо, неподвижное, с нарисованными на тряпичных щеках ресницами и глазами, плотным ворсистым телом. Оно размахивало руками, механически-однообразно, будто заведенное на невидимый ключик, оно склонялось над нею, покачивалось и вдруг, охнув, с присвистом, схватило ее за руки и потащило по влажной траве, колким веточкам ивы. Ей еще было больно, хотелось вырваться, крикнуть, но сил уже не было, только сердце все еще билось, и она услышала, как лопнула с хрустким звоном пружина.

— Асса-а-ай! — пронесся над головой механический голос.

Она почувствовала пустоту и следом тяжелый удар, пронесшийся гулким эхом у самой воды. Удар был сильный, но больно ей уже не было. Сердце перехитрило тело, вырвалось вверх, в загустевшие сумерки. И ей стало легко, радостно, только чудно немного оттого, что можно теперь снова все видеть, ясно и близко, как когда-то, давным-давно, в детстве. И старые вербы внизу, у обрыва, и убегающих к слепым огням городка людей, и чужую старую женщину, плывущую по течению, со вздувшимся на груди пузырем платьем, и белого, с черным пятном на лбу kota. Он бегал у самого края обрыва, поочередно приподнимая передние лапы, мяукал жалобно, и сердце ее слышало эту жалобу, но не понимало, кого он зовет и о ком жалеет. Ей не хотелось уже обращаться. Близкий, родной, ласковый голос окутывал ее теплым дыханием, шептал, убаюкивал:

— Будем жить... Будем жить, дочечка...

— Будем, будем, — отозвалось сердце и потянулось следом за голосом, стараясь не отставать, угадать стараясь, куда он ее ведет, в каком доме сейчас проживает...

Пока и поскольку

РА С С К А З

Всякое тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно...

Тело учителя физики, находясь в покое, пребывало между тем и в состоянии равномерного прямолинейного движения, ибо земля, как заведено, облетала солнце. Но, так как последнее еще не встало, земля двигалась втемную по кривейшей своей стезе, которую пока можно считать прямолинейной, поскольку мыслим мы с вами в категориях приблизительной школьной премудрости.

Тело Самсон Есеича, лежа на спине, пребывало в состоянии покоя, поскольку накрытый лишенным пододеяльника ватным одеялом, он пока еще спал, почти не проминая плоскую подушку в слабо различимой спозаранку белой наволочке.

При дневном освещении наволочку тоже почти не различишь, но не потому что нестираная,— она стираная и даже очень! — а потому что бязевая, и этим все сказано.

Бязь занимает в видимой части спектра особое место. Одним она кажется желтоватой, другим — сероватой, а причина тому — утолщенные кое-где нитки, включенные узлы и всякий сор типа конского волоса в обрывках, полова или разные чешуйки спорыньи, умело вработанные в ткань.

Третьим — сказанная бязь кажется и вовсе чесучой, или «чечунчой», как писал Чехов, но это уже дело Чехова, как писать, чтобы словам было тесно.

Ибо в тесноте, да не в обиде будь сказано.

Ноги спящего находились в чем-то тускло посвечивавшем и явно цинковом. Однако это не значит, что учитель был двумя ногами в чем-то неотвратимом, скажем, в оцинкованном — не дай Бог! — гробу. Нет! Оно и покороче, и — приглядитесь! — видом скорее усеченный конус. Неужто ведро? Да. Цинковое. А Самсон Есеич, дай Бог ему здоровья, спит, и пускай по ходу повествования ничто могильное, как гангрена, не ползет от его ступней к замечательной кучерявой голове, неумолимо превращаясь в оцинкованный футляр смерти.

Что же касается ведра — оно просто-напросто набито мягкой паклей, в которую зарылись сейчас теплые-теплые концы ног педагога.

Однако это не все, что из ведра можно выжать в постели.

В назначенный час, по своей еще бакинской привычке, спящий повернется (такое за ночь случается однажды и всегда поутру), а с ним перекатится и ведро, звякнув о железный прут коечной спинки.

Ясно теперь?

Образовавшийся звук спящего разбудит, и тот бодро встанет, заранее, конечно, вынув из ведра ноги, ибо иначе можно загромить в прямом и переносном смысле (если читатель не простит мне столь нарочитую игру слов, я попрошу его встать спросонья, имея на обеих ногах оцинкованное ведро).

Ночью, конечно, можно согреть ноги о другие — милые сердцу — ноги, но Самсон Есеич — холостяк, и постоянного уюта в его постели нету. «Хорошо! — скажете вы. — Не надо женщин. Но не надо и ведра. Можно устроить продолговатый (не оцинкованный!) ящик в ширину постели!» «Ящик не перекатится!» — отвечу я. «Ладно! — не отстаеете вы. — Можно тою же паклей набить бязевую наволочку и укладывать получившуюся подушку на ноги!».

«Она не брякнет!» — скажу я, и этим будет все сказано, тем более что спящий повернулся, ведро брякнуло, спящий проснулся и, вытащив ступни из пакли, встал на ноги.

Был он совсем голый, хотя в суконной ушанке, которую на загадочной бязи мы не разглядели. Но вот снял он лишнюю теперь ушанку, и в свете слабого утра мы видим крепкого невысокого мужчину, у которого все, что мы видим, мощно и увесисто.

Переведемте взгляд на его лицо. Оно немного носасто, немного губасто, немного великоваты глазные яблоки. Чистый армяшка, потому что по происхождению Самсон Есеич — тат. Это такая кавказская народность, исповедующая Моисеево Пятикнижие, и у нации ихней, если они таты без обмана, черты лица не орлиные и сухие, а мясистые и крупные; и лица от этого получают хотя гордые, но добрые, а большие белки карих глаз сидят на своих местах, включая прожилки, влажно и выпукло.

Кстати, о татах. Народность эта наводила на подозрение все паспортные столы, ибо, не допуская никаких каких-либо сокращений в личных документах, а уж в паспортах подавно, столы требовали от татских граждан не ловчить, а писать нацию полностью: татарин — и все! И много терпения нужно было, чтобы обратить взоры этих придира к висящей на стене пестрой карте многонационального государства СССР.

Самсон же Есеич был тат подлинный, и напрасно некоторые, у кого нация тоже плачет над Моисеевым Пятикнижием, считали, что он совершил святотатство, переведясь в татство (опять непереводаемая игра слов!) — это было неправдой, и все, говоря по правде, знали это. К тому же Самсон Есеич не избегал, а скорее предпочитал водиться с собратьями по вероучению, здорово, впрочем, отошедшими от общих преданий, впрочем, как и он сам.

И вот встал человек с постели и стоит, аки тат в ночи... Опять каламбуры! Все! Встал — и хватит! Покончив со словесным портретом, прекратим и словесные игры. Места и времени мало, тем более что совсем вскорости к нашему герою должна прийти новая знакомая по имени Тата.

Но где жил Самсон Есеич? Где проснулся, чтобы жить дальше и преподавать физику в школе взрослых плюс прирабатывать одним делом, про которое, конечно, расскажем?

Жил он в первом этаже барака Пушкинского студгородка, каковой в литературе описан, так что интересующиеся найдут. Что же касается физики, то это всего-навсего профессия, ибо по сути Самсон Есеич был провидцем, гигиенистом и гением.

Шутка? Красивые слова? Нет. Не шутка. Хотя слова действительно красивые. Сейчас увидите.

Если, скажем, жизнь в бараке считалась каменным веком условно (хотя это безусловно), то Самсон Есеич был существом века бронзового, причем совершенно одиноким предтечей грядущей цивилизации.

А это значит — одному, без спутников, сплавать за руном в Колхиду; обмануть Минотавра; сочинить, прослав незярчим, Илиаду; сидеть и плакать на реках Вавилонских; поставить пирамиды; уличить царицу Савскую, доведя приятелям, что у нее волосатые ноги; проделать под псевдонимом Ксенофонт гениальный анабазис; выпить цикуту; научить финикийцев вести себя на Средиземном море, как одесситы на Черном; подметить, что все, оказывается, течет; извять Нефертити, обнаружив, что мозги у нее кубиком; засекретить греческий огонь так, что впредь ни одна разведка мира не догадается, что именно у греков горело; написать фаюмские портреты; измыслить рычаги первого и второго рода; из рода в род проклясть кое-кого... Причем всё в одиночку, всё в одиночку... И только с помощью Коптевского рынка сотворить из ничего Архимедов винт...

Преувеличение? Нет. Во-первых, с помощью Коптевского рынка сотворить из ничего Архимедов винт было можно, иначе бы рынок не разогнали. Во-вторых, Самсон Есеич отколот номер почище — он соорудил и заставил работать вообще удивительно что. И это — в каменном веке! Один, как перст, если не считать, конечно, перста судьбы.

Правда, совершенно лишенный родственников Самсон Есеич в описываемое время был по-человечески не одинок. Кроме Таты, которая, как было сказано, обязательно появится, ходила за ним старуха по имени Дуся, высвобождавшая мозг Самсона Есеича для бронзовечного служения.

Это ей, старухе этой, искренне тогда горевавшей со всеми и не постигавшей дерзости прорицания, Самсон Есеич скажет: «Вот он умер, но погоди! Вскорости они станут пинать его в усы и вынесут вон из гробницы!» И старуха ничего не поймет, как не поймет, чем отличается фотобумага 40х50, матовая, нормальная, №3, от любой, в которую заворачивают селедку. Самсон же Есеич втолковывать пророчество не станет, будучи озабочен в те дни своим гигиеническим состоянием, о чем расскажем, если придется к слову.

Разговор же о формате 40х50 зашел вот почему.

Если вы, читатель, желаете иметь свой портрет, увеличенный с вашей единственной фотографии, где вы в гробу, то нам, которые этот портрет изготовим, обязательно нужна бумага 40х50, матовая, нормальная, №3, а гроб мы упраздним вам сами, отворив заодно о эти черные ваши глаза.

Вот они пробираются всюду и повсюду, неконкретные мужчины в башлыках и огромных валенках, на каковые натянуты склеенные из шин и камер неснимаемые галоши. И этим, явившимся невесть откуда чужакам, отдают самое дорогое: выцветшие, сломанные, засиженные мухами или бурые, но всегда единственные фотокарточки. Умерших, сгинувших, пропавших без вести, зарезанных на больших дорогах, самих себя прежних, самих себя в компании с не самими собой, самих себя неузнаваемых и, конечно, блудных сыновей, не говоря уже о проезжих корнетах.

Все рискуют самым дорогим во имя грядущего его — уж совсем драгоценного преобразования, а ввалившиеся в морозном пару землепроходимцы суть сборщики-поставщики портретов, увеличенных с заветных тех фотокарточек.

При всем нашем отрицательном отношении к этим заговаривателям зубоб и втирателям очков, при всем отвращении к их нахальству и наглости нельзя не сказать, что в забытых Богом хатах, в обводняемой степи и в остепняемых диких полях бывали они невольными разносчиками радости, привоза заказ, которому впредь и навсегда висеть на самом видном месте в жилище заказчика, сверля с неподвижного лица отрегушированными византийскими глазами тех, кто пока еще не портрет...

Смысл деятельности людей с морозу был набрать по липовым квитанциям побольше заказов сверх плана. Излишки они по приезде сдавали забеливателям, те — лаборантам, а те, пересняв карточку, изготавливали слабый, едва различимый отпечаток (бумага 40х50, матовая, нормальная, №3) и передавали его ретушерам, завершавшим весь преступный процесс.

Потом землепроходимцы увозили портреты и привозили рубли. План при этом был планом, а все остальное — всем остальным, ибо в стране нашей хозяйство сверхплановое.

В артельной иерархии надомных тихушников каждый получал свою долю, а обитатели медвежьих углов, волчьих троп и полуострова Ямал обретали обещанные изображения и бывали изумлены их совершенством и лестными сюрпризами.

На заказчике, стеснявшемся своей телогрейки, появлялся пинжак-букле, кривоглазость устранилась новым глазом, тетка-стрелочница с глухого разъезда, брошенная в молодости залеткой, побеждала событие, получив монтаж себя с нахалом, склонившим к ее головке свой нахальный висок, причем Бог видит не обидит, задним числом бесовестный был-таки привлечен к венцу, ибо на ней была фата, а он — при гаврилке.

А это скромные забеливатели, не сговариваясь с незнакомыми — на случай милицейских неприятностей — ретушерами, убирали с фотографий то лишнее, что было лишним, а решительные ретушеры добавляли то лишнее, какое считали велишим.

Можно было прикрепить военные свои ордена к фотографии, хотя и довоенной, но удачной, незаконно пририсовать значок «Гвардия», распусть губы в улыбке или, наоборот, сурово сжать их и глядеть немигающим взглядом фаюмского портрета; шайка-лейка навешивала серьги и кулоны, причем гарантированной девяносто третьей пробы, припиливала брошки-бегемотики, вставляла самописки в карманы свинопасов, брила небритых, напяливала на арестантскую стрижку велюровые шляпы, меняла даже диоптрию в очках — словом, делала все, что ни пожелает заказчик, а если он не соображал пожелать, то по своему художественному усмотрению.

Случалось, что по бурому снимку нельзя было угадать пол изображенного (а сборщик не поинтересовался), тогда бывали изготавливаемы два портрета разнополых, причем ретушер использовал лукавый прием — модели

придавались как бы черты какого-нибудь знаменитого человека. А пока и поскольку самыми знаменитыми были ясно кто, то кого-то из них, исключая, конечно, двух самых знаменитых. Оторопевший было заказчик сразу кивал, когда ему намекали, что тот или та, кто на портрете, очень похож или похожа на того-то и того-то или ту-то и ту-то.

Вот какой это был вдохновенный труд, и вот какие приносил он хорошие плоды! И скоро-скоро то время, когда ведущие галереи мира будут ценить Портреты С Немигающим Взглядом одинаково с фаюмскими, ибо чем наши-то хуже? Фаюмские же тоже работали проходимцы-кустари, а что бронзового века — так оно сюда не касается.

К чему я все это рассекретил? А к тому, что Самсон Есеич тайком выдавал под ретушь блеклые изображения формата 40х50, и хотя рисковал, но дополнить учительскую зарплату было необходимо, иначе провидец, гигиенист и гений, триединые в нем, ели бы не доедали, пили бы не допивали, а пить — было одним из приятнейших удовольствий его жизни.

Он любил прохладительные напитки. Таковое пристрастие да еще память о кировых кровлях (его отец был «кирщик» — человек, покрывающий кровли своеобразным гудроном, отходами нефтяной промышленности) — вот и все, что осталось в нем от жителя Баку, откуда прибыл он в столицу, дабы стать втузовцем.

Свое туземное пристрастие Самсон Есеич не изжил и в Москве. Но напиток можно занять практически всегда; скажем, берем вчерашний чай с лимоном. А вот как его прохладить? Тут нужен лед. А где взять? Как где? На Пушкинском рынке брать его!

...На Пушкинском рынке был айсберг, вернее, видимая глазу часть, утесистой громадой возвышавшаяся на стареньком асфальте и оберегаемая от летнего солнца толстым слоем опилок (некоторые утверждают, что их надо смешивать с торфом, но на Пушкинском рынке опилки были чистые — сосновые).

Видимой частью айсберга громадная гора названа потому, что невидимая работа по ее воздвижению была и вовсе грандиозна. К зиме, уже с первых заморозков, из черной положенной на землю кишки начинала бежать водопроводная вода. Она растекалась по асфальту, стылому и лунному на ощупь, каким бывает всякий асфальт в канун декабрей, — не то что в июле, когда он спекшийся, мягкий, горячий и похож на кир; но про июль после, а сейчас студеная вода растекается по студеному же асфальту и примерзает своими прозрачными молекулами к окоченевшим на низком ветру серым молекулам последнего, и асфальт покрывается стеклом забвения, ибо в стекло это вмерзли мелкие остатки летней жизни, до сих пор считавшиеся всяким сором, а теперь ставшие объектом, вмерзшим в лед. А вода из кишки все растекается, на лед наслаивается новый лед, и стекло забвения постепенно теряет прозрачность и мутнеет.

Но как же кишка? Она же, забытая на асфальте, вмерзла в первый лед! Нет, не вмерзла. Невидимая, но умелая рука особого человека, существующего на Пушкинском рынке, с помощью толстой веревки вздергивает водолейную эту кишку на специальные шести, причем оставляет ее висеть низко, чтобы лед нарастал слоями, не то — если вода пойдет хлестать без разбору — осложнится грядущее засыпание горы опилками.

Всю зиму течет вода, и всю зиму растет ледяная гора. В феврале она еще сидит тусклой громадиной, матовой от набившегося меж студеной желваков сухого снега, но уже в марте — где-нибудь к середине — засверкает вдруг под лучами солнца алмазная наша гора, однако вода пока еще льется и намерзает пока, а вот когда лучи солнца пойдут шкодничать, то есть греть ей низы так, что асфальт, с которого уже неделю как сошел снег, потемнеет по кайме от талой уже воды сантиметров этак на двадцать, тут не мешкай, перекрывай кишку, хватит ей текти! Бери кайло, заткни жене хайло и вырубай в горе ступеньки, и совершай восхождение в особых шероховатых галошах, да оденься потеплей, штаны надень, слышь, ватные, не то яйца застудишь; а взойдешь на маковку — втаскивай на маковку ведром привязанным опилки, которые у подножия наваливает баба твоя, да поживей рассыпай — сперва тонко, а потом каждый день утолщай слой-то, увеличивай! — а снизу подкидывает пусть баба твоя.

Вот как создается гигантская ледяная гора высотой с толщ древнего ледника. Но на ту природа потратила многие сотни тысяч лет, а здесь все сделано за три-четыре месяца руками рыночного человека.

И будет стоять наш лёдник, как горный ледник, подтекая слегка, как горный ледник, а фамилия его создателя и хранителя, между прочим, Федченко, а фамилия первого газировщика, который подкатит свой сатуратор к засыпанному опилками айсбергу, будет Райзберг, и Федченко разметет опилки на северном скате и первому отколет Райзбергу ломиком лед, и это место впредь уже не будет засыпано опилками, и вылом будет увеличиваться, обнаруживая после каждого нового скола сине-белые свои геологические слои; а вокруг горы как получилась в марте темная кайма, так и останется на асфальте темная кайма талой воды. На южном склоне она к июлю здорово расширится, и потекут кое-где водяные нитки под мешки торговых семечками, но эти тонкие и плоские темные полоски нельзя даже и сравнивать со страстной струей из декабрьской кишки... А первый — помните? — мокрый след елочкой, оставленный шинами двухколесной райзберговой тележки — этот так никогда и не высохнет, хоть на дворе тебе лето, хоть июль...

— На Пушкинском рынке брать его! — воскликнули мы страницу назад, имея в виду лед. Но как его принесешь? Полиэтиленовых мешочков нету — полиэтилен выдумают нескоро. Он появится, когда станут летать в Восточную Германию американские шпионские шары-зонды, из него сделанные. Можно, конечно, принести в бумаге, скажем, в пергаментной. Ну, в клеенке можно. Но лед все равно таял по дороге, и дома становилось ясно, что минуты его сочтены, что он оплавился, обвалился в кошелочной трухе, и опускать в стакан с самодельным лимонадом эти тусклые останки бывшего сверкания было противно.

А нужно знать еще и брезгливость нашего героя. Он, конечно, мог снабдить посылаемую за льдом тетю Дусю сосудом Дьюара, взятым на время из физического кабинета. Но, если даже тетя Дуся по дороге бесценный сосуд не раздавит, все равно из-за узкой горловины лед сперва придется наколоть на мелкие кусочки. А где? Тут же, на асфальте. Чем? Секачем можно, зубилом можно; но опять же каждый осколок десять раз побывает либо в руках Федченко, либо в тетидусиных, причем абсолютно неизвестно, сумеет ли тетя Дуся установить сосуд на штативе, ведь сама вещь (попросту говоря, термосная колба, хотя и особого совершенства) стоямя не стоит, а валится набок. Так что насчет Дьюарова сосуда мы только зря потратили место, а тетя Дуся по-прежнему таскала лед в протекавшей сумке или в аптечном пузырьре.

Ой, как это было негигиенично! И чистоплюй Самсон Есевич обмывал каждый кусочек в марганцовке, прежде чем погрузить ставший розовым обсосок в стакан с прохладительным напитком.

— Нужен просто холодильник! — скажешь ты, читатель.

И будешь прав, но правой той потомка, правой той потребителя, ибо вокруг пока что век каменный и не холодильник, — не холодильник! — а бронзовый век нужен! Нужен человеческий гений, и мы знаем, кто он. Видали, как вставал с постели рука об руку с гигиенистом и провидцем.

И гигиенист, покуда провидец, напровидевшись чего-то, временно от дел устранился, подбил гения на сотворение холодильного устройства. А гений (до войны еще) читал в журнале «Техника — молодежи», что за океаном наемники капитала устанавливают на виллах акул капитала сундуки для хранения котлет, в каковых сундуках, как в городе Обдорске, всегда соблюдается вечная мерзлота. Один такой котлетник приобрел за бешеные деньги Рокфеллер-старший, и сейчас, мол, его жена может наvertеть котлетной массы хоть на неделю — в дьявольском ящике это дело не протухнет... А еще гений, обучаясь во ВТУЗе, озирает, между прочим, на необязательной странице учебника принципиальную схему холодильного устройства, и удивительный разум гения все это запомнил и не забыл.

И вот — на Коптевском рынке (а его мы изображать не беремся — там, кроме нас, бывали многие, и пускай другой сломает перо, описывая это Поле, которое кто-то усеял мертвыми частями и деталями), и вот, повторяем, на Коптевском рынке покупает он у инвалида белый трофейный короб с двёркой, сквозь который виднеется, — ибо двёрка безнадежно распахнута, а задняя стенка отсутствует, — детально виднеется соседний барыга, предлагающий за бесценок станционный ржавый рельс, приколоченный к шести годным шпалам, от которых несет креозотом и пассажирами, левую переднюю ножку венского стула, рукописный подлинник «Слова о полку Игореве», переплетенный вместе с брошюрой «Учись у Стаханова работать заново», кучку типографских литер царской буквы «ять», полкило витринных баклажанов из па-

пье-маше, непоправимо кривой кий (юо с мелком!) и пудовую заклепку с Крымского моста, которой Моссовет уже хватился.

Рассмотреть остальное мешает болтающаяся в коробе змеевидная трубка, и рыночный инвалид божится, что до победы в этой херовине капиталист Крупш держал суп из круп и бабкин труп и что, мол, бери, что осталось, потому что деталей в этой херовине было навалом,— он их уже целый месяц продает,— и даже мотор двухфазный был, а когда его выламывали, из гнутой вон той трубки вроде как трипперный гной закапал (тут Самсон Есеич болезненно поморщился), и вата белая в стенках была — бабы ее сразу расхватали, и вообще до хера всего, так что бери — не прогадаешь, потому что, когда этот триппер перестанет капать (Самсон Есеич опять поморщился), трубке цены не будет — самогонку гнать, а к самому коробу уже один еврей приценивался, хочет из него дачу в Малаховке ставить и сдавать ее потом на июнь-июль-август детскому саду Коминтерна...

И Самсон Есеич купил, ибо знал, что покупает. А внимательно вслушиваясь в брехню инвалида, ухитрился, между прочим, пополнить журнальные свои и втузовские сведения о миллиардерской прихоти.

И он купил этот остов, и перемотал какой-то подходящий мотор, и выточил что-то главное, и создал уйму деталей взамен тех, которые целый месяц расторговывал поганый инвалид, и приспособил для автоматического включения ограничитель, в войну присобаченный в каждом доме под счетчиком (если, конечно, счетчик был, а если нет, то догорай, моя лучина!), и запаял в змеевике осколочные пробойны, и ввел в него под давлением (Боже мой, ну как он это сделал?) то самое, что инвалид считал гонорейными выделениями (помните, Самсон Есеич еще поморщился?), и оно называлось «фреон» (Господи, ну откуда он это знал и где, где раздобыл?), и умело пристроил большую квадратную консервную банку из-под американской сгущенки (ну да — морозильник! для льда же!), и переделал двёрку под хорошие сарайные петли (чтобы не мучиться с запасными деталями), и приклепал ушки под всякий замок (ибо стоять агрегат будет у дверей в коридоре), и только одного не смог — ваты не смог достать. Тут гений в нем опустил руки, а провидец горько и саркастически усмехнулся.

Нет, не смог он достать ваты! А теплоизоляция требовала своего. А ведро с паклей разорять не хотелось. И тогда опустивший руки гений руки свои поднял и обшил нутро холодильного устройства осиновым горбылем, а пространство меж белой стенкой и горбылем заполнил... конечно, сосновыми опилками!

Между прочим, аналогичным образом поступил бы и еврей, перестраивая белый ящик в дачу. Однако не будем искать причин одинакового решения в Моисеевом Пятикнижии. Существуя на свете вата, мысль единоверцев наверняка разошлась бы и еврей ни за что не раскошелился бы утеплять записанную на зятя дачу ватой.

И осталось каменный век включить в розетку бронзового.

Самсон Есеич проделал это хладнокровно, а весь коридор глядел на белую херовину, и сперва перегорели пробки, но в них заделали «жулик», и, пока все повернули головы к пробкам, кто-то написал участковому вот что: «Такой-то, такой-то жгет огонь на жучке. Протестуем. Весь барак».

И творение Самсона Есеича заработало и стало, что ни положишь, холодит, и внутри короба, как в сарае, привычно и мило пахло прелой осиновой корой, и в гипонувелювую камеру постоянно ставились стаканы с чуточкой воды, которая замерзала в леденец, так что оставалось налить, когда захочешь, киселю, или ситро, или вчерашнего чаю с лимоном. И то и дело торжествующе хохотал холодильник — ха-ха-ха! — потому что, когда автоматические выключались мотор — ха-ха-ха! — то из-за отсутствия двух амортизационных пружинок — ха-ха-ха! — матрацные были бы велики, а от винтовочного затвора туговаты — ха-ха-ха! — появлялось боковое биение, и холодильник подбочивался и, тряся белым пузом, хохотал — ха-ха-ха! — торжествующе хохотал, ибо то, что сделал ледниковый период за сто тысяч лет и что делал рыночный работник Федченко за зиму, он — ха-ха-ха! — мог нальдить за какой-нибудь час с минутами.

И кто-то написал участковому вот что: «Такой-то, такой-то поставили в коллидоре припадошный ларь. Протестуем. Весь барак».

Ясно теперь, почему Самсон Есеич был гением? Почему он был провидцем, мы узнали раньше. А вот почему он был гигиенистом, узнаем сейчас.

Ну, во-первых, спал он голый. Ушанка не в счет. Ну, во-вторых, был брезгливый, помните лед с рынка? Ну, в-третьих, был чистоплотный — во всем коридоре только он держал рукомоийник в комнате.

И пускай в комнате кавардак был, и верстак был, и ржавый инструмент и не ржавый, и тетрадки ученичковых, и в облезлом бауле вперемешку со всякими железками закопченные внутри себя радиолампы, и три гвоздя в стене вместо платяного шкафа, и в постели цинковое ведро, и на этажерке, кроме вторых ботинок, стояло несколько растрепанных справочников, а в углу — кадушка соли (это же не соль, а гипосульфит!), и скрученные пересохшие пленки свисали с разлохмаченных веревок, но... пленки перемежались липкими лентами от мух, ибо Самсон Есеич, единственный из нас, видел в микроскоп мушиную ногу и, потрясенный безнаказанностью веселых бактерий на черной волосне коленчатой конечности, мух возненавидел; но... возле рукомоийника лежало хорошее розового цвета мыло, стоял одеколон, имелась пробирка с марганцовкой, и щеточка для ногтей была, и еще что-то удивительное, а что — не помню...

Чистое белье, чистая еда, прохладительные напитки, здоровый сон, стерильность и обеззараженность — все б ничего, если бы не досадная одна вещь. Помните, Самсон Есеич дважды поморщился?

Нет, не гонорей. Просто не замеченное во втузовские времена воспаление — пустяковая штука! — порой отравляло дни нашего героя. По молодости он вовремя не придал значения, а теперь... А теперь стоило съесть, скажем, кильку, выпить, скажем, кагор, простыть, перемещаясь меж сугробов по присыпанному золой тропкам слободских улиц, и старый недуг слабо, тихонечко, но давал себя знать.

А вот когда он давал себя знать не слабо, так это когда линия жизни на большой ладони Самсон Есеича пересекалась с линией любви на ладошке какой-нибудь милой особы; и все сперва бывало хорошо, но проходили хрестоматийные мужские три дня, и Самсон Есеич замечал у себя признаки чего-то грозного, и ходил он, бедняга, к докторам, и доктора покачивали головами, и он нервничал, и ненавидел абсолютно невиноватую особу, хотя понимал, что это, вероятно, докучают старые дела. Но каждый бы стал нервничать, и ты бы, читатель, стал нервничать и злиться на ни в чем не повинную читательницу. И, может быть, даже порвал бы с ней, как порывал он, хотя у него было доброе увесистое сердце, и увесистый взгляд его — был добрым взглядом, на который можно положиться, а женщины, они любят, когда на взгляд мужчины можно положиться.

Но что нужно гигиенисту, наблюдающему в период обострения за своим организмом? Нужна ему хорошая умывально-туалетная комната и очки, если на нервной почве у него забарахлит зрение. Но не только в период обострения! Гигиенисту умывально-туалетная площадь нужна всегда, как, впрочем, и негигиенисту.

Коллективные отхожие места Пушкинского студгородка этим требованиям не удовлетворяли, поскольку не удовлетворяли никаким требованиям вообще. Школьные возможности использовались, конечно, максимально, но в школу Самсон Есеич являлся к вечеру, а целые дни посвящал или формату 40x50 (куда, кстати, сливать воду и отработанные растворы при условии соблюдения тайны промысла?), или мастерил, или ходил в гости к окрестным знакомым, или слушал «Крейцерову сонату» в исполнении скрипача Мирона Полякина.

Вы о таком не слышали, читатель?

А он любил этого музыканта, ибо не ограничивал себя нормами века, в котором (в каменном!) ты, читатель, пребывая, проворонил скрипача Мирона Полякина, не замечаемого в эпоху вождизма, когда в каждой отрасли полагалось быть своему вождю, а значит, и в музицировании они тоже были раз навсегда утверждены (причем, в отличие от прочих епархий, недурные!); но дело не в них, а в тех, кто в вожди не попал и посему стал играть неровно, нервничать, ждать нехорошего, не вызываться на парадные концерты, словом, становиться фактами второго сорта, поскольку первый был отсортирован раз и навсегда. Так что наканунеolim смычки для друзей, близких и Малого зала, куда придут эти друзья и близкие и, может даже случиться, заглянет сам местоблоститель первого скрипичного пульта всей державы...

Играй поэтому, Мирон Полякин, играй, как Бог, но... для знакомых. Потом выпей валерьянки, стань мизантропом, отупей или удавись, пока и по-

сколько так складывается судьба твоя. Потом умри, замечательный скрипач, но, Боже мой, где твоя могила? Был ли ты вообще? Ты ли наиграл пластинки «Крейцеровой», которые слушал Самсон Есеич?

Пионеры! К вам обращаюсь я, друзья мои! Отыщите, пожалуйста, могилу скрипача Мирона Полякина, а то я буду считать, что пластинки эти мне когда-то примерещились.

О, судьба, неласковая к скрипачу, ты вдруг обласкала нашего героя, закатив какую-то редкостную гаечку в щель деревянного пола. Другие бы — не знаю, что делали! В Коптево бы поехали! Но сторонник разумных решений Самсон Есеич немедленно пол разобрал, вернее, поднял с помощью рычага первого рода две доски, а под третьей обнаружил и гаечку, и нечто неожиданное.

Посреди подсосочного пухлого сора торчал раструб. Не узнать его было нельзя, но Самсон Есеич как-то смешался. Он постучал по нему плоскогубцами... Чугунный. Перевел дыхание и — вдруг — вылил в раструб полбидона прекрасного компота. Компота не стало, но стало ясно, что утек он куда-то вдаль. Потом утекли метоловый проявитель и бутыль отработанного фиксажа, из которого Самсон Есеич как раз намеревался извлечь чистое серебро методом электролиза. Потом в жертву чугунной дыре пошла бутылка фиолетовых чернил. Утекли. И только взявшись за емкость со страшной травильной кислотой, Самсон Есеич опомнился, тихо поставил бесовскую жидкость на место, подошел к отверстию и... (выйдемте, читательница, или отвернемтесь, а мы с тобой, читатель, если желаешь, давай к человеку присоединимся)...

Утекло и это.

И Самсон Есеич его узнал. Да он его еще до опытной проверки узнал — вывод фановой (ну, канализационной, канализационной!) трубы, расположенный точно по центру комнаты.

Вот! Планировщики барака тоже, видно, рвались в бронзовый век, и комната Самсон Есеича замышлялась, оказывается, барачным санузлом, но кто-то своевременно разоблачил троцкистских зодчих за разбазаривание жилой площади, и восторжествовала братская выгребная яма соборного использования.

Ну и подумаешь, что раструб торчал в геометрическом центре комнаты. Самсон Есеича это не смутило, ибо гигиенист встал перед гением на колени, а провидец гигиениста поддержал. А гений, тот и сам заторопился: стойка от пола к потолку — раз! Еще три стойки по углам воображаемого квадрата со стороной в сто двадцать сантиметров — два! По потолку и полу связываем брусками. Посередине скрепляем брусками же. И получается от пола до потолка каркас параллелепипеда, и — три! — каркас обит сеткой, и как бы вольер получается.

Вольер? Посреди жилплощади?

— Ты, Есеич, никак попугаев в комнате держать удумал, а може, голубчиков? — интересуется сосед, голубей державший, а с попугаями знакомый по журналу «Крокодил», где в попугайском виде изображаются тогдашний Секретарь ООН Трюгве Ли, Иосип Броз Тито и другие международные брехуны.

— Ты, Есеич, никак бетон химичишь? — интересуется любопытный. А Самсон а Есеич действительно повел мокрые работы. Намешивает бетон в корыте и ступочным бронзовым пестом трамбует его в опалубке.

— Ты чего это, Есеич, будку в горнице смастырил? Телефон-автомат тебе хрен поставят!

— Мечтаю стать фотолюбителем. Темнота нужна.

— Да к я б тебе б лучше б окно б асфальтовым лаком в три слоя закрасил. Лак у меня есь, и квач тоже есь! — предлагается сосед, забывая, идиот, что, если окно залачить, то в помещении будет хоть глаз выколи всегда, даже до и после негативного и позитивного процессов.

И вот по центру комнаты (шестнадцать квадратных метров, высота потолка — два десятка) воздвигся бетонный квадратного сечения тонкостенный столп. Вернее сказать — пилон. Он пока никакого ордера, ибо это всего лишь начатки функциональной архитектуры, но внутри этих всего лишь начатков — маленький пол, выложенный плиткой с легким понижением от стен к замечательному круглому отверстию, аккуратно накрытому самодельным ковриком из азростатной резины. А на квадратном потолочке — лампочка. Нет уж, не

восьмисвечовая, а яркая-яркая, как в операционной! И можно запереться изнутри наборным запором.

И в милицию приходит темная смыслом бумага: «Такой-то, такой-то не съят, где все. Протестуем. Весь барак».

А Самсон Есеич сколачивает вокруг пилона, словно вокруг ствола тенистого дерева в южном дворе, стол, и стол этот удобен: на одном повороте проводочки луди, на другом — тетрадки проверяй, на третьем — трудись над размером 40x50, а четвертой стороны нету, потому что там дверь в пилон.

Но сейчас, к слову сказать, совсем летняя пора, а не та холодрыга, когда Самсон Есеич спал в ушанке и зарывал ноги в паклю. Сейчас совсем лето, и появилась Тата. И в томительных потемках кустов за Каменной линия жизни на ладони Самсон Есеича пересеклась позавчера с линией любви на ладони Таты. И — чудо! — пошел третий день, а у него было все в порядке. Он впервые не занедужил, и обстоятельство это начинало грозить Тате замужеством. Да чего там грозить! — она уже и до одурманявших ее кустов целиком положила на добрый взгляд круглых глаз Самсон Есеича!

А вчера, вместо того чтобы пойти на уличное собрание окрестных жителей, на котором участковые Колышев и Воробьев призывали население сдать оружие, а все обалдело глядели, не понимая, что это значит, а Воробьев и Колышев тоже не постигали, но пришло распоряжение оповестить всех о сдаче оружия — так вот вчера вместо собрания Самсон Есеич поехал с Татой кататься на лодке по Останкинскому, который в парке, пруду и не слышал, как участковые оповещали, мол, пока и поскольку все происходит добровольно и так далее.

И в милицию пошла бумага: «Такой-то, такой-то на сдачу оружия не ходил, и ночуют непрописанные. Протестуем. Весь барак». Тут уж, наконец, в отделении зачесались, и к вечеру участковый Колышев был выделен в наряд для проверки сигнала.

А Самсон Есеич к вечеру ожидал в гости Тату и, кажется, в гости последние, потому что к себе домой в гости не ходят.

Он старательно устроил стол: рыбки всякой положил, колбасочки всякой, икры тоже (уж кто-кто, а бакинцы это умеют!), заправил винегрет майонезом, провидец, ибо майонез никто не брал, считая его протухшим сливочным маслом, для продажи набитым в мелкие баночки, которые потом и сдать нельзя; поставил на околопиленный стол хрустальный кубок с клюшоном, прибрался, на три гвоздя повесил раскиданную одежду, сложил стопкой пластинки «Крейцеровой», прежде сползавшие одна с другой в запыленной гряде, поставил две стопочки, две рюмки, поместил в гипонулевую камеру шампанское, зарядил водой под лед будущие стаканы, и для шампанского, и для клюшонона, а на случай, если отключат свет, что в те поры случалось, и льду в белом весельчаке не нальдится, расстарался достать жидкого кислорода, каковой и принес из школы в известном нам сосуде Дьюара, намереваясь, если что, подлить кислород в стаканы с шампанским. И сосуд Дьюара, умелейшей рукой установленный на штативе, засверкал на одном из колен стола, и в зеркальной его, в самоварной его поверхности отражались пыльные лампочки, зажженные по всей комнате, и было хорошо и ярко, а Самсон Есеич, то и дело — с марганцовкой, клизмочкой и большой лупой — уходивший в пилон еще разок провериться, ничего пугающего ну совсем не обнаруживал.

И Тата пришла. И она уже освоилась в комнате. И уже знала, где стоит бутылка с какой концентрированной кислотой, и была предупреждена, что в жидкий кислород чайную ложечку опускать не стоит, и свет не отключали, и они ели и пили. И Самсон Есеич, тоже освоившись, несколько раз галантно говорил: «Извините, я выйду на минуточку!», и выходил в пилон для еще одной придирчивой самопроверки, пока Мирон Полякин изощрялся в пиццакато. И кое-что уже было сказано и вот-вот будет досказано, и Самсон Есеич воскликнул: «А теперь перейдемте к десерту!», и они перешли. Взяли и перешли на противоположную сторону пилона, где был сервирован десерт. И Самсон Есеич пошел в коридор за сюрпризом — мороженым! — оно до вечера додержалось в гипонулевой жестянке, и увидел в коридоре притаившегося Колышева. «А я к тебе, Самсоня! — сказал возникший Колышев. — По сигналу пришел! Проверять тебя надо!» — и вошел с Самсон Есеичем, а тот с мороженым в комнату, а Тата, между прочим, воспользовавшись отлучкой Самсон Есеича, находилась в пилоне, и ее как бы в комнате не было.

«Ты чего не пришел на сдачу оружия?» — спросил, моргая от яркого небарачного света, Колышев. — «Не имеешь, что ли, что сдавать?». «Как не имею? Имею!» — а в коридоре — ха-ха-ха! — зашелся освобожденный минуту назад от мороженого холодильник. Ха-ха-ха! — и Колышев — прыг! — отскочил и схватился за кобуру...

Но кобура была пуста...

Пуста она была не потому, что пистолеты имелись тогда не у каждого милиционера, хотя кобура висела на каждом; и не потому, что милиция, вообще говоря, была вооружена просто интересно — железнодорожным, скажем, милиционерам была придана в те годы шашка — оружие, годное лишь для верховой рубки. Вещь длинная, увесистая и болтающаяся, шашка почему-то телепалась у левого сапога путевой милиции, одетой в черное с малиновыми кантом и шнуром, мешая ходить через путь. Ходить было ужас как трудно — колея по насыпи высокая, щбенка с-под ноги выворачивается, шпалы под шаг не попадают, а тут еще подхватывай шашку, чтобы по рельсам и на стрелках не колотила.

Хуже всего было кидаться врассыпную (особенно на сортировочных станциях, где много путей), когда через первую (секретную) путь мчались на юг или с юга два пустых состава, потом поезд, везущий самое дорогое, что у нас было, потом опять два пустых.

Ага! Ну-ну! Ясно же! Ясно, почему шашки, черное и малиновое. Полукается, точь-в-точь городовые. И самое дорогое наше всякий раз вновь переживало свои героические побег из сибирских ссылок, но теперь уже на другом уровне, — видя в особое окно, как, запрещая сапожищами, трусливо и неуклюже разбегаются полиция, пока наш паровоз летит вперед, а бронепоезд, тоже наш, стоит на запасном пути.

Получалось совсем, как в кино про дореволюцию.

А колышевская кобура оказалась пустой, потому что для иллюзии полноты с утра в ней лежал бутерброд с пареной репой, который участковый давно съел, проголодавшись в скитаниях по околотку.

«Кобура была пуста...» — резко прервали мы динамическое наше повествование и правильно сделали. Когда кто-то расхохотался за спиной, а кобура оказалась пуста, участковый струсил, отпрыгнул в сторону и спросил, озираясь:

— Чужие проживают?

— Нет!

И тут пискнула дверь, но какая-то непонятная, не комнатная, и участковый сиганул куда мог, потрясенно глядя, как из бетонного шифоньера, стоящего посередине комнаты, вышла женщина. «А говоришь, нет чужих, Самбьска!» — рявкнул участковый, но тут же заткнулся, признав Тату, дочку имущих жильцов, откупивших и перестроивших в жиле سراй у его кума на Свибловской. Не успел он сгрести в кучу милицейские свои мысли, как сзади кто-то опять загоготал, и от новой неожиданности Колышев начисто растерялся и тонким голосом крикнул:

— Чего у тебя, армяшка, происходит? Почему оружие не сдаешь?

— Я — тат, и вот мое оружие! — гордо, спокойно и торжественно сказал Самсон Есеич, с улыбкою взяв с этажерки драный учебник физики Фалеева и Перышкина. — Садись с нами, раз пришел, Мокей Петрович, а Тату, то есть гражданку Раскину, ты знаешь и, где она прописана, тоже знаешь!

— А кто надсмехался?

— Садись, садись, объясню!

— Нет, погоди! Сперва проверим, кто у тебя в этой караулке сховались! — сказал Колышев и тревожно подумал: «Неужели, бля, евреи к армяшкам под землей прокапываются и друг к дружке ходят?.. Не на кочерыжку же она к нему прибегла?» — здраво, хотя и с усилием соображал он, зная, что такие, как раскинская дочка, не шлются.

— Проверяй, проверяй! Да иди, не опасайся! — сказал Самсон Есеич и, обняв участкового за плечи, втиснулся с ним в пилон, притворил на минутку дверь, затем вышел, закрыл дверь плотнее и поставил на патефон «Брызги шампанского», заодно убрав с веревки какую-то досыхающую неуместную пленку.

Участковый же некоторое время, пока того-этого, оставался в пилоне, а потом обстоятельно появился, и Самсон Есеич по дороге к хохотуну-холодиле как бы между прочим подвел мента к умывальнику, и полотенце вафельное

дал утереться, гигиенист. И участковый затем строго осмотрел шутковавший сейф не сейф, а навряде закроем и одобрил хороший всячий замок. Потом все втроем сели за стол вокруг пилона, и Самсон Есеич объяснил про цикл Карно, то есть про холодильник, и все выпили шампанского со льдом, а Самсон Есеич объяснил все про сосуд Дьюара и, очистив, например, морковку, опустил ее в сосуд, и, когда, вынутая из жидкого кислорода, она от легкого удара ложечкой рассыпалась на глазах у изумленной Таты и озадаченного участкового в бисерные брызги, опять захохотал холодильник, но на него уже не обратили внимания, а снова выпили — все шампанского, а участковый не шампанского, от которого ему стало рыгаться репой, а спирту, которым Самсон Есеич протирал линзы увеличителя и всегда (на всякий случай!) мелкие повреждения на кожных покровах тела. И после этого Колышев зачем-то стал расхваливать Самсон Есеичу Тату, и Тата застеснялась, а благодарный Самсон Есеич рассказал всем о пользе радио и про то, какую роль станет играть оно в будущем, к примеру сказать, не только в нашей жизни, но и в работе милиции. Уж тут-то наверняка возникнет необходимость в индивидуальных приемо-передаточных устройствах, чтобы распоряжения тихим шепотом, как будто в карман, говорить. И все слушали и диву давались. А крошечные микрофоны вредителей подлавливать! — прорицал провидец. — А быстрый, всюду проходящий транспорт с прожекторами в оба конца или легкие графитно-серебристые непромокаемые плащи? — а все слушали это, как сказку, но, когда Самсон Есеич перешел к сапогам с непромокаемым гуталином, самодрайным пуговицам и сквозьгуманным биноклям, сетуя на то, что пока и поскольку, Колышев потерял нить и, отнекиваясь, но положил в кобуру два бутерброда с форшмаком, принесенным Татой, и стал прощаться, сказав, а если что, то совет вам да любовь...

...Шел он по темным, как нутро сапога с вечным гуталином, улочкам, закоулкам и беззаборным угодьям, идеально ориентируясь в родимой местности. И он фантазировал, и мечтал, воображая себя милиционером будущего. Вот они, к примеру сказать, с Воробьевым, которого Колышев недолюбливал, выслеживают, к примеру сказать, Беренбоима с Третьего проезда, крупного ловчилю, у которого с начальником отделения вась-вась, так что обыск устроить никак не получается. Но не даром они милиция будущего! У них же при себе радиоприемники СИ-235, величиной, к примеру, с бежевый полботинок, и непропицаемые бинокли.

— Я — Волга! Напал на след! Преследуемый сошел с трамвая тридцать девять и путает следы к своему дому тридцать восемь. Он — в бурках. Прием!

— Я — Тухлянка! — шепотом откликается в радио неприятный Колышеву Воробьев. — Жду преследуемого и хоронюся у кривоборской помойки... Говорите вашу пароль... Прием!

— Я — Волга! Я — Волга! Пошел под фонарь к керосиновой лавке... Пароль: дома кашу не варить, а по городу ходить! — говорит наш участковый, садится на бесшумный велосипед будущего и мчится сквозь ночь, не шевеля ногами, и никто его не видит, а он видит всё, потому что ночь рассыпается перед всеми его прожекторами в мелкие брызги, как морковка.

— Я — Тухлянка... я — Тухлянка... я — Тухлянка... — надсаживается где-то в будущем уносимый временем шепот Воробьева, а Колышев — в настоящем как нарочно оказавшийся возле дома Беренбоима — решает, несмотря на ночное время, постучаться к Саул Мойсеичу и напустить как бы туману о завтрашнем как бы обыске, за что, как всегда и как все, Саул Мойсеич, сказав: «Э, догой мой, нам пшять нечего!», поставит ему рюмку водки и сам, невзирая на поздний час, выпьет, между прочим, тоже. А потом разольет еще, и Колышев достанет из кобуры закуску — бутерброды с форшмаком, и Саул Мойсеич удивится такому хорошему форшмаку у жены участкового и нальет еще по капельке.

— Будьте мне здоровы, товарищ Колышев Мокей Петрович!

— И вы не болейте, товарищ Беренбоим Саул Мойсеевич!

Пока и поскольку.

О ч е р к и р у с с к о й с м у т ы

Глава VI. КРЫМ

Жизнь Крыма до конца 1917 года текла довольно мирно. В крае уживались рядом власти — правительственные, земско-городские и революционные (совдепы), — почти однородные по своему составу (с.-р. и с.-д. меньш.) и все одинаково бессильные. После октябрьского переворота собрание уездных и волостных земств и городов Таврической губернии создало центральную власть в лице Крымского краевого правительства — также из умеренных социалистов, во главе с кадетом Богдановым. Но собранный 26 ноября национальный совет татарского населения Крыма избрал татарский парламент (Курултай) и татарское правительство, которое также «взяло на себя защиту и управление как татарами, так и другими народностями, населяющими Крым». Совместное существование двух «правительств», порождая трения в их взаимоотношениях, очень мало, однако, отражалось на жизни края, обособившейся резко в замкнутых рамках городов и сел. Одинаково шаткой была опора обоих правительств: у первого — полубольшевистские солдатские гарнизоны, у второго — немногочисленное «татарское национальное войско» — Крымский полк (конный) и пешие части, силою 2—3 тыс. человек. Оба правительства одинаково трепетали перед перспективой большевистского нашествия и заключили соглашение о взаимной поддержке против большевиков.

Гроза на этот раз шла не с севера, не изнутри, где настроение совдепов, профессиональных союзов, рабочей массы и даже солдатских гарнизонов было довольно умеренное... Судьба Крыма оказалась в руках Черноморского флота.

Уже в ноябре под влиянием агитаторов, присланных из центра, матросы Черноморского флота свергли умеренный совдеп в Севастополе, поставили новый большевистский и организовали в городе советскую власть. Номинально она находилась в руках сложной комбинации из совдепа, комиссариата и революционного комитета, фактически — всецело в руках буйной матросской черни. С начала декабря в Севастополе начались повальные грабежи и убийства. А в январе Черноморский флот приступил к захвату власти и на всем Крымском полуострове. Описание падения крымских городов носит характер совершенно однообразный: «К городу подходили военные суда... пушки наводились на центральную часть города. Матросы сходили отрядами на берег; в большинстве случаев легко преодолевали сопротивление небольших частей войск, еще верных порядку и краевому правительству (правительствам?), а затем, пополнив свои кадры темными, преступными элементами из местных жителей, организовывали большевистскую власть»*.

Так пали Евпатория, Ялта, Феодосия, Керчь и др. А 13 января пала и резиденция правительств — Симферополь.

За спиной матросской черни стояли ее вдохновители — элемент пришлый, часто уголовный и в огромном большинстве своем инородный. Состав агентов власти, — говорит описание, — «пестрит именами инородцев — латышей, эстонцев, евреев»... Большевистская власть за четыре месяца своего существования не умела насадить советский строй. Она только упразднила буржуазные учреждения, «социализировала», преимущественно в свою пользу, буржуазное имущество и уничтожала буржуазию. Страницы крымской жизни того времени полны ужаса и крови. Я избегаю вообще распространяться о «злодействах большевиков» — понятия, ставшем в наше время банальным и не возбуждающим уже острого чувства возмущения в опустошенных душах и зачерствелых сердцах.

Продолжение. Начало т. III см. «Октябрь» № 8 с. г.

* Из трудов Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков.

Но приводимое ниже описание* судьбы евпаторийской буржуазии и преимущественно офицерства весьма характерно для «методов социальной борьбы» и психологии матросской черни, заполнившей своим садизмом самые страшные страницы русской революции.

«После краткого опроса в заседании комитета арестованных перевозили в трюм транспорта «Трувор». За три дня их было доставлено свыше 800 человек. Лица арестованные не получали, издевательства словесные чередовались с оскорблением действием, которое переходило в жестокие, до потери жертвами сознания, побои. На смертную казнь ушло более 300 лиц, виновных лишь в том, что одни носили офицерские погоны, другие — не изорванное платье. Обреченных перевозили в трюм гидро-крейсера «Румыния»... Смертника вызывали к люку. Вызванный выходил наверх и должен был идти через всю палубу на лобное место мимо матросов, которые наперерыв стаскивали с несчастного одежду, сопровождавая разделение остротами, ругательствами и побоями. На лобном месте матросы, подбадриваемые Антониною Немич**, опрокидывали приведенного на пол, связывали ноги, скручивали руки и медленно отрезывали уши, нос, губы, половой орган, отрубали руки... И только тогда истекавшего кровью, истекавшего от нечеловеческих страданий далеко разнесившиеся, душу надрывающие крики русского офицера отдавали красные палачи волнам Черного моря».

.....

Властвовала только красная опричнина. Против них были и крестьянская, и рабочая среда, которая здесь, в Крыму, не переживала медового месяца большевистской власти, как это было в центральной России. Крестьяне охотно восприняли практику социализации, но не могли примириться с захватом пришельцами добра своего и помещичьего, которое также считали своим. Рабочие, невзирая на ряд специальных мероприятий новой власти — сокращение рабочего дня, увеличение заработной платы и т. д., были за редкими исключениями ярко враждебны ей. Они видели, что наплыв в среду их массы безработных, по преимуществу городской черни, дезорганизует предприятия, что не они стали хозяевами, а пришла власть, захватывающая бессистемно и орудия производства, и материалы, и фабрики — для собственного прокормления. Рабочие организации, не сочувствовавшие большевизму, преследовались; практика реквизиций и изъятий не миновала и домов рабочих. В перспективе ясно рисовался развал промышленных предприятий, дезорганизация рабочего класса и голод.

Татарское население Крыма, совершенно не принявшее большевизма, подвергалось таким же расправам, как и буржуазия; беспощадные к татарам сами большевики разжигали кроме того национальную ненависть к ним среди русского населения.

К весне 1918 года царило уже всеобщее возмущение против большевистской власти, как везде пассивное или выражавшееся в местных волнениях и в подготовке, совершенно, впрочем, не серьезной, активного выступления в среде заводских комитетов, профессиональных союзов, татарских и русских конспиративных кружков.

Вопрос разрешился приходом германцев***.

Если украинская политика немцев имела в своем основании создание длительной, на многие годы, политической и экономической зависимости Украины от Германии, то в Крыму их интересы ограничивались временными военно-политическими и стратегическими условиями. По крайней мере так смотрела на дело главная квартира. Людендорф уверяет, что он «считал фантастическими идеи создания колониального немецкого государства на берегах Черного моря»... Еще менее германское правительство склонно было поощрять в этом отношении притязания Турции. Германской ставке необходимо было обеспечить себе безопасность сообщений в Черном море, которым угрожала Севастопольская крепость и непокорный центральной власти Черноморский флот. Крепость и порт были заняты поэтому германскими войсками 1 мая, а большая часть русских военных судов ушла в Новороссийск. Немцы предъявили советской власти требование выдать им весь Черноморский флот «для использования во время войны в мере, требуемой военной обстановкой». Повеление совета комиссаров последовало, но было исполнено только частично: матросы, не имея желания поступить в распоряжение немцев и еще менее — драться с ними, пустили ко дну часть судов. До сих пор на новороссийском рейде зловеще торчат из воды верхушки мачт — символ «патриотизма» черноморцев, столь же фальшивого, сколько и бессмысленного.

Иначе отнеслись немцы и к государственному устройству Крыма.

Об отторжении его от Российского государства объявлено не было. Русский генерал Сулькевич, по происхождению литовский татарин, избранный немцами, вместо ханского титула принужден был удовлетвориться званием премьер-министра Крымского краевого правительства. В декларации, одобренной, не-

* Из трудов Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков.

** Немичи — семья палачей.

*** Группа ген. Коша из трех печ. дивизий и бригады конницы.

мецким командованием, Сулькевич определял целью образованной им власти «сохранение самостоятельности полуострова до выяснения международного положения его и восстановление законности и порядка».

По условию с советским правительством Германия обязалась очистить Черноморский район после ратификации договора между Россией и Украиной. Поэтому переговоры между Шелухиным и Раковским в Киеве умышленно затягивались немцами. Гетман предъявил требование о полном слиянии Крыма с Украиной, посягая на три северных хлебородных уезда Таврии, и устанавливал экономическую блокаду полуострова. Сулькевич через одного из своих министров, командированного в Берлин гр. В. Татищева, добивался признания независимости Крыма и защиты его от Украины. Сбитая с толку крымская общественность* видела выход «в объединении Крыма с Украиной на условиях широкой автономии», полагая, что «путь объединения с Россией лежит только через Украину».

Германское правительство встретило холодно миссию Татищева и «в связи с настоящим международным положением» не сочло для себя возможным «объявить о признании государственной независимости Крыма»; а в отношении столкновения с Украиной советовало уладить вопрос личными переговорами гр. Татищева с украинским премьером Лизогубом**.

Политика крымского правительства была такого же правого направления, как и гетманская, встречая оппозицию в социалистических и либеральных кругах земских и городских собраний, весьма, впрочем, лояльную, благодаря наличию веселых немецких штыков. Правительственная политика не носила официальных признаков национального шовинизма. За кулисами шла, однако, нелепая политическая игра объединенных в своих стремлениях Сулькевича, Курултая и татарской группы правительства. Айвазов, уполномоченный представитель Сулькевича в Константинополе, вел переговоры с Блестящей Портой об отторжении Крыма от России и присоединении его в той или другой форме к Турции... Д. Сейдамет, крымский министр иностранных дел, представлял германскому правительству в Берлине шовинистическое обращение Курултая от 21 июля. Это обращение, подписанное А. Хильми*** и Хасаном Сабри****, заключало в себе следующие положения:

«Крымско-татарский народ, который 135 лет тому назад подпал под русское иго», надеялся на помощь Германии, «опираясь на сулящие мусульманским странам счастье исторические высокие цели Его Величества Великого Государя Вильгельма»...

«Несмотря на то, что русские в течение 135 лет грабили имущество татар и оскверняли их святыни... численный состав крымских татар все-таки не мог быть поколеблен; равным образом никакие притеснения не могли заставить их забыть то уважение, которым пользовалось господство их предков, пред коим некогда склонялась Москва»...

Далее идет описание национальных подвигов:

«Во время революции, когда ни у одного из населяющих Россию народов не было заметно национального движения, крымские татары заявили 25 марта на конгрессе о своей национально-гражданской автономии и реквизировали вакуфные земли... 8700 десятин и 1 миллион рублей»...

Скромное описание своего «международного» положения:

Несмотря на поражение в борьбе с большевиками, «крымско-татарский народ, опираясь на свое великое национальное самопожертвование и чувство владения, стал играть в судьбах страны решающую роль»...

Исходя из этих соображений, «крымские татары желают восстановить в Крыму татарское владычество... преобразовав Крым в независимое нейтральное ханство, опираясь на германскую и турецкую политику».

И, наконец, апофеоз:

«В то время, как Россия, великий исторический враг (турецкого и мусульманского мира), погибла и дорога в Индию, свободная для Германии, колебала твердыню Англии, мусульманский мир находит силу в твердой решимости тех магометан, которые в Крыму и на Кавказе в течение столетий были лишены чести иметь право умереть за свои стремления и надежды»...

Я не стал бы приводить таких пространных выдержек из откровения людей, лишенных элементарного такта и грубо невежественных, если бы оно не было карикатурным отражением тех приемов и стремлений, которые присущи представителям многочисленных новообразований, возникших на развалинах России. Не народные массы, а именно люди, вынесенные волною революции на мутную поверхность вскипевшей до дна народной жизни, принесли с собою такую ненависть к России. Искшая перспективу и причинную связь исторических событий, порывая родственные связи, игнорируя тесные экономические взаимоотношения, мешая прошлое с настоящим и отождествляя русскую власть с русским народом,

* Съезд представителей земских управ и городских голов Крыма.

** Сношение германского министра иностранных дел 26 авг. № 35541/123046.

*** Генеральный директор Крымско-татарского национ. совета.

**** Президент Крымско-татарского парламента..

они приняли на себя роль суровых и пристрастных судей России, ее истории и народа. Их голоса раздавались громко в парламентах, радах, кругах, меджлисах, сфатул-цериях, курултаях, в приемных иностранных политических деятелей всех стран, в отечественной и мировой печати.

Они с большим упорством и старанием углубляли могилу, вырытую советской властью для погребения русской государственности, — могилу, в которой часто хоронились и их непрочные новообразования.

Поддержка «Великого Государя» и «Высокопочтимого халифа» оказалась непрочной. Осенью 18 года центральные державы пали, увлекая в своем стремительном падении кесарей и троны, погребая под обломками много безумных надежд и фантастических планов.

Изменилась и судьба Крыма.

Немецкий генерал Кош письмом на имя Сулькевича от 3 ноября заявил, что он от дальнейшей поддержки его отказывается. И Сулькевич 4 ноября телеграфировал мне в Екатеринодар: «Развал среди германских войск идет полным ходом... Ввиду отсутствия вооруженной силы, формировать которую немцы категорически запрещали в Крыму, нет никакой опоры для борьбы... Возможны вспышки и повторение неистовств большевиков... Обстановка ясно говорит за необходимость быстрой помощи союзного флота и добровольцев... Ввиду борьбы и сильной агитации левых партий кабинет мой слагает свои полномочия, уступая место коалиционному министерству из кадет, социалистов и татар»...

Генерал Сулькевич отбыл в Азербайджан, чтобы там продолжать в роли «военного министра» свою русофобскую работу, а новое правительство г. Соломона Крыма, вышедшее из недр Таврического губернского земского собрания, обязалось «всеми силами содействовать объединению расколовшейся России»*.

Глава VII. ЗАКАВКАЗЬЕ

Закавказский комиссариат под руководством сейма** с конца февраля 18 года вел мирные переговоры с Турцией.

Снабженный чрезвычайными полномочиями сейма председатель мирной конференции Чхенкели*** настаивал в Трапезунде на восстановлении русско-турецких границ 1914 года. Турецкая делегация при закулисной участии германских дипломатов требовала точного выполнения условий Брест-Литовского мирного договора и немедленного очищения от закавказских войск Карса, Ардагана и Батума. Вместе с тем турки, затягивая всемерно ход переговоров, окончательные условия мира ставили в зависимость «от точного декларирования закавказской делегацией сущности, формы, политической и административной организации Закавказской республики»****. Ибо, если Закавказье продолжает оставаться в государственной связи с Россией, то для него обязательно выполнение Брест-Литовского договора...

Положение Закавказья к этому времени было необыкновенно трудным.

Советская власть предъявила ультимативное требование выполнения условий договора; Кавказский фронт пал давно и на месте его стоял лишь декоративный заслон из храброго, но малочисленного отряда полковника Ефремова, армянских, частью грузинских новых формирований; кровавый призрак турецкого нашествия висел над христианским населением, и тревожным предвестником его служили начавшиеся уже бесчинства татар в прифронтовом районе; в сейме, в правительстве и даже в среде самой мирной делегации мусульманские представители явно сочувствовали самым широким турецким вождедениям...

И когда 24 марта турки предъявили ультиматум о принятии в течение двух дней Брест-Литовского договора и немедленном очищении Батума, Чхенкели, превысив данные ему сеймом полномочия, принял все условия турок.

Сейм, однако, не согласился. В торжественном и бурном заседании 31 марта почти все национальные и политические фракции пришли к убеждению о необходимости продолжения борьбы. Даже мусульманские представители, отказываясь от активного выступления, обещали, однако, «всеми доступными средствами оказать возможное содействие другим народам Закавказья... к благоприятной ликвидации войны»*****.

Сейм отозвал делегацию Чхенкели и обратился к народам Закавказья с воззванием: «...Позорного мира мы не подписали, — говорилось в нем. — Мирные переговоры с Турцией прерваны. Отныне спор решается оружием на полях сра-

* Из доклада Таврической земской управы Таврич. земск. собранию от 17 октября.

** См. т. II, кн. XV. Председатель комиссариата с. д. Гегечкори, члены — представители демократических партий всех национальностей Закавказья.

*** Чхенкели А. И. (род. в 1874 г.) — грузинский меньшевик. В 1918—1921 гг. — министр иностранных дел правительства Грузии, Эмигрант. (Прим. ред.)

**** Материалы подготовительной по национальным делам комиссии. Записка Ю. Шумахера.

***** Idem.

жений». Жест отчаяния — ибо бороться было нечем: не было войска для удержания фронта, и не было ни подъема, ни единодущия для войны народной, партизанской.

Турки заняли 1 апреля Батум и, не встречая сопротивления, перешли в наступление в общих направлениях на Кутаис, Александрополь и Джулфу.

И 9 апреля в сейме, признавшем свое бессилие остановить турецкое нашествие, был поставлен на обсуждение как последнее средство спасения вопрос о независимости Закавказья. Сторонникам этого акта — не туркофилам — рисовались следующие перспективы: край, отделившись от России, избегнет заливающего его большевизма; сохранится единство Закавказья и тесное мирное сожительство его народов; новообразование получит легальный титул для отказа от Брест-Литовского договора и заключения самостоятельного мира; наконец, приобретет симпатии и помощь Германии, которая давно уже толкала закавказских деятелей на этот шаг, имея целью расчленение России и утверждение своего политического и экономического влияния в Закавказье.

При полном согласии всех грузинских партий и стыдливом молчании бывших властителей дум русской революционной демократии г.г. Церетели, Жордания, Гегечкори, Рамишвили* и другие... при решимости холодного отчаяния армян... при ликовании мусульман и горячем протесте русских была провозглашена Закавказская независимая федеративная республика.

Жизнь, однако, развивала шаг за шагом иллюзии оппортунистов.

Прежде всего старые хитрые дипломаты оттоманской школы раскрыли, наконец, свои карты перед неискусными игроками Закавказской республики.

На возобновившейся 28 апреля по инициативе нового правительства Чхенкели конференции в Батуме турко-германская делегация под председательством Халил-бея признала факт независимости Закавказья и освободила его от обязательств, налагаемых Брест-Литовским договором. Но вместе с тем как новому государственному образованию турки предъявили и новые территориальные требования, несравненно более тяжелые...**.

Конференция была сорвана. Турецкая армия, продолжая наступление, заняла уже Карс***, Александрополь, направляясь далее к Тифлису. Турецкое влияние в мусульманских частях Закавказья переходило в явное политическое господство там турок, грозя сдавить в турецких тисках и отрезать от жизненных артерий грузинский и армянский народы.

В этот тяжелый момент грузинская социал-демократия, войдя в сношение с германским правительством, вручила ему без оглядки судьбы своего края.

Тожественные вначале интересы Германии и Турции по мере увлечения последней панисламизмом в ущерб военным действиям против Англии разошлись. Германия сочла себя вынужденной противодействовать быстрому распространению турок в Закавказье по мотивам, о которых немецкие государственные деятели говорят с исчерпывающей ясностью.

Гельфферих: «Германия очень интересовалась бакинскими нефтяными промыслами, которые соединены нефтепроводом с Батумом, и кавказскими богатейшими марганцевыми рудниками, имевшими для нас огромное значение как в этой войне, так и после войны».

Людендорф: «Для нас (протекторат над Грузией) был средством независимости от Турции получить доступ к кавказскому сырью и эксплуатации железных дорог, проходящих через Тифлис. Мы не могли довериться в этом отношении Турции. Мы не могли рассчитывать на бакинскую нефть, если не получим ее сами».

Получив от германского резидента в Константинополе ген. фон-Лоссова обещание активной поддержки, 13 мая национальный совет провозгласил односторонним актом независимость Грузинской демократической республики. Ной Жордания и Церетели в послании к центральному комитету российской социал-демократической партии оправдывали этот шаг необходимостью «спасения физического существования грузинского народа».

В тот же день, 13 мая, сложили полномочия сейм и общее правительство. Закавказская республика прекратила свое существование, и власть перешла к национальным советам трех новообразований: Грузии, Армении и Азербайджана. Германия остановила дальнейшее продвижение турок в пределах Грузии.

Решающую роль в актах 9 апреля и 13 мая сыграли не внутренние потрясения общерусской жизни, даже не большевизм — волны его еще не докатились до Закавказья, и сущность его постигали только верхние слои народа, — а смертельный страх перед турецким нашествием. Если, наоборот, мусульманская часть населения отнеслась с явной симпатией к единоверным туркам, то главным образом потому, что надеялась на тот перевес, который теперь получат их интересы в вековой межнациональной распре. Но ни татары, ни грузины и ар-

* Руководители Закавказской федеративной, затем Грузинской демократической республики, лидеры меньшевистской партии. (Прим. ред.)

** Потребовали половину Эриванской и части Тифлисской и Кутаисской губерний.

*** Грузин Чхенкели, вообще проявлявший чрезвычайную уступчивость туркам в части, касавшейся не грузинской территории, приказал сдать Карс без боя.

мяне, ни все другие мелкие самобытные национальные группы в момент разрыва в массе своей не проявляли ненависти к России. По состоянию своей культуры, вековым навыкам, быть может, национальным чертам характера народы Закавказья менее, чем где-либо, принимали участие в государственной жизни. «Волеизъявление народа», «давление народных масс» — эти правовые и стихийные стимулы политических и национальных движений — в Закавказье имели значение несущественное. Если в общерусском масштабе волны революции смыли с высоты жизни русскую интеллигенцию, то здесь наоборот: история Закавказья в годы смуты есть история его интеллигенции, преимущественно социалистической. Только она явилась вершительницей внутренних событий, и только на ней лежит поэтому историческая ответственность за судьбы закавказских народов.

Итак, примиряющего и объединяющего начала не стало. Пути народов Закавказья разошлись. В течение трех лет будут они вести «самостоятельное» существование и гореть в котле политических страстей и межнациональной распри, пока, наконец, не сольются вновь... в общем русле советского самодержавия.

После провозглашения самостоятельной Грузинской демократической республики делегация ее прибыла в Берлин, и 11 июня в рейхстаге было объявлено о признании Германией новой республики «де факто». В Тифлисе появилась дипломатическая миссия полковника фон Кросса с эскортом в две роты, и с тех пор внутренняя и внешняя политика края безраздельно была подчинена германскому влиянию. Началось выкачивание немцами сырья и одновременно организация ими грузинской вооруженной силы — по свидетельству ген. Людендорфа — как подсобного фактора в борьбе с англичанами на азиатском театре войны и против... Добровольческой армии, которая все более начинала тревожить немецкое командование.

Бакинская нефть особенно крепко владела умами и чувствами европейских и азиатских политиков. С весны началось резкое соревнование и «бег взапуски» в области войны и политики к конечной цели — Батуму — англичан от Энзели, Нури-паши (брат Энвера) через Азербайджан и немцев через Грузию. Для той же цели Людендорф снял с балканского фронта бригаду кавалерии и несколько батальонов (6—7) и спешно стал перебрасывать их в Батум и Потю — порт, арендованный германцами у грузин «на 60 лет».

Судьба, однако, распорядится иначе: Нури-паша предупредит немцев в Баку, и десантные немецкие войска не успеют сосредоточиться, как отпадение в начале сентября Болгарии, поколебав окончательно положение центральных держав, заставит немецкую главную квартиру отозвать войска из Грузии обратно на Балканы...

Грузинский национальный совет, к которому перешла верховная власть, образовал правительство под председательством Ноя Рамишвили. В силу преобладания в правительстве и в самом совете социал-демократов меньшевиков — преобладания искусственного для страны по преимуществу земледельческой — политикой этих учреждений руководили всецело лидеры партии.

Деятельность правительства сосредоточилась прежде всего на сформировании вооруженной силы и на округлении границ новой республики. Под руководством Джунгелия возникли отряды «народной гвардии», общей численностью 10—12 тысяч, по облику своему, составу, дисциплине и традициям отличавшиеся от советской красной гвардии только разве национальным шовинизмом. Народогвардейцы поступали добровольно, по рекомендации левых партий, были хорошо вооружены и получали высокие оклады; отряды были снабжены многочисленной артиллерией бывшего кавказского фронта. Во главе их стояли почти исключительно люди с большим революционным и тюремным прошлым «царской России». Пригодная для поддержки первых шагов социал-демократической власти в дни революционного угара и заманчивых лозунгов народная гвардия становилась, однако, сильной помехой при переходе к мирному строительству и прямой угрозой для самой власти, в особенности ввиду сохранения в крае Советов рабочих депутатов... Поэтому правительство приступило вскоре к мобилизации возрастов от 16-ти до 43 лет, а также к формированию постоянной регулярной армии в 2 пех. дивизии и 1 кав. бригаду. С этой целью был объявлен призыв * всех «грузинских подданных», родившихся в 96—98 г.г., причем подданными считались лица всех национальностей, в том числе и русские люди, прописанные по месту жительства на территории, вошедшей в пределы Грузии, до 19 июля 1914 года **. Немцы всемерно способствовали организации и снабжению грузинских войск.

Еще в 1914 году образовавшийся из состава партии национал-демократов Союз освобождения Грузии заключил с турецким правительством договор, на основании которого за активное содействие Турции в войне против России «неза-

* На основании закона от 13 августа.

** Циркуляр военн. мин. 18 сентября № 415.

висимая Грузия» приобретала следующие территории: Тифлисскую и Кутаисскую губ., Сочинский и Гагринский округа Черноморской губ., Сухумский, Батумский и Закаталский округа, сев. часть Карсской обл. и часть Трапезундского вилайета (Лазистан). Как это ни странно, но социал-демократы, клеймившие некогда «империалистическую политику» царского и временного правительств, став у власти, восприняли всецело психологию грузинских национал-шовинистов — тех, для которых еще 15 июня, во время заседания национального совета, в лексиконе Церетели нашлось слово «измена»... Демократическое правительство Грузии приступило к планомерному распространению своей власти на территории, населенной чуждыми в племенном отношении и враждебными грузинам элементами, применяя при этом разнообразные способы — войну, подкуп, террор и политический шантаж.

В первый период — турко-немецкой оккупации — вождения Грузии направились в сторону Черноморской губернии. Причиной послужила слабость Черноморья, поводом — борьба с большевиками, гарантией — согласие и поддержка немцев, занявших и укрепивших Адлер; система же захвата была до крайности проста и однообразна и сильно напоминала деятельность румын в Бессарабии.

К концу марта 18 года большевики, постепенно распространяясь из Новороссийска к югу, подошли к Сухуму. Абхазский национальный совет обратился за помощью к грузинам. С конца апреля грузинская народная гвардия начала там войну против большевиков с переменным успехом. Прибывшему в июне с подкреплением ген. Мазниеву удалось очистить от красновардейцев побережье до самого Туапсе. Ценою за избавление был договор, заключенный 11 июля между Абхазским национальным советом и грузинским правительством, в силу которого Сухумский округ временно вошел в состав Грузинской республики. Пункт 3-й договора предусматривал, что «внутреннее управление Абхазией принадлежит Абхазскому совету», а 1-й — что «только национальное собрание Абхазии окончательно определяет политическое устройство и судьбу ее».

Но вслед за сим грузинское правительство дважды разгоняет национальный совет (август и октябрь) и, заключив часть членов его в Метехский замок, лишив права выборов русское и армянское население как не приемлющее «грузинского подданства», к осени создает вполне покорное и совершенно безличное учреждение, состоящее на $\frac{1}{4}$ из абхазцев и на $\frac{3}{4}$ из грузин* и возглавляемое президентом с преобладающим составом грузинских социал-демократов. Власть в крае перешла всецело в руки грузинского «чрезвычайного комиссара» и революционных учреждений, заполненных местными грузинами — пришлым элементом в крае, издавна устроившимся на Черноморском побережье в качестве рабочих, торговцев, подрядчиков, духанщиков и т. д. С интересами коренного населения и с его правами хотя бы на внутреннее самоуправление грузинская власть перестала считаться вовсе.

Оккупация Сочинского округа (включая и Гагры**) произведена была грузинами также на основании просьбы о помощи различных местных собраний и съездов, преимущественно социалистического состава, — просьб, частью вызванных подлинным отчаянием, частью — давлением грузинских военных начальников. Хотя грузинская администрация высказывала официально взгляд на русское население побережья как на «политических эмигрантов», но «исторические права» грузин на этот округ, очевидно, были еще менее обоснованы, чем на Сухумский***, так как с первых же дней грузинские власти приступили к разорению его, отправляя все, что было возможно, в Грузию. Так была разграблена Туапсинская жел. дорога, причем увозились рельсы, крестовины, материалы, даже больничный инвентарь; распродано с аукциона многомиллионное оборудование Гагринской климатической станции, разрушено лесопромышленное дело в Гаграх; уведен племенной скот, разорены культурные имения и т. д. Все это делалось не в порядке «обычаев гражданской войны», а в результате планомерной тифлисской политики.

Из Абхазии и Сочинского округа шли горькие жалобы и постоянные просьбы об избавлении от грузин, обращаемые к Добровольческой армии, когда она приближалась к Черному морю...

В период немецкой оккупации, в течение 18 года, только еще налаживались внутренняя жизнь края и административный аппарат. В трудных условиях зарождения новой государственности правящая безраздельно партия социал-демократов не решилась приступить сразу к коренной ломке «старого строя». В финансовом отношении мы видим только тяжелый пресс прямых и косвенных налогов, печатный станок и боны с знаменательной надписью — о хождении их на-

* Состав населения Сухумского округа в 1916 г. в %: абхазцев — 56, грузин — 18, русских — 11, армян — 10, прочих — 5.

** Гагринский район был присоединен к Сухумскому округу осенью 17 г. Закавказским комитетом «по историческим основаниям», изысканным, между прочим, г.г. Гегечкори и Чхенкели.

*** В Сочинском округе в 1913 г. всех грузин числилось 10,8%, а по данным земско-городской статистики среди сельскохоз. населения их было 5,8%.

равне с русскими государственными кредитными билетами... В экономическом — широкое использование и распродажу русского миллиардного имущества Кавказского фронта; экспорт, главным образом в Германию, в огромных размерах сырья*, даже отчасти хлеба, в котором ощущался острый недостаток в крае и который притекал путем правительственно организованной контрабанды с северного Кавказа; получение взамен — далеко не равноценных, залежалых фабрикатов, не имевших сбыта на европейских рынках; наконец, концессии, представленные как местному, так и иностранному капиталу. В аграрном вопросе — национализацию частновладельческих земель, с передачей их в пользование крестьянству; а позднее, когда обнаружилось возбуждение на этой почве крестьян, продажу им в собственности по высоким ценам отобранных в государственный фонд земель. В отношении крайне незначительного класса рабочих — заботы об улучшении их материального положения и улучшении условий жизни, без радикальных реформ. Наконец, в области самоопределения — безудержная «национализация», угнетение и лишение культурно-правовых условий существования «меньшинств» — русского, абхазского, аджарского, осетинского, татарского, армянского и т. д. — «меньшинств», которые, однако, в мозаичном организме Грузии составляли вначале 36, а потом, после ее расширения, более 50% населения.

Несомненно, грузинское правительство достигло внешних условий относительного благополучия и порядка, выгодно отличавших край от областей советской России. Местные восстания, вспыхивавшие на почве национальной распри, аграрных взаимоотношений и большевистских лозунгов, зачастую прикрывавших просто протест угнетаемого русского населения, — неизменно подавлялись правительством. Грузинские миссии, направляемые в Западную Европу, снабженные хорошими средствами и обладавшие специфически-восточной хитростью и пафосом, заносили туда, наряду с описанием благоденственного жития внутри страны, представления о «тяжести векового рабства» и обособности независимого существования своего народа; искали сочувствия к молодой «угрожаемой и обижаемой извне со всех сторон социалистической республике». Повсюду. Сначала — в «империалистическом» Берлине, потом, в дни колебания военно-политического маятника, — у всемирной демократии** и наконец — после определившегося исхода борьбы — у буржуазных правительств Лондона и Парижа***.

Мираж создавался действительно.

Только мираж. Потому что в активе новообразования не было ни «суверенности», ни идеи «самоопределения народов», ни демократии, ни социализма. Их заменяли вассальная зависимость (от Германии, потом Англии), империализм, диктатура социал-демократической партии и чистейший капитализм. Потому еще, что в течение кратковременного бытия Грузинской республики народ ее не создал и не мог создать по времени своих материальных и культурных ценностей, а жил исключительно русским наследием, не разрушенным еще ни войной, ни анархией****.

В 1918 году жизнь поставила вопрос:

— Как долго при всех указанных выше условиях возможно независимое существование Грузинской республики вне всякой государственной связи с Россией?

И в 1921 году дала исчерпывающий ответ:

— Ровно столько времени, сколько длится в ней иностранная оккупация, прикрывает ее южно-русская армия и желает того Москва.

Армянская республика переживала дни глубокого отчаяния. Турецкая армия быстро продвигалась вперед, занимая районы этнографического расселения армян и подвергая народ резне и край опустошению. Мольбы армянского правительства и воздействия германских представителей, заинтересованных вообще в ограничении турецкого распространения, остановили, однако, наступление. Демаркационная линия была проведена в шести верстах от Эривани, и «самостоятельная Армения» заключена в голодный гористый район, площадью в 11 тыс. кв. верст*****, с 14-ю верстами железной дороги и с... 600 тысячами беженцев, собравшихся отовсюду и обездоливших окончательно коренное население.

Эту территорию сдавливали со всех сторон: с запада — турецкий фронт; с юга, со стороны Алашкертской долины, — курды; с юго-востока Аракская республика*****, образованная татарскими ханами, враждебными России ввиду лишения их некогда феодальных прав и кровно ненавидевшими армян; с востока — враждебный Азербайджан — сначала татарскими бандами, потом, в сентябре,

* Марганец, медь, шерсть, табак и т. д.

** Обращение к международному социалистическому бюро.

*** Миссия Церетели и Чхеидзе.

**** Дальность театра войны и иностранные оккупации.

***** Часть Эриванского уезда, часть Эчмиадзинского и весь Ново-Баязетский уезд,

***** Долина Аракса — Нахичеванский и Шаруто-Даралагезский уезды.

при помощи турецких войск покоряющий Карабах; с севера — ревниво охраняемые грузинами границы Тифлисской губернии, через которые не пропускали ничего, даже продовольственных грузов вымирающему населению Армении.

При таких условиях Армянский национальный совет* и правительство не могли задаваться ни сложной политикой, ни внутренним строительством. Все их помыслы были направлены исключительно к сохранению физического существования остатков армянского народа. С большими трудностями были сформированы войска партизанского типа в 10—15 тыс. человек; отряд ген. Назарбекова (потом Силикова) вел непрестанную борьбу с татарами и курдскими ордами; отряд Андроника, не признававшего власти Эривани, вел самостоятельные военные операции в защиту армян Елизаветинской губернии** против татар и турок; севернее их наступление сдерживал отряд Мелик-Шахназарова. Правительство рассылало отчаянные мольбы во все стороны и безнадежно искало спасительной «ориентации».

Нет сомнения, что в среде национального совета, по преимуществу социалистического состава, даже в руководящей партии дашнакцанов (20 из 40 членов), в этот момент более, чем когда-либо, жило яркое сознание необходимости государственной связи с Россией. Всякой Россией, независимо от ее политического строя, — хотя бы и советской, — лишь бы она обладала силой и возможностью спасти армянский народ. Но такой России тогда не существовало. Германия не была вовсе заинтересована ни в стране, не имеющей к вывозу сырья, ни в народе, который нужно было кормить. С остальной Европой связи не было никакой. Оставалась только надежда на окрепшую под немецким покровительством Грузию...

В первой половине июня Жордания и Рамишвили пригласили представителей Армянского совета для раздела между Грузией и Арменией по этническим признакам Борчалинского уезда. Но прибывших армянских делегатов встретил И. Церетели и от имени Грузинского совета заявил им, что все спорные территории*** со смешанным грузино-армянским населением должны перейти к Грузии. Вождь — некогда — русской революционной демократии приводил такие мотивы: «Армяне после Батумского соглашения (проведенного грузинами) не могут составить сколько-нибудь жизнеспособного государства, и им выгодно усилить Грузию, чтобы было на Кавказе сильное христианское государство, которое при поддержке немцев будет защищать и себя, и армян»****.

Через несколько дней грузины заняли своими войсками фактически свободные от турок спорные районы и немедленно приступили в них к набору.

Оставшись в трагическом одиночестве, Армянская республика с отчаянием и надеждой ждала поглощения, раздела или избавления. Откуда придет то или другое — можно было только гадать.

Азербайджанская республика самоопределилась в границах Елизаветпольской, Бакинской губерний и Закатальского округа. Фактически — только в большей части Елизаветпольской губернии, так как в Закаталах**** шел спор с грузинами, на юге и юго-востоке велись бои с армянами и русскими, а Баку не признавало власти Азербайджана.

Шовинистическое по отношению к России и соседям, ярко туркофильское правительство хана Хойского, вышедшее из либерально-буржуазной партии «Мусават»*****, с внешне-социалистической окраской, не торопилось с устройством внутренней жизни края, которая шла по инерции, и обратило исключительное внимание на расширение его пределов. К этому побуждала их и панисламистская идея, овладевшая умами особенно сильно после прибытия в Елизаветполь к середине августа Нури-паши.

Вооруженной силы, однако, не было почти никакой. Мусульманский «корпус», который формировался в период власти Закавказского комиссариата и в котором преобладал русский командный состав, был под давлением немцев в начале августа распущен. Формирование нового корпуса с турецким составом сильно задерживалось, благодаря инертности татар и нежеланию и непривычке их нести регулярную службу. «Национальные вопросы» разрешались практически, главным образом, иррегулярными татарскими отрядами. Они при участии турок устроили взаимную кровавую резню с армянами в Карабахе; они вторглись в плодородную русскую Мугань*****, где разгромили и сожгли до 50 поселений, жители которых, до 30 тыс. бежали на северный Кавказ. Южная часть

* Представители от политических партий и племен.

** Зангезурский и Шушинский уезды с армянским населением составили временно «самостоятельную республику».

*** Уезды Ахалкалакский, Казахский, Борчалинский и часть Александропольского.

**** Доклад № 49 представителя Армении, полковника Власьева: «Армяно-грузинский конфликт».

***** Дезгини, родственные Дагестану.

***** Мусульманская демократическая партия «Мусават» была создана в конце 1911 г. Лидерами ее были М. Русул-заде, Г. Шариф-заде, А. Казим-заде. В годы гражданской войны являлась правительственной партией в Азербайджанской республике. (Прим. ред.)

***** Ленкоранский и Джиоватский уезды Бакинской губернии.

Мугани, однако, уцелела. Пройдя в течение нескольких месяцев через большевизм и стряхнув его, население Мугани организовало вооруженную силу около 1000 человек с 2 ор. под командой полковника Ильяшевича, отстояло свой край и, в свою очередь, предало огню и мечу более 20 татарских селений. Затем прошло мирно в течение года в качестве Ленкоранской республики, пока не было поглощено Азербайджаном по требованию... англичан.

Войска Азербайджана вели наступление, пока безуспешное, на Баку. Фронт проходил у станции Кюрдамир — в половине расстояния между Елизаветполем и Баку.

Баку — золотonosный источник лучшей нефти, выбрасываемой на мировой рынок ежегодно в количестве около 500 миллионов пудов; прекрасный порт, в котором сосредоточивался почти весь Каспийский торговый и транспортный флот; центральный узел путей, экономическая и стратегическая база Средней Азии.

Вероятно, и сами властители Азербайджанской республики не думали серьезно о суверенном обладании Баку, играя роль лишь ширмы для трех борющихся сил. Германия дополнительными статьями к Брест-Литовскому договору обязалась не допускать турецкие войска в Бакинский нефтеносный район и всячески препятствовала турко-татарскому наступлению... до полного сосредоточения своих войск. Турция входила по этому повсюду с резкими нотами, намекая даже на возможность разрыва, а тайно вливала в состав азербайджанских отрядов своих офицеров и аскеров. В самом Баку шло состязание турецкого фанатизма, большевистской пропаганды, английских фунтов и немецких марок...

На Кюрдамирском фронте боевые действия между тем замерли.

В Баку, как и везде, издавна существовала глубокая вражда между татарским и армянским населением. После большевистского переворота и кровавых столкновений Азербайджана с Арменией она усилилась еще более, приняв внешние формы борьбы между советской властью, на сторону которой стали дашнакцаны и русский пролетариат, и турко-татарами, к которым из чувства самосохранения примкнула часть русской интеллигенции. Еще в конце 17 года Москвою был назначен с.-д. Шаумян «верховным комиссаром Закавказья», но до весны проявить своего существования он не имел возможности.

25 марта при помощи армянского полка, возвращавшегося из Персии через Баку, армяно-большевики захватили власть в городе. Переворот сопровождался неслыханными зверствами. В городе вырезан был целый мусульманский квартал; число жертв не было зарегистрировано, но по официальным сведениям азербайджанского правительства, вероятно, несколько преувеличенным, армяне вырезали в Баку и Шемахе 10 тыс. татар. У власти стал совет, преимущественно из дашнакцанов*, во главе с Шаумяном. Небольшие части армян и русских фронтовиков прикрыли город со стороны Елизаветполя.

Между тем во второй половине июня в Баку прибыл партизанский отряд полковника Лазаря Бичерахова** силою 1½—2 тысячи человек. Отряд этот состоял на службе англичан, был хорошо вооружен и отлично оплачивался ими***. Бакинскому совету Бичерахов заявил, что он — вне политики, ни к какой партии не принадлежит, признает советскую власть и будет поддерживать порядок. Части его выступили на Кюрдамирское направление.

Но в последних числах июня Бичерахов снялся с фронта и отошел в северном направлении. В Баку под влиянием военных неудач произошел внутренний переворот при участии Бичерахова, причем большевистский Совет был сменен полубольшевистским Центрофлотом. Через несколько дней в Баку прибыл и английский генерал Данстервиль с небольшим отрядом и военными инструкторами.

Правление Центрофлота продолжалось немногим более месяца: 2 сентября 1-й турецкий корпус с Мурсал-пашой во главе опрокинул слабые части бакинцев и, вопреки требованию немцев, занял Баку. В городе повторились трагические сцены конца марта, но в обратном отражении: в течение трех дней татары производили страшную резню армян, причем правительство Армении определяло число погибших соотечественников в 25—30 тысяч человек.

Данстервиль поспешно, раньше других, уехал в Энзели. Бичерахов со своими партизанами и с армянскими отрядами двинулся на север, захватив свыше 100 миллионов рублей бакинской казны; при помощи канонеров овладел Дербентом и Петровском; основал в последнем эфемерное Кавказско-Каспийское правительство, преимущественно из с.-р., и объявил себя «главнокомандующим войсками и

* Члены партии народнического направления «Дашнакцукен». (Прим. ред.)

** Бичерахов Лазарь Федорович (1882 — после 1934) — полковник Терского казачьего войска, сотрудничал с английскими интервентами, в 1918 г. создал эсеров-меньшевистское Союзное кавказско-каспийское правительство, поддерживал связь с Деникинским и Колчаком. Эмигрант. (Прим. ред.)

*** После развала российского фронта Бичерахов, бывший в корпусе ген. Баратова, организовал из охотников партизанский отряд и принял с ним участие в составе английской армии в боях в Месопотамии и северной Персии. Затем был направлен англичанами в Баку.

флотом на Кавказе» *. Отряд его, сильно растаявший, с тех пор держал фронт на юге — против турко-татар и на севере — против большевиков. Отношения у Бичерахова с англичанами совершенно испортились, в дальнейшем снабжении его они отказали, и Бичерахов вновь заявил, что борется только против турок, в гражданской войне участия не принимает и «готов блокироваться с большевиками» **...

Между тем Азербайджанское правительство вступило в Баку, и хан Хойский от «имени нации» выразил торжественно благодарность турецкому командованию. «Событие это, — говорил правительственный официоз ***, — открывает самые широкие перспективы... для всего мусульманского мира. В этой борьбе на весах было брошено самое дорогое — честь и слава тюркского племени».

«Народ ликовал».

Через два месяца быстро меняющаяся кинематографическая лента Закавказья покажет нам другую картину: «ликующий народ» будет встречать английскую флотилию и войска генерала Томсона.

В то время как закавказские народы в огне и крови разрешали вопросы своего бытия, в стороне от борьбы, но жестоко страдая от ее последствий, стояло полу миллионное русское население края, а также те, что не принадлежат к русской национальности, признавали себя все же российскими подданными.

Попав в положение «иностранцев», лишённые участия в государственной жизни ****, преследуемые подчас подозрительностью молодых, не воспринявших еще ни традиций, ни достоинства правительств, под угрозой суровых законов о возмездии, лишённые имущественных прав, о «подданстве» и набоере, допускаяшем возможность братоубийства, русские люди терли окончательно почву под ногами и запутывались в противоречиях, выдвигаемых бурно кипящей жизнью Закавказья.

Я не говорю уже о моральном самочувствии людей, которым закавказская пресса и стенограммы национальных советов ***** подносили ежедневно беззастенчивую хулу на Россию и повествование о «рабстве, насилиях... притеснениях... о море крови, пролитом свергнутой властью»... Их крови, которая ведь перестала напрасно литься только со времени водворения на Кавказе «русского владычества».

Отношение к русским проявлялось не везде в одинаковой форме. В районах турецкой оккупации (Батум, Карс, Ардаган) русского населения осталось мало: из страха перед турецким нашествием крестьяне бросали свои насиженные места и хозяйства, рабочие и городское мещанство — свои пожитки и заработок, и вся эта волна беженства текла на север. Брошенное добро их частью расхищалось мусульманским населением, частью реквизировалось турками. Остались на местах главным образом буржуазия и служилый элемент. К ним турецкие власти отнеслись внешне — предупредительно, по существу — безучастно, но терпимо.

Немцы проявили к русскому населению подозрительное и сдержанное отношение, не оказывая прямого вмешательства в судьбы его и лишь воздействуя в смысле укрепления центробежных стремлений на местные правительства. Это воздействие проявлялось скрытно, осторожно, не возбуждая резко русской общественности. Характерно, что в массе горьких жалоб и обличений, стекавшихся осенью 1918 года к командованию Добровольческой армии, меньше всего было относившихся к германской оккупационной власти...

В Армении к русским относились более доброжелательно, чем в других новообразованных. Бедный своей интеллигенцией и техническими силами край пользовался охотно русскими работниками и, в частности, привлекал русское офицерство в ряды своих войск. Правительство, выдерживая официально тон сепаратной фразеологии, вместе с тем устами одного из своих министров конфиденциально передавало: «Политика Армении благоприятна России исключительно до положительного разрешения вопроса о воссоединении с Россией; если бы в силу внешних обстоятельств правительство Армении и оказалось вынужденным делать официальные заявления другого характера, министр предлагает рассматривать эти заявления как в ы н у ж д е н н ы е *****». Жалобы на притеснения армян стали поступать лишь позднее, когда вернувшиеся в районы бывшей турецкой оккупации с севера русские беженцы нашли свои пожитки и земли в армянских руках.

В Азербайджане, невзирая на яркое туркофильство правительства, русский элемент не подвергался гонению. Правительство края так же, как и Армения,

* Позднее титул командующего войсками был утвержден за ним Верховным главнокомандующим Уфимского правительства ген. Болдыревым.

** Из доклада ген. Гришина-Алмазова, посетившего в Петровске Бичерахова.

*** «Азербайджан».

**** В Азербайджане впоследствии (под давлением английских оккупационных властей) русские представители в ограниченном числе входили в состав правительства и парламента.

***** В Армении — только как редкое исключение.

***** Управляющий мин. иностр. дел Мел. Каракозов. Доклад представителя закавказского отд. к.-д. Тер-Нарапетова.

бедного культурными силами, не оказывая никакой помощи впадшим в крайнюю нужду русским людям, занесенным обстоятельствами в пределы края, не лишало, однако, должностей и работы тех, кто желал найти здесь применение своим силам. Только вдали от центра, особенно в Шушинском уезде и на Мугани, пронеслась кровавая волна, поднятая мусульманским фанатизмом и, главным образом, наступившим безвластием. Оттуда раздавались стоны и вопли о помощи, оттуда бежали толпы несчастных русоких людей на север. Правительство хана Хойского, казалось, не проявляло интереса к этим событиям, а может быть, бессильно было устранить их.

Совершенно иначе обстояло дело в Грузии.

Правительство бывших российских социал-демократов, внесших во внешнюю политику и тактику российского Совета солдатских и рабочих депутатов столь яркие идеи интернационализма, теперь задалось целью вытравить всякие признаки русской гражданственности и культуры в крае — прочно, «навсегда» — прежде всего путем устранения из Грузии русского элемента. Целый ряд законодательных актов и административных распоряжений прямо или косвенно преследовал эту идею: принудительное подданство, правовые ограничения, аресты, выселения, набор, наконец, «национализация» — языка, школы, учреждений. Десятки тысяч русских служилых людей и просто трудовой демократии, работавших в государственных и общественных учреждениях, на железной дороге, почте, телеграфе и т. д., были заменены грузинами и буквально выброшены на улицу. Стекавшиеся со всего Закавказья в Тифлис как военно-административный центр края и фронта служилые люди попадали в отчаянное, безвыходное положение, в особенности семейные.

Грузинское правительство, захватив в свое распоряжение почти все миллиардное имущество Кавказского фронта, большие кредиты и денежную наличность центральных краевых учреждений, расформировываемых войск и военных управлений, не сочло себя обязанным произвести справедливую безболезненную ликвидацию русского наследия. Вопрос, о котором подумал — пусть даже в целях агитации — Совет комиссаров, препроводивший в 1918 году в Тифлис 30 миллионов рублей «на ликвидацию личного состава государственно-служащих».

Ликвидация денежной и материальной части шла беспорядочно, часто хищнически. В отношении личного состава служащих правительство ограничило лишь назначением ничтожного ликвидационного пособия от 250 до 1000 рублей, выдача которого, однако, всемерно задерживалась и в конце концов свелась, словно в насмешку, к замене денег, кредиторскими свидетельствами на получение известной суммы из «кредита Российского государства»... Советского?

Новый поток обездоленных, голодных, нищих людей двинулся к портам Черного моря и по Военно-грузинской дороге, унося с собой горячую ненависть к Грузии и грузинам. В сознании этих людей оскорбление и унижение русской государственной идеи, несомненно, сливалось и переплеталось с личным горем и обидами. Их возмущение было искренне, их психология несложна и понятна; она передавалась всецело русскому обществу по ту сторону Кавказского хребта.

Имело ли отношение, проявленное грузинским правительством к России, основание в народных настроениях?

Я не буду останавливаться на обильном материале, поступавшем по этому вопросу к Добровольческому командованию из русских источников, быть может, несколько пристрастных; приведу мнение туземца, не связанного с правительством, но не оторвавшегося от народа:

«Вопрос этот слишком касается всех русских и потому изложить его беспристрастно очень трудно... В создании ненависти грузин к русским играло роль желание народа зажить спокойно и устранившись от русской анархии... Быть может, и то, что некоторые круги грузинского общества с целью разогрели страсти населения против русских, указывая, что Россия — работительница, Россия — угнетательница грузинской культуры и самобытности... Что психология «юноши, только что вышедшего из детского возраста», свойственна и народу, «который, начиная жить самостоятельно, ревниво оберегает собственное достоинство и боится, чтобы кто-либо как-либо не обидел его страну»... Докладчик уверял, что «массового преследования русских не было» и что «тот узкий шовинизм, который был у большинства грузинского народа вначале, постепенно начал слабеть, и население (стало) лучше относиться к русским, жалея, что связь с Россией как бы временно порвалась»...

Интересы русского населения в Закавказье защищали возникшие повсеместно национальные организации*. Избрание их было далеко непропорционально. Взаимная связь относительная — по крайней мере центральный орган («Русский национальный совет» в Тифлисе) не пользовался никаким авторитетом среди прочих. Силы расплылись: в Тифлисе, например, одновременно существовали враждебные друг другу «Русский национальный совет», «Славяно-русское общество на Кавказе», «Закавказская Русь»; «Славяно-русское общество» соперничало в Баку с местным «национальным советом». Политическая окраска организаций была

* Сочи, Гагры, Сухум, Поти, Батум, Тифлис, Эриван, Баку и Карс.

весьма разнообразна — от социалистической («Русский национальный совет» в Тифлисе*) до крайней правой («Закавказская Русь»). Также различно было отношение их к основному вопросу русской государственности: Тифлисский совет, например, содействовал широко эвакуации русского элемента из Закавказья, в то время как другие организации удерживали его всемерно на местах, считая государственно вредным такой полный разрыв, хотя бы и временный, с Закавказьем. Тифлисский совет стоял на почве соглашательства с большевиками, имел сношения с советской властью через Владикавказ и даже до сентября признавался Грузией как «представитель Российского советского правительства»; «Славяно-русское общество» относилось примирительно к временной самостоятельности новообразований и послало впоследствии своих членов в состав азербайджанского министерства; другие организации считали такое направление изменой русским интересам.

Словом, в русской общественности по обыкновению произошел раскол, разделивший силы и средства и ослабивший политическое и моральное влияние ее. Тем не менее было бы несправедливым отрицать большую и полезную работу этих организаций, направленную к охране личных и имущественных прав «русских подданных», устроению их быта, удовлетворению культурно-просветительных потребностей, наконец, к общественной благотворительности. Среди тяжелой, подчас унижительной обстановки, обладая скудными материальными средствами, они поддерживали и русских людей, и русскую идею.

Весьма сложный сам по себе вопрос бытия народов закавказской мозаики получил уродливое направление благодаря воздействию трех крупных факторов — русского большевизма, турецкого панисламизма и германского империализма. Воздействию временному и переходящему. Было бы поэтому слишком рискованным на основании событий и фактов этого периода, равно как и последующего**, делать окончательное заключение об истинном отношении и племени Закавказья к русской государственности и русской культуре.

Эти неизмеримые ценности поставлены были судьбою перед страшно тяжелым испытанием. Оно приняло масштаб всероссийский, косвенно — всемирный, в котором судьбы Закавказья — только деталь. Больное время родит больных людей и большие идеи. До сих пор длится еще состояние распада, в котором не могли наметиться будущие формы государственной связи закавказской окраины с Россией.

Верую, что связь эта выдержит испытание и не порвется.

Глава VIII. ДОН: ВНУТРЕННЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА С БОЛЬШЕВИКАМИ

Круг спасения Дона открылся в Новочеркасске 28 апреля 18 года***.

К этому времени только небольшая часть Донской области была освобождена от большевиков****. Составленный из представителей станиц и казачьих ополчений, главным образом ближайших к Новочеркасску, Круг не мог претендовать на большую авторитетность. Тем более что состав его был случайный и совершенно неинтеллигентный. Не разбираясь в тех серьезных вопросах, которые предлагались на его усмотрение, находясь все время под впечатлением страха за участь своих станиц, угрожаемых со всех сторон красногвардейцами, работая под гул орудийных выстрелов, доносившихся до Новочеркасска, Круг думал только об одном — спасении от большевиков. И покорно утверждал положения, вносившиеся председателем Круга есаулом Яновым, командующим войсками полковником Денисовым и генералом Красновым.

Тем не менее то единодушие, которое проявлено было членами Круга в годину бедствия, имело объективно важное и положительное значение: Круг создал сильную власть, дав ей нравственную опору и до некоторой степени легальный титул.

В заседании своем 3 мая Круг спасения Дона признал за собою учредительные функции («всю полноту верховной власти») и в тот же день избрал атаманом***** генерал-лейтенанта Краснова, до тех пор недоверчиво относившегося к казачьему движению и упорно отказывавшегося принять участие в борьбе на Дону.

Круг постановил*****:

* Председатель Ф. Лебедев, большинство членов — с.-р.

** Влияние Вооруженных сил Юга России, Советской России и Англии.

*** См. т. II, гл. XXXI.

**** Сев. часть Черкасского и Ростовского округов, Южная часть Донецкого и почти весь Верхне-Донской.

***** 107 голосов против 13 при 10 воздержавшихся.

***** Из «основных законов», предложенных Кругу ген. Красновым как обязательное условие принятия им атамана

1. «Власть управления войском во всем ее объеме принадлежит Войсковому Атаману в пределах всего Всевеликого * войска Донского.

2. Впредь до издания и обнародования новых законов Всевеликое войско Донское управляется на твердых основаниях Свода законов Российской империи... Все декреты и иные законы, разновременно издававшиеся как Временным правительством, так и советом народных комиссаров, отменяются.

3. Условия приобретения гражданства Всевеликого войска Донского, равно как и прав казачества, а также утрата их определяются законом» **.

Установив вместе с тем, что положение это временное, «впредь до созыва Большого войскового круга, каковой должен быть созван... не позже двух месяцев по окончании... сессии Круга спасения Дона», Круг, в семь дней закончив рассмотрение временной донской конституции, 5 мая разъехался.

В управление областью вступил атаман Краснов, единолично и безраздельно осуществлявший власть до середины августа, т. е. до созыва Большого круга. Правил властно, с большой энергией и не разбирая средств, проявляя недюжинные административные способности и твердость воли. Назначенное им правительство («совет управляющих») состояло из лиц случайных, не связанных общей политической программой, — по убеждениям правых, по интеллектуальным данным в большей части не возвышавшихся над уровнем губернского чиновничества. Во всяком случае, правительство это заслоняла собою всецело фигура самого атамана.

Местные кадеты и более левые группы в правительство не вошли. Глава донских кадетов Н. Парамонов, поддержанный Милюковым, жившим тогда в Ростове, получив соответственное предложение, потребовал в качестве необходимого условия вхождения личного и своих единомышленников в правительство устранения нескольких наиболее одиозных его членов. На этой почве произошел разрыв, и Парамонов 20 июня в резкой форме заявил окончательно атаману, что ни он, ни его друзья по партии с ним работать не будут.

Донской власти предстояло приступить к государственной работе в условиях необыкновенно тяжелых.

Главным фактором, определившим направление и развитие донских событий, была немецкая ориентация.

25 апреля войска ген. фон Кнерцера вошли в Ростов; в начале мая после двукратного наступления и серьезного боя с большевиками они овладели Батайском; затем силами в 3 пехотных дивизии и 2 кавал. бригады немцы заняли западную и северную часть Донецкого бассейна, в том числе более четверти Донской области, по внешней линии Мариуполь — Бахмут — Миллерово (авангард у Кантемировка) — Белая Калитва. Немецкие гарнизоны стояли в Таганроге, Ростове, Каменской, временно в Лихой, Звереве и др. пунктах.

Первоначальная цель немецкой оккупации в пределах Дона была чисто экономическая: «Главномандующий Восточным фронтом утверждал, что без донецкого угля станут украинские железные дороги. И ставка волей-неволей согласилась на оккупацию этой части Украины и на выдвижение к Ростову» ***... Позднее, однако, помимо новых экономических перспектив, открывшихся в просторах Дона и Кубани, перед немецким командованием встал тревожный вопрос о создаваемом союзниками на Волге Восточном фронте. Задача фон Кнерцера расширилась поэтому необходимостью создания политически и стратегически выгодных условий для противодействия новому фронту.

Немецкие дивизии, занимая линию более 500 верст, надежно прикрывали войско Донское с севера и запада — не своей численностью, конечно, а сохранившимся еще обаянием силы и договорными отношениями с Советами. Прикрывали до тех пор, пока это входило в расчеты немецкой политики и допускалось мировым положением Германии.

Сообразно с фактической силой, которой располагали немцы на Дону, и, без сомнения, большим отпором, встреченным со стороны донского правительства, немецкая оккупация проявлялась здесь в формах значительно более умеренных, нежели на Украине. Тем не менее германское командование — в частности, представитель главной квартиры майор Кофенгаузен — оказывало сильное давление на внешние сношения Дона, на избрание атамана (сентябрь) и состав правительства. Немцы выкачивали усиленно донское сырье и хлеб, злоупотребляли реквизициями, наводнили край своей контрразведкой и преследовали негодную им печать. На остальных сторонах жизни казачества влияние их не отражалось почти вовсе и, во всяком случае, не препятствовало борьбе Дона с союзниками немцев — большевиками.

Такие отношения вполне удовлетворяли атамана, который и ныне еще вну-

* Историческое происхождение этого титула, восстановленного ген. Красновым, опорочивалось знатоками донской старины, указывавшими, что в допетровских грамотах это наименование писалось: «Все великое войско Донское».

** Дон не пошел на «принудительное подданство», к чему стремились Украина и Грузия.

*** Людендорф.

пает мысль о высокой доброжелательности немцев к Дону в дни оккупации и о своем личном исключительном влиянии на взаимоотношения Дона с немецким командованием. Взгляд, страдающий большим преувеличением. Быть может, немецкие генералы, осевшие на Дону, проявляли большую дальновидность и солдатскую честность... но и они, и атаман были лишь незначительными колесиками в механизме бездушной и беспринципной германской политики — бессильные изменить что-либо в общем ее направлении.

Мы видели и чувствовали это.

Передо мною свидетельство, не преломленное сквозь призму времени, — непосредственные переживания ген. Богаевского.

Уже самый подход к работе с немцами таил в себе большие трудности морального характера.

«Я завидую Вам, имеющему возможность не входить с ними ни в какие отношения, — писал мне Богаевский * 10 мая 18 года. — Для нас это невозможно. И вот теперь — с риском проклятия и клички изменника — мы вынуждены иметь с ними дело, чтобы не погубить сразу слабые зачатки порядка на Дону»...

Потом, к осени, по мере установления реальных взаимоотношений, определилась и неприкрашенная сущность их:

«Эфемерные республики (вырастают), как грибы после дождя, на развалинах родины под «высоким покровительством» чужеземцев, дающих подачки одной рукой, а другой готовых каждую минуту всадить нож в спину в виде большевиков... И жестокая судьба заставляет вести политику при таких условиях, когда душа и сердце дрожат от унижения и обиды» **...

Первой заботой новой донской власти было создание армии.

Освобождение Дона являлось в начале результатом войны народной — партизанской, неорганизованной. Восставали против большевиков отдельные станицы, под командой случайных начальников; соединялись иногда в более крупные отряды; выходили поголовно, когда станице угрожала непосредственная опасность, и расходились, когда она отдалялась; некоторые станицы и вовсе не принимали участия в борьбе. К началу мая в распоряжении атамана на маленькой еще освобожденной территории было 14 самостоятельных отрядов общей численностью в 17 тысяч бойцов, 21 орудие и 58 пулеметов.

Путем целого ряда мер, энергично проведенных, атаману удалось внести начала организации и некоторого порядка в эти нестройные ополчения. Была объявлена обязательная мобилизация в действующую армию 10 возрастных классов и в так называемую постоянную армию, формировавшуюся в районе Новочеркасска, — двух младших возрастов; мелкие отряды сводились в полки и высшие соединения, подчиненные командующему армией, — должность, которая совмещалась в лице ген. Денисова с управлением военно-морским отделом (министерством); приняты были радикальные меры по привлечению в армию донских офицеров, из которых многие «за дни господства большевиков настолько глубоко пережили стадии своего морального унижения, что извернулись в искренности казачков и, не веря в успех дела, постарались остаться в стороне» ***, для подготовки и усовершенствования офицеров восстановлено Новочеркасское военное училище, организована офицерская школа, созданы уставы; «в постоянной армии» кроме обучения введено и воинское воспитание, и т. д., и т. д.

Глава IX. ДОН: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

«Внешние сношения вел сам атаман. Я был простым исполнителем его указаний». Так говорил управляющий отделом иностр. дел ген. Богаевский.

Вряд ли история с точки зрения русской национальной идеи осудит ген. Краснова за то, что он в 1918 году признал Дон «не воюющей» против Германии стороной, воспользовался обеспечением немцами западных рубежей области и приобретал через их посредство военные запасы бывшего русского Юго-западного фронта. В тогданнем положении Дона другого выхода не было, а силы и военно-политическое положение Германии вынуждали ее удовлетвориться вполне таким односторонним нейтралитетом и экономическими выгодами своеобразного товарообмена — русских патронов на русский хлеб.

Но ген. Краснов пошел гораздо дальше, исходя из двух предпосылок, оказавшихся глубоко ошибочными: предвидения победы немцев в мировой войне и возможности существования самостоятельного Донского государства среди бурного русского океана, заливающего со всех сторон красной волной донскую землю.

На другой же день после своего избрания атаман Краснов обратился с письмом, «как равный к равному», — к императору Вильгельму. Текст этого первого

* Министр иностр. дел («управл. отделом») в правительстве Краснова.

** Из письма ген. Богаевского в Киев.

*** Из отчета начальника военного и морского управления к 1 авг. 1918 г.

письма не был известен командованию Добровольческой армии, но вскоре мы получили копию инструкции, данной атаманом послу своему ген. Черячукину, посланному в начале июня на Украину, а также второго письма, отправленного 5 июля германскому императору. Сущность последних двух документов, почти тождественных по содержанию и определявших основы всей донской политики, сводилась к следующим положениям:

Вильгельм должен был:

1. «Признать право Всевеликого войска Донского на самостоятельное существование, а по мере освобождения... и всей федерации, под именем Доно-Кавказского союза»*. На создание его «согласие всех держав имеется (?), и вновь образуемое государство... решило не допускать, чтобы земли его стали ареной кровавых столкновений».

2. Включить в границы войска по соображениям «географическим и этнографическим» Таганрогский округ и «по стратегическим» — Лиски, Воронеж, Поворино, Камышин и Царицын.

3. Оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого войска Донского и других держав, имеющих войти в Доно-Кавказский союз, от разбойничьих отрядов красной гвардии и дать возможность восстановить нормальные, мирные отношения между Москвою и войском Донским.

4. Помочь «молодому государству» орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным имуществом и... устроить в пределах войска Донского заводы для боевого снабжения.

За услуги «Его Императорского Величества» ген. Краснов обязался:

5. «Всевеликое войско Донское (будет) соблюдать полный нейтралитет во время мировой борьбы народов и не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дали свое согласие и атаман Астраханского войска, и Кубанское правительство, а по присоединении (?) и остальные части союза.

6. Предоставить Германии «право преимущественного вывоза» в обмен на немецкие фабрикатy и «особые льготы на помещение (германских) капиталов» в донские предприятия».

Все письмо было составлено в тоне вернопреданности, глубоко обидном для русского национального самолюбия, — в отношении державы, продолжавшей с необыкновенным цинизмом играть судьбами России. А одна его фраза ударила особенно сильно по чувствам офицерства русской армии: «Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью на общих полях сражений воинственными народами народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами»...

Прежде всего нас удивило обращение атамана от имени Доно-Кавказского союза, которого фактически никогда не существовало**.

Идея этого союза пришла одновременно с двух сторон — из верхов казачества и от немецких властей Киева.

В заключенном еще между 9 и 24 мая «соглашения» между Доном и Кубанью ближайшей задачей обеих сторон признана была борьба с большевиками, имевшая целью «восстановление на территориях Дона и Кубани твердого государственного порядка» и дальнейшей — «обеспечение на будущее времена политической и экономической свободы и независимости народов, населяющих Донскую и Кубанскую области». «Дабы ныне разрозненные части России могли явить более могущественную политическую силу», признано было также необходимым «создание на юге России прочного государственного образования на федеративных началах». Этот договор заключал еще одно удивительное положение, нарушавшее все принципы военного дела, возвращавшее нас к австрийскому «гофкригсрату» и косвенно ставившее Добровольческую армию в невозможное положение. «Правительства (Дона и Кубани) учреждают совместные советы, которым предоставляется право разработки плана борьбы с большевиками и анархией на территории Дона, Кубани и смежных с ними областей и губерний, а также общее руководство военными операциями в смысле определения общих и даже частных заданий для отдельных армий»...

Это был единственный договор Кубани с Доном. Заявления ген. Краснова императору Вильгельму о «соглашении всех держав» на бытие Доно-Кавказского союза и о решении «не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дало свое согласие Кубанское правительство», оказались неправдой. После опубликования знаменитого письма к Вильгельму Кубанское правительство сочло себя вынужденным издать официальное сообщение

* Кубанское, Астраханское, Терское войска, калмыки Ставропольской губ и народы Северного Кавказа.

** Образованный при Каледине Юго-Восточный союз, как известно, в начале 1918 г. распался. См. т. II, гл. XV.

(2 сентября), которое по первому вопросу устанавливало, что «никаких других договоров (кроме заключенного 9—24 мая) ни письменных, ни словесных заключено не было» и что поэтому «Донско-Кавказский союз не может считаться существоющим». По второму вопросу — что «никаких обязательств на себя Кубанское правительство не принимало и никого не уполномочивало от его имени делать какие-нибудь заявления»...

11 июня в Новочеркасск прибыли из Киева с особой миссией герцог Н. Лейхтенбергский — одно время выставившийся немцами в качестве кандидата на русский престол; известный по «корниловскому делу» Иван Добрынский, состоявший в особых отношениях с немецкой контрразведкой*, некто полковник князь Тундутов — человек крайне ограниченного развития, объявивший себя атаманом Астраханского войска на том основании, что состоял раньше помощником Астраханского атамана.

Тундутов добился какими-то путями приема у императора Вильгельма и, вернувшись из Берлина, стал распространять слухи о своем большом влиянии, которым он пользуется у немцев. Поделился и беседой своей с императором, который, между прочим, сказал ему следующее:

— Славянский вопрос нам надоел. Поэтому знайте, что никакой Единой России не будет, а будет четыре царства: Украина, Юго-Восточный союз, Великобритания и Сибирь. Мы отлично знаем, что у вас в Киеве думают, что вы присоедините к Киеву все остальное и, таким образом, объедините Россию. Пожалуйста, передайте там, что мы это знаем, что мы этого не желаем и не допустим.

Эта тирада получила широкое распространение, попала и в печать, но немецкое командование, вообще очень ревниво относившееся ко всем сведениям, касавшимся Германии, не опровергло ни факта приема Тундутова императором, ни заявлений последнего. Это произвело на Юге большое впечатление**.

Позднее, в августе, существование немецкого плана «реконструкции» Российской державы подтвердилось и официально: Лизогуб***, побывав в Берлине, получил уверения от министра иностр. дел Гинце, что Германия «благожелательно рассматривает перспективы федерации государств, расположенных на Востоке», и что «Украина, составляя часть русской федерации, будет гарантирована в смысле ненарушимости верховных прав и свободы государства»****...

Тундутов и Добрынский предъявили донскому атаману ноту германского командования в Киеве 1) об образовании Юго-Восточного союза, 2) об удалении Добровольческой армии с территории Дона, разоружении ее или удалении германовобского командного состава, 3) о поддержке немцев на Восточном фронте против союзников. За выполнение этих требований немцы обещали военно-политическую и экономическую поддержку.

Посетивший в тот же день Краснова ген. Алексеев писал мне, что атаман весьма расстроен этим ультиматумом и заявил, что «на началах, изложенных в ноте, он не может допустить образование Юго-Восточного союза со вхождением в него Донской области».

В отношении Добровольческой армии вопрос остался открытым. Обострение его, по-видимому, для всех заинтересованных лиц представлялось слишком опасным. Другие условия ноты оказались не столь неприемлемыми. По крайней мере Краснов писал тогда же генералу Эйхгорну:

«В настоящее время я занят подготовкой общественного мнения к активной борьбе с чехословаками, если бы последние вздумали перейти границы войска Донского... Если бы Вы помогли Донскому войску окрепнуть в полной мере, дав при этом определенное заверение, что по достижении сего германские войска будут выведены из пределов Донской области, тогда Вы могли бы быть уверены, что Донское войско и за ним и весь Донско-Кавказский союз Вам преданы, Вам благодарны и Вам никогда не изменят. Вы могли бы быть спокойны за Ваш тыл на Украине (?) и за Ваш правый фланг в том случае, если бы державы Согласия восстановили Восточный фронт. Мы угрожали бы их левому флангу»****.

Достойно внимания, что в то же время ген. Краснов всемерно старался повернуть Добровольческую армию на север:

«С 15 мая я тщечно зову Добровольческую армию идти вместе с донскими казаками на север, к Царицыну, Саратову и Воронежу на соединение с чехословаками, если только они не миф, но Добровольческая армия или не хочет, или не может идти к сердцу России»*****...

Обсуждение организации союза между тем продолжалось — и у атамана с

* В 1920 г., оставшись на Кавказе после эвакуации белых, продолжал свою карьеру под фамилиями Пшеславского и Святогора — в качестве платного провокатора екатеринодарской «чрезвычайки». («Чека», издание центрального бюро с.р.).

** В своих воспоминаниях император Вильгельм подтверждает факт аудиенции, данной Тундутову, и придает серьезное значение его нелепым разговорам.

*** Председатель совета министров Украины.

**** Телеграмма Лизогуба гетману от 22 авг. о результатах императорской конференции в ставке.

***** Письмо было оглашено упр. отд. иностр. дел в закрытом заседании Круга и сообщено одним из официальных лиц командованию Добровольческой армии.

***** Письмо ген. Алексееву 8 сентября 18 г. № 172.

немецкими офицерами, и в заседаниях представителей Дона, Астрахани (?) и Кубани, под председательством ген. Краснова. Был составлен и проект «правительственной декларации Доно-Кавказского союза», в состав которого теоретически включали не только Черноморскую, Ставропольскую губ. и Терек, но и горцев северного Кавказа, Сухумский и Закавказский округа, с которыми не было никакой связи и о судьбе которых на Дону ничего не было известно.

21 июня в сел. Песчанокоспском при подходе Добровольческой армии к пределам Кубани на панихиду по убитом ген. Маркове собрались следовавшие при армии кубанский атаман и правительство. Атаман сообщил мне, что его и председателя правительства ген. Краснов дважды телеграфно вызывал для подписания договора о Доно-Кавказском союзе. Я ответил:

— Против доно-кубанского единения и Доно-Кавказского союза в принципе ничего не имею. Но освободить Кубань, чтобы она стала в вассальную зависимость от Германии, я не согласен. Если угодно — поезжайте. Но тогда завтра же я сверну Добровольческую армию с екатеринодарского направления на Царицын.

С тех пор заседания ген. Краснова с двумя «правительствами» без «народов» хотя и продолжались, но не привели ни к каким результатам. По свидетельству кубанского представителя в Новочеркасске П. Макаренко, кубанцы под всякими предложениями уклонялись от окончательного решения вопроса и «вели двойную игру» — в Новочеркасске (П. Макаренко) и в Киеве (Рябовол) о федерации с Украиной и Доно-Кавказским союзом, используя в своих интересах и Украину, и Дон.

Отношения Дона с Украиной сильно портил вопрос о Таганроге. В округе имелась всего лишь одна донская станица, но он давал угля вчетверо больше, чем вся Донская область (81%). Поэтому — как докладывал впоследствии Кругу генерал Богаевский — «Дон в этом уступить не мог... Представителям германского командования было твердо заявлено, что дело может дойти до войны (с Украиной)*. Украина, в свою очередь, была заинтересована Таганрогом и Ростовом еще и как «мостом» на Кубань, где в кругах черноморских политиканов сильны были украинские течения. Под давлением немцев спор был разрешен в пользу Дона, и после этого между ним и Украиной завязались тесные политические и экономические отношения. Характерно, что и в этих «международных» договорах Дон обязывался не заключать союзов, могущих вредить Украине и центральным державам, и не оказывать помощи чехословакам.

Совершенно безнадежно обстоял вопрос о «примирении» Дона с большевиками. Немцы, к которым обращался атаман по этому вопросу, помочь Дону в этом отношении не могли и, как увидим ниже, не хотели. Два письма, посланные ген. Красновым к одному из большевистских «главоверхов», Иоозфовичу, по поводу прекращения «братоубийственной» борьбы, заключения торгового договора и т. д., не попали по назначению**. В Киеве «пан гетман обещал оказать всякое содействие к признанию (большевиками) самостоятельности войска Донского»***, но на украинно-большевистской конференции товарищ Раковский заявил категорически, что советское правительство рассматривает Дон как «восставшую область, входящую в состав советской республики, и считает ведение прямых переговоров с Доном оскорблением республики».

Наконец, союзники Дона, немцы, также не склонны были в споре между Советами и Доном становиться на сторону последнего. Мин. ин. дел Гинце в сентябре заявил в рейхстаге: «Мы деловым образом разрешили вопросы (донецкий уголь)... Но из этого не следует, что мы признали войско Донское как самостоятельную единицу»...

Эти бесплодные переговоры в русском обществе и в Добровольческой армии были поняты, однако, как уклонение от борьбы за Россию ценою спасения Дона.

Внутренняя и внешняя политика атамана создали ему сильную оппозицию в самых разнообразных кругах организованной общественности и личных врагов среди не удовлетворенных идейно или обойденных персонально верхов казачества. В рядах оппозиции нашли место социалистические думы Ростова, Нахичевана, Таганрога, профессиональные союзы, рабочая печать, к. д. партия и вся многочисленная русская интеллигенция, не разделявшая германофильской политики ген. Краснова или оскорбленная ее внешними проявлениями. На заднем плане донской оппозиции стояла вся масса иногородних — рабочих и крестьян, из которых первые только бурлили, вторые поднимали местные восстания, подавляемые казаками. В среде казачества у атамана были восторженные поклонники и ярые враги. Маятник колеблющегося отношения к нему раскачивался то в одну, то в другую сторону, главным образом, в зависимости от большего или меньшего успеха борьбы на фронте.

Показателем общественных настроений того времени могут служить отклики с разных сторон по поводу того злополучного письма императору Вильгельму, которое определило основные вехи донской политики.

* Доклад 17 августа 18 г.

** Атаман смешал его с ген. Юзефовичем, который жил на Кавказе и впоследствии поступил в Добровольческую армию.

*** Доклад ген. Краснова Кругу 17 сентября.

На совещании 26 июня донского атамана с представителями германского командования майор Кофенгаузен заявил, что «после того, что он слышал из уст атамана, германское правительство будет всячески поддерживать атамана, содействовать укреплению его власти в области... как путем морального воздействия на население, так и в смысле поддержки таковой реальной силой — оружием и войсками, во всем идя навстречу личным пожеланиям атамана»*.

Кадеты на Дону в вопросе о «неизбежности государственной самостоятельности областей и участия немцев» первоначально стали на точку зрения Милюкова... «Я лично употребил все усилия, — писал он 25 мая в главный комитет партии, — чтобы побудить наших партийных товарищей в Ростове и в Новочеркасске стать на эту точку зрения. Соответственная декларация была сделана партией народной свободы в заседании Ростовской городской думы»... Под влиянием дальнейших событий взгляд кадетов круто изменился, найдя некоторое отражение в переписке, веденной в июле между их «политическим другом справа» Родзянко и Красновым. Родзянко ставил атаману в вину признание им себя и областей Дону-Кавказского союза «вассалами германского императора», в «дележе исконных русских областей», в «способствовании дроблению отечества на части», в «предательстве Добровольческой армии», которая «никогда дружественной к немцам не будет и кровь которой проливается для упрочения какого-то нелепого самостоятельного союзного государства»**.

Ген. Алексеев отнесся к донской политике также с суровым осуждением. По поводу инструкции Черячукину он писал мне 26 июня (№ 59): «В лице ген. Краснова немецкие притязания нашли отзывчивого исполнителя... Побуждения этой инструкции слишком ясны... из рук немцев получить право называть себя «самостоятельным государством» и воспользоваться случаем округлить границы будущего «государства» за счет Великороссии... За эту измену Родине — позволяю себе так назвать эту инструкцию — немцы должны снабжать войско боевыми припасами, принадлежащими всей России»... Ген. Алексеев высказывал опасение, что «в скором будущем Донское и Кубанское войска могут рассматривать Добровольческую армию в виде «вражеской силы», и наше положение может сделаться в стратегическом отношении невыносимым».

Наконец, кн. Г. Трубецкой, делегат Правого Центра, стоявшего за связь с Германией и проводившего начала «реальной» политики в отношении к немцам, в своем послании в Центр 28 августа писал: «При (создавшихся) условиях политика Краснова в общем своем направлении не нуждается в оправдании... В сущности — чего стоят все эти обязательства? Как только обстоятельства изменятся и появится иная сила, так полетят и обязательства... Но форма, им усвоенная, невозможна. Он перестарался... Самый факт письма его к императору Вильгельму хуже его содержания»***.

По существу, вопрос донской политики расчленился на явления двоякого порядка.

Все эти уверения в преданности германскому императору; все символы суверенной государственности в виде «послов», гимна, флага, герба; все торжественные декларативные заявления от имени «государства», «народов», «демократической республики» о независимости от России не только в годы смуты, но и «на будущие времена»**** — казались только бутафорией, которая могла раздражать или волновать национально мыслящие элементы Юга. Но за нею скрывались реальные возможности действительно серьезного характера. Тесное сотрудничество с немцами укрепило положение последних, содействовало политике расчленения России и в случае продолжения войны разделяло противобольшевистские силы на два враждебных друг другу лагеря. «Независимость» имела естественным следствием переговоры о «мире с Москвой» и возбуждала в качестве иллюзии о возможности локализации борьбы с большевиками в пределах одного Дона — иллюзии, которые шли снизу, но находили отклик и нравственное обоснование в атаманских приказах, подрывавших импульс к борьбе за Россию и потворствовавших казачьему шовинизму. Так, в приказе от 30 сентября было сказано: «Защита границ Всевеликого войска Донского от натиска красногвардейских банд и освобождение Российского государства от кошмарного кровавого большевизма вынуждают меня вынести борьбу за пределы земли войска Донского... Принимая во внимание труды и кровавые жертвы, которые понесло Донское казачество... и обязанность его заняться строительством своей разоренной родины, я не считаю возможным привлекать к этой работе казаков». Задача эта возлагалась на формируемую из «русских» людей Южную армию.

Я не касаюсь внутренних побуждений, руководивших ген. Красновым в его кипучей работе по управлению краем. Но во всем, что он писал и говорил, была одна чисто индивидуальная особенность характера и стиля, которая тогда, в дни

* Выдержка из секретного протокола совещания, представленного на Круг управл. иностр. дел.

** Письмо атаману Краснову 28 июля и ген. Алексееву 29 июля.

*** Герцог Лейхтенбергский привез письмо в немецкую главную квартиру, но к императору допущен не был «по политическим соображениям».

**** Акт Соглашения Дона с Кубанью.

кровавой борьбы, приводила многих к полной невозможности отнестись с доверием к его деятельности...

Немцам он говорил о своей и Союза преданности им и о совместной борьбе против держав Согласия и чехословаков*.

Союзникам — что «Дон никогда не отпадал от них и что германофильство (Дона) — вынужденное для спасения себя и Добровольческой армии, которая ничего не смогла бы получить, если бы не самопожертвование Дона в смысле внешнего германофильства**».

Добровольцев звал идти вместе с донскими казаками на север, на соединение с чехословаками***.

Донским казакам говорил, что за пределы войска они не пойдут****.

Наконец, большевикам писал о мире*****.

Такая политика была или слишком хитрой, или слишком беспринципной; во всяком случае, для современников событий — не вполне понятной. Нам не пришлось увидеть и конечных достижений ее, ибо в октябре книга бытия внезапно оборвала свое повествование и перешла к новой главе, изменившей карту мира, перевернувшей все внешние декорации южно-русской борьбы, но не принесшей все же России желанного освобождения.

Глава X. ПРОТИБОБОЛЬШЕВИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИ РОССИИ: ПРАВЫЙ ЦЕНТР, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, СОЮЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ, СОЮЗ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И СВОБОДЫ (САВИНКОВ)

Со времени октябрьского переворота «русский вопрос» более, чем когда-либо в истории, потерял свое самодовлеющее значение в мировой политике, став производной в борьбе центральных держав с державами Согласия. Способом, средством, источником материальных и военных ресурсов. И только. Везде в доступных нам документах прямо или косвенно доминирует взгляд на Россию — исключительно как на фактор международной борьбы.

Германия стремилась к незамерзающему порту на Ледовитом океане, к невыезженным запасам Мурмана, Архангельска, Владивостока, к эксплуатации Запада и Юга России, к возвращению из Сибири и использованию 300—400 тысяч австро-германских пленных... Державы Согласия противодействовали ей путем оккупации Владивостока и сибирской линии, поддержанием чехословацкого движения, созданием Северного фронта и подготовкой Восточного.

Кроме известного уже нам воззвания союзных дипломатов в Вологде, и другие заявления их носили тот же двойственный характер, в котором доминировали цели международной борьбы. Так, на Дальнем Востоке осенью 18 года английская декларация, упоминая об «экономической помощи вашей разоренной и страждущей родине», объясняла цель предполагавшейся и не осуществленной интервенции желанием «помочь вам спастись от раздела и гибели, грозящих от рук Германии, которая старается поработить ваш народ и использовать неисчислимые богатства вашей страны». Французская декларация говорила также о помощи «здоровым элементам русского народа», но «непосредственной причиной» выступления называла «необходимость оказать помощь нашим союзникам, чехословакам». Резким диссонансом в союзническом аккорде прозвучало тогда только заявление Америки: «...вмешательство в дела России для нанесения удара Германии может скорее всего явиться способом использования России, нежели оказанием ей помощи». Со свойственной им прямолинейностью американцы заявили: «Главная забота Соединенных Штатов состоит в охране военного имущества, проданного Америкой России и находящегося в портах Владивостока, Мурмана и Архангельска».

Германия привлекала в свою орбиту явно Финляндию, Польшу, Украину, Румынию; тайно — русские противобольшевистские организации... Державы Согласия соперничали с ней в этом отношении, нимало не считаясь с интересами России. Был даже такой период с ноября 17 года по 19 февраля 18-го — день заключения Брест-Литовского мира — когда союзники готовы были признать фактически советское правительство, предлагая ему финансовую и техническую помощь — даже офицерским составом — для продолжения войны с немцами*****.

Немцы в этой игре победили. И союзные правительства решительно и то г-

* Письмо Эйхгорну.

** Миссия ген. барона Майделя в Яссы в начале августа 18 г. Доклад его от 4 ноября.

*** Письмо к ген. Алексееву 8 сент. и др.

**** Приказ от 30 сент. и др.

***** Письмо ген. Иозефовичу.

***** Обращение франц. посла Нюланса к Бронштейну. См. т. III, гл. XVIII.

да только окончательно* перестали смотреть на советскую власть как на возможное «средство» борьбы против центральных держав. Отнюдь не побуждениями альтруизма, а стечением обстоятельств союзники были отброшены в противобольшевистский стан, тогда как Германия, невзирая на внешние противоречия ее политики, до конца вооруженной борьбы поддерживала большевизм как благоприятный для себя фактор в политике и стратегии.

Ряд откровений германских и австрийских государственных деятелей в полной мере подтверждает это положение. Между ними идет спор о характере и степени виновности отдельных лиц, о большем или меньшем их даре предвидения, об истинных мотивах тех или иных дипломатических шагов. Но синтез всех этих откровений ясен и бесспорен:

1. В германском народе, правительстве, рейхстаге, прессе, командовании существовало два взгляда на роль России: одни в распадающейся великой стране видели неограниченные положительные возможности для германской нации, другие, наоборот, «усиление англо-саксонского мирового владычества» и угрозу бытию Германии.

2. С начала войны, в особенности же в 17 году, исторические перспективы значительно стуживались под влиянием интересов момента, и германская мысль единодушно работала в пользу всемерного ослабления России как влиятельного фактора борьбы, результатом чего явилась финансовая поддержка большевизма и Брест-Литовский мир.

3. В дальнейший период, когда психология «победителей» все больше и больше стала омрачаться тревожными предчувствиями, общественные и политические круги Германии вновь вернулись к историческому трактованию вопроса. Между правительством, говорившим об умеренности, и главной квартирой, настаивавшей по военным соображениям на политическом и экономическом разгроме России, возникли серьезные разногласия уже при заключении Брестского договора и особенно обострились при выработке «дополнительных (к нему) условий».

4. С весны 18 года, когда уже и на верхах германского командования повеяло дыханием катастрофы, когда обнаружилась ясно смертельная опасность большевизма и для Германии, роли переменились: германское командование на Востоке, поддержанное Мирбахом и затем Гельферихом, начало говорить о необходимости «более определенного отношения к советскому правительству», вплоть до его свержения. Хотя такой переворот в 1918 году представлялся немецким военным и государственным деятелям — и был в действительности — необыкновенно легким, он не нашел сочувствия в правительстве и поддержки в ставке. По словам ген. Людендорфа, разделявшего будто бы всецело этот взгляд, «правительство уверило его в том, что русская политика его отвечает настроению Германии... и он, «к несчастью, принужден был этому поверить».

Брест-Литовский мир со всеми вытекающими из него временными последствиями дали немцам большевики. Ни одна политическая группа, никакая иная русская власть не могли предоставить Германии более выгодных для данного момента условий.

Исходя из этого близорукого в историческом смысле положения, от начала и до конца, до своего падения, Германия твердо, определенно и без колебаний проводила в жизнь политику расчленения и разрушения России, поддерживая советскую власть во всем, что не противоречило ошибочно понимаемым германским интересам.

В то же время ответственные представители немецкой власти в Москве, Пскове, Киеве, Ростове входили в сношения с противобольшевистскими вождями и организациями и давали им неопределенные надежды... Эта двойственность — я не вхожу в обсуждение искренности отдельных немецких деятелей — приносила и приносит немецкому делу серьезные выгоды в моральном и практическом отношениях. В моральном — умеряя одним жестокой немецкой политики и создавая теории о «двух Германиях», подобно тому как впоследствии южно-русская действительность выдвинула легенду о «двух Англиях» — Ллойд-Джорджа и Черчилля... В практическом — создавая иллюзии в определенных кругах русской общественности и расколов противобольшевистский фронт на две мешавших друг другу, иногда враждебных «ориентации».

Вскоре после большевистского переворота в Москве образовалась конспиративная организация под названием «девятки». В нее вошли по три члена от к.-д. партии, Торгово-промышленного союза и Совета общественных деятелей. Впоследствии организация разрослась, получив характер коалиции консерватив-

* Впрочем, и позднейшие взаимоотношения с советской властью Локкарта (Англия), Садуля (Франция), Робинса (Америка) вызывали впечатление двойственной игры.

ных и либеральных общественных групп, с явным преобладанием первых, и приняв наименование Московского или Правого Центра*.

Целью организации было объединение несоциалистических элементов страны для борьбы с большевизмом. Такая широкая постановка вопроса, некоторое «полевение» и чувство одиночества и оторванности, испытанное правой общественностью в первый период революции, с одной стороны, «поправение», вызванное разочарованием и озлоблением либеральных кругов в отношении революционной демократии — с другой; наконец, присущий многим из членов центра страх за судьбы Родины заставлял идти вместе политически разнородные элементы организации. Но глубокие противоречия в политической и социальной идеологии тем не менее сказывались постоянно; и в неожиданно откровенных речах некоторых членов на общих заседаниях, и в работе комиссий, где готовились проекты государственного устройства, социальных реформ и экономического возрождения страны. Эти противоречия, сглаживаемые и смягчаемые при общих заседаниях, вполне ясно и откровенно раскрывались на частных собраниях членов Центра совместно с группами, им близкими, хотя и стоявшими официально вне организации.

Фактически вдохновителем Правого Центра был А. В. Кривошеин**, хотя он и не посещал общих заседаний, соблюдая крайнюю конспирацию и «по свойству своего характера избегая всего, что могло бы его связать и чем-либо компрометировать». Позднее такую же закулисную и весьма влиятельную роль он играл, переехав в Киев, в местных правых кругах.

Правый Центр имел в своем составе небольшой военный отдел, возглавлявшийся ген. Д. — человек 700—800, по преимуществу офицеров. За полным отсутствием средств эта организация фактически числилась только на бумаге.

В начале 18 года в Москве делались попытки объединения и левого крыла русской общественности. Но все переговоры между центральными органами к. д., н. с. и с.-р. относительно общей платформы и объединенных действий не привели ни к чему. Тогда некоторые лица приступили к созданию путем персонального участия внепартийной, с преобладающим, однако, социалистическим составом организации, которая и начала функционировать в апреле 18 года под именем Союза возрождения России***.

Союз ставил себе целью «воссоздание русской государственной власти, воссоединение с Россией насильственно отторгнутых областей и защиту ее от внешних врагов» при помощи союзников. Хотя, таким образом, основные цели Союза и Центра совпадали, но соглашения между ними не произошло. Главные причины расхождения социалисты видели в непримиримом отношении Центра к идее Учредительного собрания****, к народоправству и к выдвигаемому ими преобладающему значению местных самоуправлений. Что касается организации временной власти, то разница во взглядах была лишь в формах и источнике ее происхождения. Если Правый Центр мыслил ее в виде единоличной военной диктатуры, им подготовленной, то и Союз возрождения, по существу, не отрицая диктатуры (вместо единоличной — трехчленная директория), «в условиях того момента не видел возможности создания власти сколько-нибудь правильным демократическим путем»*****. Власть должна была явиться «сама собой, путем образования сильной группы лиц, которая и могла бы выделить из себя такую власть»*****.

Некоторая связь между Союзом и Центром тем не менее существовала. В состав обеих организаций с их ведома входили к. д. Астров, Степанов и Н. Щепкин с целью, кроме взаимного осведомления, «насколько возможно согласовать действия той и другой в наиболее ответственные минуты»*****; кроме того, существовала соединенная коллегия генералов (от Правого Центра ген. Цихович и адм. Немитц; от Союза — ген. Болдырев) для согласования «военных мероприятий» организаций.

Крупная буржуазия и торгово-промышленники, участвуя персонально в составе центров, отказываясь, однако, нести какие-либо жертвы ради борьбы с большевизмом, предпочитая сберечь свое достоинство для... советской экспроприации. Это обстоятельство сильно отразилось на организации. Без средств, без взаимного доверия и ясности во взаимоотношениях, а главное, без реальной силы — работа их протекала вначале вяло, не принося каких-либо результатов.

* В этом очерке я избегаю, где нет прямой необходимости, называть имена.

** Кривошеин Александр Васильевич (1858—1923) — помещик, один из учредителей Всероссийского союза земельных собственников. В 1920 г. возглавил в Крыму белогвардейское правительство. Эмигрант. (Прим. ред.)

*** Вначале союз этот называли Левым Центром.

**** Союз не считал возможным главенство старого Учредительного собрания.

***** Мякотин.

***** Доклад Титова 21 июня 1918 г. И среди кадетов были течения в пользу коллективной власти, избранной на собрании представителей партии и общественных организаций.

***** Записка Астрова. (Астров Александр Иванович — профессор Петровской сельскохозяйственной академии, член московского отделения Национального центра. Готовил к приходу Деникина восстание в Москве. — Прим. ред.)

В начале июня в московских организациях произошел окончательный раскол на почве внешней «ориентации».

Еще в апреле в среде членов Правого Центра наметилось сильное германофильское течение*, находившее благодарную почву в полной пассивности союзников; начались частые встречи и деятельные сношения членов Центра, сначала по собственной инициативе, потом по поручению президиума, с второстепенными представителями германского посольства. Официально эти собеседования имели целью «выяснить, каковы действительные намерения Германии в отношении России; является ли Брестский договор окончательной основой, на которой Германия имела в виду и в дальнейшем построить свои взаимоотношения с Россией, или же этот договор есть только тактический шаг со стороны Германии, путем которого она обеспечивала себе возможность использовать то положение, которое создано в результате захвата власти большевиками»**.

В основу официальных переговоров были положены три условия: «1) восстановление единства России, нарушенного в результате отторжения губерний юго-западного края, 2) создание национальной государственной власти, независимой (?) от Германии и 3) коренной пересмотр Брестского договора»***. Взамен этого немцам предлагался нейтралитет и «экономические преимущества».

Большинство Центра стояло на той точке зрения, что «немцы, завладевшие значительной частью России и распространяющие свое влияние на новые области, представляют столь реальную и мощную силу, что не считаются с ними вовсе значило бы не признавать фактов... Этот фактор будет определять в ближайшее время ход событий в России... между тем как разобщенность с союзниками делала затруднительной или прямо невозможной их помощь России»****.

Самый факт переговоров с немцами был облечен большой тайнственностью, и результаты их не выносились на общие заседания. Германофобское меньшинство узнавало о них лишь случайно. Но, помимо официальной идеологии, большинство Правого Центра обладало еще другой, не выносившейся на общие заседания и в декларации. «Разница была в том, — говорит кн. Г. Трубецкой, — что для меня каждое из этих (трех) условий**** было *conditio sine qua non*, между тем (как) большинство из тех, кто стоял на желательности переговоров с немцами, заранее уже готово было идти на уступки. Это были люди, которые так мрачно смотрели на положение, так разуверились в возможности для нас предпринять что-либо без посторонней помощи, что они готовы были всем пожертвовать, лишь бы немцы освободили нас от большевиков». Еще резче определял настроение Центра командированный ген. Алексеевым в Москву А. Ладыженский (правый): «В победе Германии (они) почти не сомневаются. Считают, что лучше сейчас войти в переговоры, чем после завершения событий на Западе. Полная неосведомленность о том, что там происходит. Предположения построены отчасти на шкурных классовых интересах, жажде власти, монархии во что бы то ни стало, отчасти на неверных сведениях, которыми питается сейчас Москва берлинским агентством»*****.

Вскоре вопрос о Восточном фронте заставил все группировки окончательно выяснить свои «ориентации».

Двумя телеграммами из Парижа В. Маклаков***** сообщал в Москву, что союзники решили восстановить Восточный фронт путем высадки союзных войск, преимущественно японских, во Владивостоке и продвижения их к Уралу и Волге. Маклаков горячо убеждал Центр, что это — «единственный способ спасти Россию от власти, созданной Германией, и от окончательного расчленения»... «Японцы не потребуют территориальных уступок... союзники никаких новых тягот на Россию не наложат»... Наконец, что цель предстоящей интервенции исключительно «защитить Россию от наложившей на нее руку Германии, дать ей свободно организовать и оказать ей экономическую поддержку». Из других источников стало известным, что на конференции союзников при уклончивом отношении Америки постановлено было послать в Сибирь общесоюзную армию в 100 тысяч человек, из которых 60 тысяч японцев.

Почти в то же время, в конце мая, прибыл в Москву ген. Казанович, сделал Центру доклад о судьбе Добровольческой армии и от имени ген. Алексеева и моего заявил в резкой и категорической форме о неприемлемости для армии какой бы то ни было совместной с немцами работы.

2 июня по этим вопросам состоялось заседание Правого Центра. Представители большинства доказывали возможность воссоздания России немецкими ру-

* В том числе Кривошеин.

** Доклад Правого Центра от 14 июня 18 г.

*** Там же.

**** Там же.

***** Там же.

См. выше. Трубецкой считал необходимым при помощи Германии собрать на Украине русские силы, «ибо освобождение Москвы и России могло быть сделано только русскими руками».

: Доклад без даты от начала июня.

***** Маклаков Василий Александрович (род. в 1870 г.) — московский помещик, кадет, с июля 1917 г. посол в Париже. (Прим. ред.)

ками, гибельность для интересов страны японской интервенции, практическую неосуществимость создания в серьезном масштабе Восточного фронта; наконец, указывали на новые «тяжелые бедствия, которые выпадут на долю России в результате столкновения двух армий на линии Волги»... Меньшинство, учитывая все трудности, считало, что Восточный фронт облегчит объединение и восстановление русских сил, между тем как «соглашение с Германией грозит России полным поражением и угнетением национального духа»... И обе стороны не договаривали о своих затаенных надеждах на победу: одни — германцев, другие — союзников.

Нет сомнения, что на решение вопроса повлияла и та общая концепция, которая связывала с Германией идею реакции или, во всяком случае, монархической реставрации, с Соглашением — торжество либерализма или республиканского строя. Наконец, идейное расхождение двух групп центра по мере усиления его правого крыла становилось все более резким и отношения все более неискренними.

8 июня группа кадетов и примыкавших к ним * вышла из состава Правого Центра. Раскол не вызвал вражды, скорее — сожаление. На последнем совместном заседании представители среднего течения «свободных рук», князь Трубецкие (Г. Н. и Е. Н.)**, особенно ярко переживавшие события, горячо убеждали кадетов, что не настало еще время ставить вопрос на окончательное решение, призывали к терпимости...

— Я еще не хочу выходить ни на тот, ни на другой берег, — говорил, волнуясь, Е. Н. Трубецкой. — Для России еще неясно, где ее спасение ***...

Раскол Правого Центра имел существенные последствия, произведя резкую дифференциацию сил, внося еще большую ясность и определенность в политической облик организации.

Правый Центр пополнил свой состав представителями союза земельных собственников, церковно-приходских и крайних правых московских организаций****. Его лозунгами стали — монархия (для меньшинства — конституционная), реакция (для меньшинства — «социальные реформы») и союз с немцами. Существовала, между прочим, идея обращения к патриарху, который «при помощи созданного на персональных началах Земского Собора» должен был провозгласить царем вел. кн. Михаила Александровича.

Интересно, что в вопросе о союзе с немцами тактика Центра допускала известную двойственность. Так, в послании своем в Киев и на Юг***** Центр подчеркивал, что «предположенные разговоры с представителями Германии не должны влиять... на отношения Центра к союзникам, с которыми несомненно должно поддерживать связи»... В ответе на телеграмму Маклакова, предназначенном для союзников*****, говорилось о тяжелой необходимости совместной работы с немцами, но тем не менее... «мы остаемся верными нашим союзникам, каковыми мы всегда и были... Ужели можно допустить, что мы виновны в симпатии к немцам?..» В этом направлении делались и более реальные шаги: делегация Центра***** обратилась к французскому генеральному консулу в Москве Гренару, убеждая его в том, что Россия бесповоротно вышла из войны; что без согласия немцев немыслима перемена положения, что национальная власть, которая возникнет, не будет германофильской, и что самим союзникам выгодно вывести Россию из состояния хаоса...

«Этого у нас не поймут, — ответил консул. — И всякое правительство, которое образуется при содействии Германии, не будет нами признано...»

Группа, отколовшаяся от Правого Центра, создала новую организацию — Национальный Центр. Это был типичный союз русских либералов, по составу и политической программе почти однородный — кадетский***** по «ориентации» ярко германофобский и союзнический.

Национальный Центр порвал сношения с Правым Центром, вступил в тесную связь с Союзом возрождения и обратился к ген. Алексееву с просьбой принять звание своего председателя. В комиссиях Национального Центра шла большая подготовительная работа по восстановлению государственно-правовой жизни

* Кадеты Федоров, Астров, Степанов и др.; Струве, Белоруссов и др.

** Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920) — один из идеологов русского буржуазного либерализма, философ, активно сотрудничал с Деникиным. Трубецкой Григорий Николаевич — по убеждению монархист. (Прим. ред.)

*** Записка Астрова.

**** Шпринский-Шахматов, Рогович, Нейдгарт, Трепов... Крайние правые делали попытки самостоятельных переговоров с немцами, но встретили отрицательное к себе отношение.

***** От 12 июня.

***** От 7 июня.

***** Кн. Г. Трубецкой.

***** По определению одного из учредителей: «вездесущие кадеты, левые октябристы, правые торговопромышленники и прозревшие социаллисты» (Онипко, Алексинский, Савинков...).

ни — по схемам, принятым на предыдущих кадетских съездах. В частности, в основание разработки двух важнейших вопросов — аграрного и рабочего — положены были следующие общие начала: первого — частная собственность и «разрыв с народническими реминисценциями»; по второму — «денационализация, де-социализация, но бережное обращение с правами рабочих организаций и союзов». Вообще же все эти вопросы не становились общественным достоянием, не выносились из заседаний комиссий обеих групп и не влияли поэтому на их взаимоотношения. Вопрос же о создании временной национальной власти встретил крупные разногласия и в результате длительных споров привел к компромиссу: Союз согласился на созыв нового Учредительного собрания, а Центр принял предложенную Союзом форму временной власти в виде трехчленной директории. Уступка эта со стороны Центра имела чисто тактическое значение — «чтобы раньше времени не порывать с ними», тем более что, как откровенно писал на Юг член бюро Центра Степанов, не было сомнения, что «директория сама собой превратится в единоличную власть». В состав директории по предположению организаций должны были войти один генерал, один социалист и один не-социалист. Союз Возрождения намечал для этой цели из не-социалистов Астрова, Милюкова или Набокова, из социалистов Авксентьева *. Национальный Центр воздержался от обсуждения этого вопроса, вызывавшего принципиальное сомнение, «стоит ли давать в эту неустойчивую комбинацию имена сколько-нибудь ценные, а тем более столь ценные, как те, что и м и называются»...

Окончательной формы правления в России обе организации не предприняли, но «носили в сердце своем». По этому вопросу Национальный Центр писал В. Шульгину: «Ваши друзья близки Вам в своем отношении к вопросу о монархии... Но... провозглашение монархической идеи при настоящих настроениях было бы преждевременным. Движение на Волге, движение масс в больших центрах не были бы увлечены и подняты теперь провозглашением монархии»...

Уклонявшиеся до тех пор от каких-либо обязательств союзники, настаивавшие на согласовании действий Национального Центра и Союза возрождения, теперь оказали им крупную денежную помощь, оживившую сильно деятельность организаций; союзнические миллионы пошли на политическую работу центров, открытые провинциальных отделений и отчасти на образование каждым из них вооруженной силы, преимущественно офицерского состава. Распределение сумм делалось по соглашению между президиумами, причем последние относились крайне ревниво к своему приоритету, препятствуя между прочим непосредственному субсидированию союзниками Добровольческой армии. Большие союзнические деньги через центры или, может быть, непосредственно шли на содержание всяких контрразведок, которые, как выяснилось впоследствии, работали одновременно на союзников, на немцев, давали сведения и московским центрам, и армии. В списках агентов я, к своему удивлению, нашел имена лиц, принимавших сомнительное участие в корниловском выступлении.

В официальном своем сообщении, адресованном объединенным организациям, московские представители союзников торжественно подтверждали принцип неприкосновенности русской территории, укрепляли надежды на скорое создание Восточного фронта, обещали экономическую помощь России, обязывались не вмешиваться во внутреннюю русскую политику и не оказывать давления на осуществление той или другой формы правления.

Восточный фронт, однако, оставался только миражом. Манящим для одних и тревожным для других. Японская армия, «готовая уже в феврале, ожидала окончания переговоров союзников, чтобы выступить», но переговоры сильно затягивались благодаря подозрительности Америки и колебаниям прочих членов Согласия.

Они выжидали.

«Вторая Марна» (июль 18 года) и затем отступление в августе обескровленных германских армий открыло новые радужные перспективы державам Согласия, отравив их внимание от бесконечно удаленного Восточного фронта. Но подобно тому, как это делали немцы, представители союзников — одни сознательно, другие по неосведомленности — долго еще гальванизировали в русском обществе идею союзнической интервенции и помощи просто только в противoves германофильским влияниям.

Нужно заметить, что меньше всего иллюзий возбуждало образование Восточного фронта в командовании Добровольческой армии. И генерал Алексеев, и я относились скептически к серьезности и искренности желаний союзников помочь нам живой силой. В самый разгар переговоров об интервенции, в конце июня, ген. Алексеев писал мне о своих сомнениях — о том, что у союзников «сознания безусловной необходимости этого фронта не существует... что между (ними) не только нет искреннего доверия друг к другу, но напротив — политическая подозрительность поставлена выше стратегических соображений».

* Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943) — активный деятель партии правых эсеров. (Прим. ред.)

«Для нас, — продолжал он, — более важны пока не будущие войска, а чехословаки, ополчения Сибири, Оренбурга, Урала...»

Отдельно от политических центров стоял Б. Савинков.

Приехав в Москву в качестве члена при «донском триумvirате», снабженный удостоверениями ген. Алексеева, он широко использовал свое новое положение. Вместо «привлечения на Дон некоторых известных демократических деятелей», как формулирует Савинков данное ему поручение, он предпринял самостоятельную организацию в Москве, прикрываясь именами генералов Корнилова и Алексеева и отвлекая тем силы от Добровольческой армии.

Его неукротимая энергия, его кипучая деятельность и безграничное дерзание сопровождалось явным успехом. Ему удалось найти доступ к союзникам — до тех пор глухим ко всем призывам Правого Центра и Союза возрождения — и, что еще важнее, получить первоначально от Массарика, потом и от союзников серьезную денежную поддержку. Офицеры шли в организацию — не к Савинкову, а «на зов» генералов Корнилова и Алексеева. Без большого труда Савинкову удалось вызвать раскол в военной организации Правого Центра ген. Д., смущенной германфильством своих руководителей, и привлечь часть их на свою сторону.

Пополненная, таким образом, почти исключительно офицерством савинковская организация приняла название «Союз защиты Родины и Свободы» и к концу мая, по его словам, насчитывала до 5½ тысяч человек*, разбросанных, однако, в Москве и в 34 провинциальных городах.

Такая численность была, очевидно, слишком ничтожной; но это была единственная реальная сила в центре страны, и Савинков умел имплонировать ею и союзникам, и политическим организациям. До такой степени, что когда в середине апреля прибыл в Москву представитель ген. Алексеева полковник Лебедев и сделал попытку объединить вокруг имени его и Добровольческой армии московское движение, он встретил категорическое требование союзников «равного участия Савинкова не только в политической, но и в чисто военной стороне предприятия». Лебедев вынужден был поэтому устраниваться от участия в работе.

Однако политическое одиночество Савинкова препятствовало широкому развитию дела, тяготило его и смущало союзников. Так как с Правым Центром у Савинкова не могло быть ничего общего, а левый (Союз возрождения) не говорил о нем иначе, как «со скрежетом зубовным», естественным было его обращение в Национальный Центр, который встретил сочувственно предложение и возглавил савинковскую организацию.

Савинков, по несчастью, счел возможным взять на себя и роль полководца**, проявив при этом совершенно неожиданные стратегические соображения. Одновременно с организованным им покушением на Ленина и Троцкого в Москве предполагалось выступить в Ярославле, Рыбинске, Муроме, Владимире и Калуге, «окружив столицу восставшими городами и пользуясь поддержкой союзников на севере и чехословаков, занявших Самару (8 июня), на Волге... Союзники, высадившись в Архангельске, могли без труда занять Вологду и, опираясь на взятый нами Ярославль, угрожать Москве»***.

Выступление было назначено в ночь с 5-го на 6 июля.

Для характеристики этого плана нужно добавить, что Савинков имел тесную связь с союзными посольствами, своих разведчиков в большевистском штабе и германском посольстве, следовательно, был в курсе военной обстановки, «ежедневно получая сведения о передвижениях немецких и большевистских войск», что высадка англичан в Архангельске произошла только 2 августа и что по железной дороге от Архангельска до Ярославля 787 верст, а от Москвы до Самары — 993!..

Национальный Центр усомнился, правда, в целесообразности выступления, явно не подготовленного. Но Савинков ответил, что «конспирация не может оставаться в бездействии долее определенных сроков... Отсрочка поведет к разложению и провалу... Операция, правда, не совсем подготовлена, но французы торопят, а действия, раз начавшись, могут развиваться стихийно и восполнить пробелы»****.

Так как Савинков уверил Национальный Центр, что он действует с полного согласия ген. Алексеева, то Центр предложил ему при занятии той или иной местности распространять воззвания от имени «Северной Добровольческой армии, подчиненной ген. от инфантерии Алексееву»*****...

* По сведениям штаба Добровольческой армии фактически было 2—3 тыс.

** В брошюре Савинкова «Борьба с большевиками» он подчеркивает свою роль, как руководителя операции в рассуждениях, чрезвычайно наивных с военной точки зрения.

*** «Ярославль держался 17 дней, — добавляет Савинков, — время, более чем достаточное для того, чтобы союзники могли подойти из Архангельска».

**** Записка Астрова. Те же мотивы приведены были ближайшим соучастником Савинкова — Дингоф-Деренталем в «Отечественных ведомостях».

***** Доклад Белоруссова.

6 июля состоялся ряд выступлений в Ярославле, Рыбинске, Муроме, окончившихся кровавой расправой большевиков с беззащитным населением, гибелью множества офицеров и разрушением всей организации.

Когда в июле в Москву отправлялся полковник Новосильцев*, ген. Алексеев в числе других поручений дал ему указание «предостеречь офицеров в Москве от организации и советовать им из центра уезжать на Дон, на Волгу, в Сибирь, только не сидеть на месте и не ехать на Украину, ибо в центре их ожидает гибель или привлечение в красную армию». Обращение в этом духе, от имени ген. Алексеева, подписанное Новосильцевым и Ладыженским**, появилось действительно, вызвав сильный гнев Национального Центра. 22 июля Центр писал ген. Алексееву: «Мы считаем это (обращение) вредным и способным породить недоразумения. В нем говорится, что всякая организация офицерства помимо Добровольческой армии является авантюрой. Это не так. Нам на Севере необходимо иметь наши русские отряды (Савинкова?), которые действовали бы в общем согласованном с союзниками плане, были бы опорой для Севера и составляли бы часть армии, находящейся под Вашим общим руководством».

Тем не менее легенда о сотрудничестве Савинкова с ген. Алексеевым пустила глубокие корни, попадая часто в печать и сильно нервирова генерала. Чтобы положить конец этим слухам, ген. Алексеев по поводу одной довольно безобидной газетной заметки составил собственноручное опровержение, носящее следы большого раздражения: «Никакого представителя Б. В. Савинкова в Екатериноде не было, а потому... никакой беседы быть не могло. Сам Савинков по многим обстоятельствам в район Добровольческой армии прибыть не может, и прибытия его никто не ожидает... Помещение подобных заметок может нанести несправимый вред Добровольческой армии»***.

Савинков после неудачного выступления побывал в Сибири и, не встретив там признания, уехал в Париж.

Глава XI. GERMAНОФИЛЬСТВО ПРАВОГО ЦЕНТРА И МИЛЮКОВА. ГРУППА ШУЛЬГИНА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СОЮЗНИКАМИ. РОЛЬ ОФИЦЕРСТВА

Сношения Правого Центра с немцами после раскола его продолжались, не приводя, однако, ни к каким результатам. Немецкие дипломаты не лишали своих собеседников надежд, но и не давали никаких положительных обещаний. В официальном обзоре от 14 июня своих сношений с немцами Центр суммировал высказанные ими положения:

«В Германии — в правых и военных кругах — имеется сильное течение в пользу установления в будущем добрососедских отношений к России, в результате — восстановление ее единства и мощи... Возможен поэтому пересмотр Брестского договора... Однако успех подобной политики зависит от того, насколько широко и авторитетно будет течение в самой России за прекращение недоброжелательного отношения к Германии. Представители посольства явных признаков такого течения не различают. Большинство общественных кругов... продолжает видеть спасение России в победе союзников и отрицает возможность какого-либо соглашения с немцами».

В сухом и бесстрастном циркуляре Центра как будто звучал укор столь непрактичному проявлению общественного настроения. Составители циркуляра не подметили того бездонного цинизма, с которым представители страны, свергнувшей Россию в бездну и не сделавшей еще ни одного шага к облегчению ее трагического положения, смели ожидать доверия и расположения к себе. Уподобляя великий народ побитому псу, лижущему ноги господина, в надежде на милость его и крохи с господского стола.

Кроме тех «неофициальных» разговоров, которые весьма часто вели с немцами члены Правого Центра в порядке дружбы и знакомства, президиум уполномочил вести переговоры бар. Б. Нольде и кн. Г. Трубецкого. Последний должен был посетить Дон и Добровольческую армию в поисках русской военной силы, а также Киев, где, как предполагалось, достаточно подготовлена почва для соглашения с немцами — правыми кругами и... неожиданным союзником Правого Центра Милюковым.

Милюков во время господства на Дону большевиков скрывался в Ростове. После освобождения города немцами он жил там еще около месяца. Нас — в Мечетинской**** — глубоко поразила статья, появившаяся в «Приазовском крае» за подписью Оргина. Если не в авторе, то в главном персонаже ее, от имени ко-

* Б (Бывший — Прим. ред.) председатель офицерского союза.

** Командирован одновременно с ген. Казановичем.

*** Отзыв редактору «Нубанского края» 31 августа 18 г. № 312.

**** Стоянка штаба Добровольческой армии.

торого шла речь, — маститом вожде — мы узнали без труда П. Н. Милюкова, проповедующего... соглашение с немцами.

Эту идею Милюков настойчиво и страстно стал проводить и в письмах к ген. Алексеву. Они производили тяжелое впечатление. Мы дважды приглашали его приехать в Мечетинскую, приобщиться хоть немного к нашей жизни и уяснить себе психологию добровольчества и его вождей. Почему-то, однако, Милюков к нам не приехал, а в конце мая отправился в Киев.

Интересно, что такой крутой перелом в мировоззрении Милюкова произошел на протяжении всего только двух недель. 3 мая еще он писал ген. Алексеву: «Я был страшно огорчен появлением в Ростове добровольцев (отряд полковника Дроздовского) вместе с германцами, развернувших трехцветный национальный флаг рядом с германской каской. На словах можно сколько угодно отрицать связь с германцами; но связь сотрудничества фактического остается и подкрепляет всю ту ложь и клевету, которая распространяется по поводу Добровольческой армии»... Единственный выход из создавшегося положения он видел в том, чтобы ген. Алексеев «как можно скорее и резко отгородил свой и наш почин от их неудачного продолжения, для чего необходимо «формально распустить Добровольческую армию, объявив для всеобщего сведения, что сражаться рядом с германцами даже против большевиков Вы не пойдете». «Дальнейшее размышление» привело Милюкова к другому заключению: на случай «невмешательства немцев в наши внутренние дела» необходимо, чтобы ген. Алексеев и его сотрудники «не покидали Добровольческой армии и чтобы она сама не расходилась и продолжала существовать как часть армии Донской области»... А 19 мая Милюков перешел к третьему варианту и убежденно доказывал: «Закон самосохранения для нас теперь — высший закон... Никакие договоры не могут сохранять силы при таком изменении обстановки... Союзники несут долю ответственности вследствие своей переоценки значения и излишней снисходительности к тенденциям наших левых течений... Германцы хозяева положения и заинтересованы в том, чтобы государство было восстановлено... Они дорожат нашим единством и царем»... И как вывод: «Нужно вступить в переговоры с немцами, принять их поддержку и спешно освободить Москву»; при этом немцы «должны перевести армию до крайнего возможного пункта... отказавшись (сами) от вступления в Москву»...

Можно отнестись различно к германофильским течениям в русских интеллигентских кругах в 1917—1918 годах, с точки зрения национальной и этической. Но одно бесспорно, что они были бесполезны и в смысле государственном — бесполезны.

Жизнь шаг за шагом разбивала иллюзии.

Немцы неожиданно и резко порвали сношения с Милюковым, и гетман, очевидно, под их давлением, поставил перед своим правительством категорически вопрос о высылке Милюкова из Киева. Совет министров почти единогласно отказался выполнить это требование, но Милюков, не желая быть причиной министерского кризиса, уехал добровольно в деревню, в Черниговскую губернию.

Никакого ответа не последовало и на записку кн. Г. Трубецкого.

Были и другие симптомы, более внушительные.

16 июля произошла екатеринбургская драма, и глубоко возмущенная общественная совесть винула в этом злодеянии германскую власть, имевшую неограниченное влияние на Совет комиссаров и не пожелавшую воспользоваться им для спасения царской семьи...

В Москве и центральной России свирепствовал жестокий террор, обрушившийся с особенной силой на голову несчастного офицерства. В разгроме некоторых московских военных организаций явно было сотрудничество немцев с большевиками. Конспирирующая Москва волновалась, возмущалась, называла имена*... Когда гетманское правительство сочло необходимым заявить в Берлине протест против большевистского террора, германский министр иностр. дел Гинце ответил: «Императорское правительство воздержится от репрессивных мер против советской власти», так как то, что делается в России, «не может быть квалифицировано, как террор»; происходят лишь «случаи уничтожения попыток безответственных элементов... провоцирующих беспорядок и анархию»**. Да и как было вступить немецкому правительству, когда в Москве его представители — старший советник посольства Рицлер и начальник контрразведки Мюллер — находились в тесном сотрудничестве с Караханом и Дзержинским и снабжали их «списками адресов, где должны были быть обнаружены преступные воззвания и сами заговорщики... против советской власти»***... При свете этих позд-

* Отголоском разгрома правой организации было дело ген. Дрейера на Юге России, обвиненного офицерством в выдаче организации немцам, преданного полковому суду и оправданного за недостатком улик.

** Телеграмма украинского посла барона Штейнгеля из Ферлина от 28 сентября.

*** «Красная книга». Офиц. большев. издание. (Красная книга ВЧУ. Под ред. П. Манициана Т. 1. М., 1920. Деникин вольно цитирует и трактует источник — показание Ф. Дзержинского. Вот что сказано в книге: «...Приблизительно в половине июня т. г. мною были получены от тов. Карахана сведения, исходящие из германского посольства,

них откровений какая жуткая роль приходится на долю руководителей противобольшевистских организаций, работавших в контакте с немцами!..

Убийство Мирбаха и Эйхгорна не вызвало охлаждения в отношениях немцев к большевикам. Наоборот, 16 августа Германия заключила с советской Россией «дополнительное соглашение» к Брест-Литовскому договору. Это соглашение, как известно, окончательно закрепило распад России и экономическую кабалу ее ценой признания Германией советской власти, политического и военного сотрудничества с нею.

Большевизм, переживавший тогда тяжелые дни, был спасен. Государственные деятели Германии не могли отрешиться от своей роковой политики в отношении России даже в ту пору, когда стало очевидным, что над их страной нависает катастрофа, война кончается и пора подумать о будущих связях соседних народов, так безумно, так нерасчетливо напоенных несмываемой обидой и органической ненавистью. Ибо тогда уже вожди германской армии заявили открыто императору и правительству, что в о й н о й нет более никаких надежд добиться м и р а *.

Как ни предусмотрительна и сурова была немецкая цензура и благоприятствующая ей большевистская, сведения об истинном положении дел на фронте мировой борьбы проникли в Россию, отражаясь на общественных настроениях и способствуя значительно ослаблению германофильских течений. И кн. Г. Трубецкой, принявший на себя не без внутренней борьбы неблагодарную и лично для него тяжелую роль, побывав на Украине, на Дону и приехав в Добровольческую армию, доносил Правому Центру **: «Эта тенденция — невозможность каких-либо соглашений с немцами — настолько бесповоротна, что об этом не стоит начинать разговора ни с одним вождем Добровольческой армии. Но я этого не делал и по другим причинам... Не опасаясь упреков, которые навлекли на себя, мы останавливались и на возможности соглашения с Германией, как на самом безболезненном решении вопроса. Наша совесть чиста, но упорствовать дальше на комбинации неосуществимой невозможно»...

В Киеве обособленно от правых организаций стояла группа В. Шульгина. Не политическая партия, не организация — именно группа единомышленников, имевшая, однако, серьезное влияние в киевских буржуазных и военных кругах ***.

Едва ли не с наибольшей страстностью, с пылом и прямолинейностью группа Шульгина проповедовала три основных своих лозунга — борьбу с большевизмом, верность союзникам и монархию. Монархию безоговорочную, немедленную, открыто исповедуемую. Для Шульгина и его единомышленников монархизм был не формой государственного строя, а религией. В порыве увлечения идеей они принимали свою веру за знание, свои желания за реальные факты, свои настроения за народные. На Юг шли послания, доклады, сводки, в которых яркими красками изображался рост монархического движения в стране. Шульгин осуждал постоянно политику руководителей Добровольческой армии, убеждал друзей, что «скоро в России не будет никаких республиканцев», и просил «разъяснить руководителям армии, что никакие воззвания с Учредительным собранием и народоправством не привлекут в армию никого»... Вместе с тем Шульгин настаивал на сосредоточении в руках его организации распределения в Киевском центре пополнений для всех противобольшевистских армий.

Эти послания получали распространение на Юге, оказывая известное влияние на офицерство и на самого генерала Алексеева. В письме его к Шульгину я нашел впоследствии следующие фразы: «Относительно нашего лозунга — Учредительное собрание — необходимо иметь в виду, что выставляли мы его лишь в силу необходимости. В первом же объявлении, которое нами будет сделано, о нем уже упоминаться не будет совершенно. Наши симпатии должны быть для Вас ясны, но проявить их здесь открыто было бы ошибкой, т. к. населением это было бы встречено враждебно. От прежнего лозунга мы отказываемся. Для объявления же нового нужны соответствующие обстоятельства и прежде всего подвластная только нам территория. Это будет, как только мы перейдем к нашим активным планам» ****...

Шульгин видел в соглашении с немцами — новое и окончательное закрепление России, а в восстановлении монархии немецкими руками — национальное бедствие: «Монархия и династия будут тогда окончательно скомпрометированы»... Шульгинская группа твердо настаивала на легитимном принципе ***** , но тот-

подтверждающие слухи о готовящемся покушении на жизнь германского посла и о заговоре против Советской власти. Членами германского посольства был дан список адресов, где должны были быть обнаружены преступные воззвания и сами заговорщики». (Прим. ред.)

* Конференция в Спа 2 августа.

** Доклад от 29 августа.

*** На выборах в украинское Учредительное собрание группа Шульгина получила в Киеве 25 428 голосов.

**** Ответ на письмо от 5 июня.

***** Крайняя правая и Правый Центр считали необходимым восстановить на престоле императора Николая II, часть Правого Центра, Национальный Центр и Милюков склонялись к кандидатуре в к. Михаила Александровича.

час же под давлением чрезвычайных условий жизни вступала с ним в резкое противоречие: акты 2 и 3 марта * непрерываемы — говорили они — отсюда связанность Михаила Александровича словом в отношении Учредительного собрания. Тяжелая болезнь и вообще неопределенность судьбы цесаревича Алексея Николаевича... «Личные качества» других законных преемников... Как выход Шульгин предлагал весьма сложную систему «добровольных (?) отказов менее подходящих кандидатов, пока престол не перейдет к лицу, более или менее известному населению или, во всяком случае, не возбуждающему нежелательного противодействия»...

В качестве технического аппарата группы Шульгин основал конспиративный орган под названием «Азбука». Вначале этот орган черпал средства для своего существования исключительно из частных источников; в июле 18 года, порвав с Правым Центром ввиду его немецкой ориентации, Шульгин вошел в тесную связь с Национальным Центром, и «Азбука» получила при посредстве последнего крупное пособие из сумм, отпускаемых союзниками; перенеся впоследствии свое ядро в Екатеринодар, «Азбука» стала одним из осведомительных органов Добровольческой армии, и с февраля 19 года содержание ее было отнесено на кредиты штаба. В киевский период своей деятельности «Азбука», по словам Шульгина, ставила себе весьма широкие задачи: политическую и военную разведку в отношении большевиков, немцев и Украинской республики; вербовку в противобольшевистские армии; участие в организации вооруженных восстаний и выступлений против большевиков; связь и информирование лиц императорской фамилии, московских Центров и Добровольческой армии.

Действительно, «Азбука» давала армии весьма большой и ценный разведочный материал, преимущественно о политическом и военном положении на Украине. Но вместе с тем страстная проповедь ее «немедленного поднятия монархического флага» нарушала душевное равновесие киевского и добровольческого офицерства и, как увидим ниже, сильно затрудняла позицию командования.

Что касается общей ориентировки, выходящей за пределы Украины, осведомленность «Азбуки» не шла далее слухов. Это обстоятельство в связи с поисками обстановки, наиболее отвечающей политическим убеждениям членов шульгинской группы, лишило ясности и определенности ее ближайшие задачи. Так в июне — июле Шульгин задумал перебрасывать офицеров и переезжать со своей организацией в Архангельск к ген. Пулю, который по сведениям «Азбуки» был назначен главнокомандующим всеми союзными войсками Восточного фронта; потом собирался и за Волгу — причем во главе направляемых туда сил должен был стать «выдающийся киевский генерал», а Шульгин — его «помощником по гражданской части»; писал и в Сибирь адмиралу Колчаку, считая его главою сибирского правительства, и предлагал перебросить туда свою организацию и 20—25 тысяч офицеров для борьбы против немцев и большевиков, но непременно «под открытым монархическим знаменем»; наконец, в конце июля в штабе Добровольческой армии получена была телеграмма, что организация Шульгина переезжает на Дон, в распоряжение ген. Алексеева, «вследствие невозможности пробиться в другие районы, стеснений, чинимых на Украине, и требования немцев гетманскому правительству образовать на Украине концентрационные лагеря»...

Все группы и организации вместо материальной помощи присылали нам горячие приветствия — и письменно, и через делегатов, — и все пытались руководить не только политическим направлением, но и стратегическими действиями армии. Планы предлагались самые разнообразные. Так, например, Шульгин писал в конце мая: «Мое мнение — нужно узнать, чем дышит армия Дутова, и, если там лозунг монархический и союзнический, открыто провозгласить у себя в армии Алексеева лозунг за монархию и союзников и идти на соединение с Дутовым». Потом прислал другое предложение: «Добровольческая армия должна закончить со всякими колебаниями, оставить мысль об Учредительном собрании и народоправстве, которым из мыслящих людей никто уже не верит, и сконцентрировать все свои силы на одной задаче — вырвать русский императорский дом из физического обладания немцев и поставить его в такое положение, чтобы, опираясь на наступающую Японию, от имени вступившего на престол законного государя объявить священную войну против немцев, завладевших родиной».

Национальный Центр звал нас за Волгу, Правый Центр — по пути, который должны были пробить для нас немецкие корпуса, через Воронеж на Москву... Представитель союзников — французский генерал Лаверн — на Царицын.

Было предложение и совсем другого рода, характеризующее среду и деятелей, основанное на полном непонимании характера и взглядов руководителей добровольчества.

Представитель киевских крайних правых герцог Г. Лейхтенбергский высказывал мысль: «Главная опасность Заволжского фронта** (в том), что прежние

* Отречение императора Николая II и условный отказ в. к. Михаила Александровича.

** Восточный фронт.

наши союзники придут в Россию, опираясь на демократические, социалистические элементы, и приведут страну к республике». Во избежание этого «было бы хорошо, если бы ген. Алексеев взял на себя командование Заволжским фронтом»... Роль, предназначавшаяся при этом ген. Алексееву, была довольно неприглядная — провести союзников: «Чтобы не было неосновательных подозрений, — говорил герцог, — необходимо хотя бы на словах намекнуть об этом немцам... Я беру на себя намекнуть немцам об этой комбинации и тогда не опасаясь их противодействия» *.

Организации и деятели в переписке между собой скорбели, что Добровольческая армия лишена их политического руководства: мы же всеми мерами старались избежать опеки, налагающей партийный штамп и политические пути на деятельность армии. Генерал Алексеев относился к работе всех политических организаций с нескрываемым осуждением. Обобщая свои впечатления от многочисленных личных и письменных докладов, он писал мне 26 июня: «Фактического единения в мыслях, целях, задачах... между «центрами» не существует. Не меняются только жажда власти, стремление получить в свои руки денежную помощь от союзников и тяготеть над работой и существованием Добровольческой армии».

Другой вопрос, лично касавшийся ген. Алексеева, также доставлял ему немало огорчений...

Правый Центр предполагал поставить во главе вооруженных сил одного из следующих генералов: Брусилова, Лукомского, Юденича или Лечицкого. В связи с предположением о создании Восточного фронта вопрос о верховном возглавлении русской армии поднят был и в других организациях. Киевские монархисты хотели видеть на этом посту в. к. Николая Николаевича или Михаила Александровича, которого молва настойчиво связывала с чехословаками. Союз возрождения называл имена ген. Алексеева, адмирала Колчака и ген. Болдырева **. Первые два — очевидно, только в качестве уступки Национальному Центру. Этот последний хотя и высказывал опасение, что «под влиянием» Милюкова «и киевской заразы у ген. Алексеева меняется настроение», однако горячо и настойчиво проводил кандидатуру его как Верховного главнокомандующего и главы «триумвирата». В этом направлении Центр влиял и на союзников. Между прочим, ген. Алексеевым получено было предложение и через французского генерала Лаверна прибыть в Самару, когда откроется возможность «для руководства всеми войсками, действующими против большевиков». Ген. Алексеев еще ранее на обращение Национального Центра и некоторых союзных представителей ответил согласием при условии, однако, что ему будет обеспечена полная свобода распоряжений и не «будет разделения власти» ***.

Любопытно, что, получив сведения о предположении союзников выдвинуть на руководящие роли Керенского, ген. Алексеев писал в Москву: «Передайте представителям союзников, что... (в таком случае) я почти своим прямым долгом совершенно отказаться от всякой военной и политической деятельности и никоим образом не допуская сотрудничества с разрушителем моей Родины» ****.

Ген. Алексеев обещал выехать за Волгу, как только будет подготовлен технически переезд.

Вообще имя ген. Алексеева, в особенности в военных кругах, продолжало пользоваться высоким авторитетом и популярностью, что давало нам надежды на объединение вокруг него борющихся сил. Свидетельства этого отношения — письменные и устные — получались со всех сторон — от организаций, политических деятелей и военных вождей. Одни хотели видеть в нем главу движения, другие — слева, в том числе и будущая директория — «использовать его государственную мудрость и военный опыт», официально — «для блага России», неофициально — для укрепления своего авторитета...

Между прочим, адмирал Колчак, приехав в Омск, писал 1 октября ген. Алексееву о своем предположении ехать в Европейскую Россию, с целью «вступить в Ваше распоряжение в качестве Вашего подчиненного... Вы, Ваше Высокопревосходительство, являлись все это время для меня единственным носителем Верховной власти, власти Высшего военного командования, для меня бесспорной и авторитетной» *****.

Получалась, впрочем, нами и другая оценка деятельности ген. Алексеева — справа, на почве монархических лозунгов. В письме, адресованном ген. Алексееву и широко распространенном в копиях *****, граф Келлер говорил: «Ваш началь-

* Отчет о разговоре герц. Лейхтенбергского и А. Ладыженского 2 авг. 18 г. в Киеве.

** Командовал 5-й армией, был посажен большевиками в Трубецкой бастион, там вошел в близкие сношения с вождями революционной демократии и связал с ними свою судьбу.

*** Записка Ладыженского и письмо от 27 июня ген. Казановичу. Алексеев ставил категорически вопрос об единоличной диктатуре, не признавая директории.

**** Письмо Ладыженскому от 13 июня № 103

***** Письмо было получено в ноябре, уже после смерти ген. Алексеева.

***** Письмо от 20 июля. Копии были разосланы генералом Келлером герцогу Лейхтенбергскому, мне и др.

ник политического отдела уверял меня, что Ваше имя везде популярно и что Вам верят все. Если он и Вам докладывал то же, то ввел Вас в заблуждение. Верят Вам кадеты и, может быть, и то отчасти, группа Шульгина. Но большинство монархических партий, которые последнее время все разрастаются, в Вас не уверены, что вызывается тем, что никто от Вас не слышал столь желанного, ясного, определенного объявления, куда и к какой цели Вы идете и куда ведете Добровольческую армию»...

Но время шло, образование Восточного фронта все откладывалось, в политических центрах велась сложная и не вполне понятная для нас работа, в печати появлялись новые имена верховных и новые комбинации власти...

История противобольшевистских политических организаций есть история русской общественности. Нет сомнения, что наряду с элементами беспринципными, явно эгоистическими, лично или социально заинтересованными — во всех, решительно во всех организациях было много людей самоотверженных, людей высокого патриотизма, работавших идейно и бесстрашно в тяжелой обстановке сыска, провокации и большевистского террора. Но общее направление деятельности их шло по эксцентрическим линиям, отражая глубокое расхождение не только в политических взглядах, но и социальное, партийное и моральное. Расхождение — не отмеченное общим национальным сознанием, не смолкнувшее пред лицом смертельной опасности, нависшей над страной.

Тем не менее противобольшевистские организации имели и общие, совершенно аналогичные черты.

В них мы видим, во-первых, вождей без народа. Они решали важнейшие задачи бытия русской государственности на основании своих верований и умозаключений, учитывая в качестве элементов борьбы политику врагов и союзников, материальную помощь извне, иностранные штыки и т. д. Но сила сопротивления или содействия народной массы в их расчеты входила мало. Русский народ между тем все еще пребывал в состоянии неустойчивого равновесия, разбивая в прах все прогнозы, все социально-исторические теории.

Во-вторых, все организации — правые и левые, не исключая отчасти и советских, — единственную внутреннюю реальную силу, способную на подвиг, жертву и вооруженную борьбу, видели в русском офицерстве и стремились привлечь его всеми мерами к служению своим целям.

Офицерство между тем стояло на распутье.

Целый ряд старших генералов, в первые же месяцы поступивших на службу к большевикам, своим примером давал оправдание малодушным или заблудившимся. Эти люди создавали теории о народе, «имеющем такое правительство, какое он желает» и «о моральной допустимости служения народу при всяком правительстве»... Они — слепые или сознательные слуги деспотии — говорили о служении народу...

В Москве, Петрограде и Киеве Правый Центр звал офицеров для спасения монархии — прежде всего монархии — и Родины в свою организацию, покровительствуемую теми, кого офицерство считало заклятыми врагами России — немцами; савинковский союз — в свои отряды «для защиты Родины и свободы» — свободы, олицетворяемой идеалами Савинкова; Союз возрождения — в свои московские и местные организации для спасения революции и страны; заволжские с.р. — для защиты Учредительного собрания...

В Киеве гетман собирал офицерство под желто-голубым знаменем для защиты Украины; Шульгин звал за Волгу, в Архангельск, в Сибирь и в Добровольческую армию — для спасения династии и России, судьбы которой всецело и безраздельно отождествлялись с судьбами династии. В то же время старший генералитет, возглавляемый Веселовским и кн. Долгоруковым*, найдя спокойный приют в оккупационной зоне ген.-фельдмаршала Эйхгорна, взывал к обществу, приглашая его «поддержать, помочь офицерам пережить невзгоды революционного времени и оберечь офицеров, жаждущих подвига на благо Родины, от втягивания их... во всевозможные авантюры под ложными лозунгами спасения отечества». Рекомендовалось, впрочем, «быть в полной готовности» ввиду «скорого воссоздания неделимой России... под скипетром законного монарха... силами самого русского народа»**... Формула, принятая впоследствии создателями «новой тактики», имеет, как оказывается, старое и довольно неожиданное происхождение...

Среди всех этих расходящихся путей к спасению страны русское офицерство вконец заблудилось.

* Так называемая «военная секция съезда консервативных деятелей в г. Киеве».
** Резолюция от 7 июля.

(Окончание следует.)

Э. РУДЫК

О собственности работников без гнева и пристрастия

Необходимость ликвидации монополии государственной собственности уже практически ни у кого в России не вызывает сомнений. На этом согласие заканчивается и начинаются разногласия. Они касаются прежде всего форм собственности, которые должны отеснить государственную, их удельного веса в экономике страны, способов разгосударствления и приватизации.

Наибольшие споры вызывает такая форма собственности, как собственность работников. Она может быть индивидуальной, или долевой (предприятие принадлежит отдельным членам трудового коллектива), либо коллективной, или неделимой (права владения имуществом предприятия не распределяются между работниками, ими обложен трудовой коллектив как единое целое).

По мнению, например, председателя подкомитета Верховного Совета по приватизации Петра Филиппова и вице-премьера правительства, председателя Госкомимущества России Анатолия Чубайса, собственность работников изначально менее эффективна, чем частно-индивидуальная и частно-акционерная. При этом особый акцент делается на неделимую форму.

Иной позиции придерживаются те, кто считает собственность работников наиболее эффективной из всех известных истории (П. Абовин-Егидес, В. Белоцерковский и др.), хотя и расходятся между собой в том, какая из двух ее основных разновидностей (долевая или неделимая) в наибольшей степени заслуживает подобной оценки.

В пылу полемики некоторые из ее участников как бы «зациклились». Одни — на достоинствах, другие — на недостатках собственности работников. Поискам истины в споре мешают и идеологи-

ческие клише («частная собственность — основа рынка и экономической свободы», «коллективная собственность — гарантия демократии на производстве» и т. п.).

Чтобы преодолеть проявления одностороннего, а порой и тенденциозного подхода как с той, так и с другой стороны к собственности работников, обратимся к мировому опыту работы фирм, являющихся собственностью их персонала. Два наиболее известных примера неделимой и долевой собственности — испанская Мондрагона и американские ЕСОПы (Employee Stock Ownership Plan).

Знаменитая система рабочих кооперативов Мондрагоны (Страна басков), в которых занято 22 тысячи работников, включает в себя свыше ста современных предприятий с оборотом более чем в 2,5 млрд. долларов, банк с активами в 3 млрд. долларов, службу по созданию новых кооперативов, центр развития технологии с тремя техническими университетами, исследовательский и учебный центры, службу по страхованию и медицинскому обслуживанию работников и членов их семей, жилищные комплексы, торговый центр, детские сады, школы...

Собственники предприятий Мондрагоны — члены кооперативов (каждый работник после прохождения испытательного срока может стать членом кооператива, которому принадлежит данное предприятие. Лица, не являющиеся его членами, могут быть привлечены к работе, но только временно, и их число не должно превышать пяти процентов от общего числа занятых). Члены кооператива наделены равными правами владения его имуществом.

Члены кооперативов Мондрагоны вносят вступительный взнос (сразу или в рассрочку), который образует началь-

ный остаток на «индивидуальном счете». На этот счет периодически перечисляется причитающаяся работнику доля в доходе предприятия (ее размеры зависят от уровня заработной платы и квалификации)¹, отсюда покрываются убытки предприятия после исчерпания возможностей специального резервного фонда. Сумма денег на индивидуальном счете зависит также и от результатов работы предприятия. Тем самым создается прямая заинтересованность персонала в направлении прибыли не только на оплату труда, но и на инвестиции.

Деньги с индивидуального счета могут быть взяты только после ухода работника на другое предприятие или на пенсию. Исключение составляют выплачиваемые проценты. Ежегодно выплачивается четыре с половиной процента от вступительного взноса, как того требует испанский Закон о кооперации, и дополнительно полтора процента — «премия за риск».

Работники участвуют не только в собственности, доходах (и убытках!) предприятия, но и в управлении им. Законодательная власть на предприятии принадлежит Общему собранию работников — членов данного кооператива. Собрание принимает все решения на основе принципа: один человек — один голос, а не одна акция — один голос, как это делается в акционерной компании. Первый кооператив Мондрагоны «Улгор» начал с особой системы подсчета голосов. Учитывались квалификация работника, его «профессиональный коэффициент», величина которого зависит от занимаемой работником должности и эффективности труда, его качества.

Общее собрание, создаваемое обычно два раза в год, заслушивает отчеты администрации о проделанной работе, утверждает цели и приоритеты социальной и экономической политики предприятия на ближайшую перспективу, вносит в них при необходимости поправки и дополнения принципиального характера, выбирает сроком на четыре года членов Административного совета (орган высшей исполнительной власти) и Наблюдательного совета (контрольный орган). В свою очередь, Административный совет назначает членов Дирекции (орган оперативного управления предприятием). Работники предприятия выбирают также членов Социального совета (консультативный орган, выполняющий функции, близкие к профсоюзным, но без права призывать к забастовке).

На принципах самоуправления строится и работа Федерации рабочих кооперативов Мондрагоны. Законодательным ее органом является Конгресс, состоящий из 350 представителей всех предприятий и служб Мондрагоны. Конгресс, созываемый раз в два года, определяет страте-

гию развития Федерации в целом и выбирает членов Генерального совета (правительство Федерации), который руководит всей работой по реализации решений Конгресса.

Такова организация работы кооперативов Мондрагоны. В главных чертах она характерна и для других предприятий с собственностью работников в неделимой форме и системой участия персонала в управлении производством, доходах и убытках предприятия.

Американская программа ЕСОП направлена на создание долевой, индивидуальной собственности наемных работников. Эта программа охватывает примерно одиннадцать тысяч фирм. На них занято свыше 11,5 миллиона человек, что составляет 10 процентов рабочей силы страны². Программа ЕСОП является достаточно заметное новое явление не только в экономической жизни США. В том или ином виде она внедряется более чем в двадцати странах мира.

Механизм реализации ЕСОП достаточно прост. Компания, желающая внедрить у себя подобную программу, создает специальный фонд (Employee Stock Ownership Trust), в котором ее работники имеют индивидуальные счета, и делает взнос в него своими акциями или наличными средствами для приобретения дополнительного количества акций. На эти цели обычно берется заем у банка на выгодных для компании условиях. В соответствии с поправкой к налоговому законодательству США 1974 года половина банковской прибыли, полученной в результате финансирования ЕСОП, освобождается от уплаты налогов, что позволяет компании, акции которой распределяются среди ее работников, рассчитывать на получение ссуды в банке под более низкие проценты. Кроме того, делая денежные взносы в фонд ЕСОП для погашения суммы основного долга банку и процентов по нему (как правило, раз в год), компания получает право вычесть их из облагаемого налогом ее дохода. Это обеспечивает немалые выгоды, так как обычно американские фирмы не выплачивают налога лишь с суммы процентов по погашаемому займу.

Когда заем полностью выплачен, акции переводятся на индивидуальные счета работников в соответствии с уровнем заработной платы и стажем работы на предприятии. Право владения ими получают по истечении определенного срока участия в программе (обычно от пяти до семи лет), но без права их продажи до выхода на пенсию или ухода с предприя-

² Значение приведенных цифр не следует преувеличивать. В США термин «собственность работников» может означать любую долю их участия в имуществе предприятия. Если выделить из общего количества компаний с ЕСОП те из них, в которых работники являются собственниками половины и более капитала фирмы, их число не превышало на начало 90-х годов полутора тысяч (Worker Empowerment. The Struggle for Workplace Democracy. N. Y., 1991, p. 49).

¹ В кооперативах традиционного типа его члены участвуют в дележе прибыли соответственно величине своих паев.

тия. Если акции предприятия котируются на бирже, работники могут продать их там. Если акции не обращаются на рынке ценных бумаг из-за того, что компания закрытого типа (ее владельцами могут быть только те, «кто там работает, и до тех пор, пока работает»), она обязана выкупить «внутренние акции» у увольняющегося работника по цене, которая ежегодно устанавливается независимыми экспертами на основе сравнения показателей работы данной компании с результатами хозяйственной деятельности фирм аналогичного производственного профиля, акции которых находятся в свободной продаже. Выкупленные акции вновь помещаются в фонд ЕСОП для передачи их на индивидуальные счета. При хорошей работе компании работники становятся ее собственниками — частичными или полными³.

Значительно сложнее обстоит дело с вовлечением в управление производством. В подавляющем большинстве фирм типа ЕСОП работники участвуют в распределении собственности и доходов, но не в управлении производством в качестве его полноправных субъектов. Данные фирмы используют налоговые льготы, предоставляемые тем компаниям, акции которых распределяются среди их работников. Но поправка к законодательству не обязывает компании, желающие получать налоговые льготы, предоставлять работникам право голоса в принятии хозяйственных решений. Как было отмечено в ряде выступлений американских участников конференции «Приватизация через собственность работников» (Москва, июль 1992 года), привлечение персонала к управлению обычно ограничено правом на получение информации о положении дел на предприятии (балансовая отчетность компании, производственные и административные издержки, затраты на заработную плату и некоторые другие), о планах руководства и на выражение своего мнения по отдельным вопросам, которое может быть учтено администрацией.

Приведенные примеры, на мой взгляд, заставляют усомниться в справедливости ряда устоявшихся у нас взглядов на собственность работников. В частности, мнения о низкой эффективности данной формы собственности.

Анализ работы компаний, являющихся неделимой либо долевой собственностью их персонала, свидетельствует о высокой конкурентоспособности многих из них на рынке. Так, за период с 1956 по 1986 год из 125 рабочих кооперативов Мондрагоны разорились только два, в то время как, например, в США за тот же период потерпели банкротство более 50

процентов всех мелких и средних предприятий⁴. О жизнеспособности фирм, принадлежащих работникам, свидетельствует и тенденция роста их количества⁵, а также численности занятого на них персонала⁶.

В чем причина этой жизнеспособности? Изменение формы собственности? Скорее всего нет. Как показали многочисленные исследования, переход собственности в руки наемных работников оказывает положительное влияние на результаты хозяйственной деятельности предприятия лишь тогда, когда работники реально вовлечены в управление производством, как это имеет место, например, в Мондрагоне. Только при данном условии предприятия, являющиеся собственностью их персонала, имеют существенные преимущества. Уменьшается количество производственных конфликтов. Возрастает заинтересованность в труде, его качество и производительность, эффективность использования капитала⁷, степень преданности работников своим фирмам. Обеспечивается более справедливое распределение дохода между всеми работниками. Меняется сама целевая функция работы предприятия (для демократически управляемой фирмы целью является максимизация дохода, приходящегося на одного работника, в то время как для традиционной частной — максимизация прибыли).

По подсчетам авторов фундаментального исследования «Плата за повышение производительности», компании с высокой степенью участия персонала в управлении производством работали в среднем лучше, чем фирмы, где эта степень была низкой. На данных компаниях производительность живого труда была выше на 15 процентов, фондоотдача — на 177 процентов, норма прибыли на используемый капитал — на 33 процента. За редчайшим исключением предоставление трудящимся больших прав в управлении не давало отрицательного эффекта⁸. Подтверждение тому и успешная работа большинства демократических ЕСОПов —

⁴ L. Klimerman, F. Lindenfeld. Op. cit., p. 116.

⁵ Из 11203 итальянских рабочих кооперативов в 1981 году 50 процентов были созданы после 1971 года, из 1269 французских в 1983 году 66 процентов образованы после 1978 года, из 911 английских в 1984 году 75 процентов учреждены после 1979 года (W. F. Whyte, K. K. Whyte. Making Mondragon. Complex, 1988, p. 6).

⁶ Например, в 1981 г. в американских ЕСОПах было занято 4 млн, 250 тыс. работников, а в 1991 г. — уже более 11,5 млн.

⁷ Расчеты, проведенные проф. Ж. Дефурни (Франция), показывают, что частные фирмы, как правило, затрачивают больше капитала на один доллар произведенной продукции по сравнению с демократически управляемыми предприятиями, как это, например, наблюдается во Франции, где рабочие строительные кооперативы имеют вдвое лучшие показатели использования капитала по сравнению с частными фирмами аналогичного профиля. («Annals of Public and Cooperative Economy», March 1986, pp. 55—78).

⁸ Paying for Productivity. A Look at the Evidence. Wash. 1990. p. 198.

³ The expanding role of ESOP's in public companies. N. Y. 1990, pp. 1—49; L. Klimerman, F. Lindenfeld. Contemporary Workplace. Democracy in the United States.—«Socialism and Democracy», N. Y., 1990, № 11, pp. 109—112; «Собственность работников». — «Экономика и жизнь», 1991, № 48.

компаний, пока еще довольно немногочисленных (на начало 90-х годов их было в США около шестисот), в которых участие работников в собственности и доходах предприятия дополняется реальным участием в его управлении.

Жизнеспособность демократически управляемых предприятий, одновременно являющихся собственностью их персонала, заметно повышается при создании ими собственных опорных структур. Это наглядно демонстрирует опыт Мондрагоны, включающей в себя помимо производственных кооперативов банк (Caja Laboral Popular), который за три десятилетия своего существования (был основан в 1960 году) способствовал созданию более ста кооперативов⁹.

Помимо оказания обычных финансовых услуг банк предоставляет кооперативам Мондрагоны разнообразную помощь: консультации по управлению производством, маркетингу, технической политике предприятия, экспорту продукции, а также проводит обследования на производстве и содействует кооперативам при составлении перспективных планов и программ.

Кроме банка, опорные структуры Мондрагоны — служба по созданию новых кооперативов, центр развития технологии с тремя техническими университетами, исследовательский и учебный центры, служба социального обеспечения и ряд других учреждений производственного и социального назначения.

Многочисленные примеры хорошей работы «народных предприятий» (воспользуемся более привычным для нас термином) с демократической системой управления и опорными структурами не только опровергают расхожее среди российских экономистов и политиков мнение о том, что собственность работников приводит к низкой экономической эффективности основанных на ней предприятий. Очевидны и немалые потенциальные возможности данной формы собственности, которые могут и должны быть использованы при решении ряда острых социально-экономических проблем России.

Во-первых, наделение работников правами владения имуществом своего предприятия и предоставление им реальных прав в управлении этим имуществом содействуют достижению социального согласия на производстве и в обществе в целом, в чем мы так остро нуждаемся.

Во-вторых, работники, являющиеся собственниками — хозяевами на производстве, не бастуют, не работают спустя рукава. Только их упорный труд до седьмого пота может остановить развал экономики, а также компенсировать нехватку отечественного капитала.

В-третьих, участие трудящихся в собственности предприятия ведет к значительному сокращению численности

управленческого персонала, в первую очередь осуществляющего надзор за работниками.

В-четвертых, образование собственности работников и демократизация управления предприятием не только способствуют росту благосостояния занятых на производстве, но и содействуют более справедливому распределению доходов между ними. Так, в Мондрагоне допустимая вилка доходов составляет 1:4,5 (вначале была 1:3). Подобный достаточно небольшой разрыв в оплате содействовал «укреплению единства работников», «созданию атмосферы доверия между ними и администрацией», что привело к росту производственных показателей¹⁰.

В-пятых, расширение сферы функционирования предприятий, являющихся собственностью их работников, противодействует гигантомании, монополизации производства (что так характерно для экономики России), поскольку преимущества этой формы собственности проявляются главным образом на уровне мелкого и среднего производства.

В-шестых, создание фирм, принадлежащих их персоналу, способствует поддержанию рациональной занятости в народном хозяйстве путем организации собственной системы профессионального обучения и переобучения работников, повышения их квалификации. Так, в Мондрагоне создана техническая школа, приток в которую увеличивается в трудные времена.

В-седьмых, участие трудящихся в собственности предприятия содействует сдерживанию роста оплаты труда, особенно в условиях инфляции, когда работникам выгоднее вкладывать свои средства в имущество предприятия, чем получать наличными, которые быстро обесцениваются.

В-восьмых, формирование многочисленного слоя работников — владельцев средств производства и одновременно носителей верховной власти на предприятии — ставит их в положение активных сторонников стабильности в обществе, поборников демократии, что только и может воспрепятствовать реставрации тоталитарного режима¹¹.

Достоинства собственности работников и возможные позитивные последствия ее внедрения в России могут быть продолжены. Мировой опыт работы предприятий, основанных на данном типе собственности, дает для этого достаточно

⁹ Paying for Productivity... p. 201. Установленная в Мондрагоне вилка доходов приводит не только к отмеченным позитивным последствиям, но и некоторым негативным (угроза ухода части высококвалифицированных кадров, особенно менеджеров высокого ранга и др.). Отсюда предложения несколько увеличить допустимую вилку доходов до 1:6.

¹¹ Э. Рудык. Западные прогнозы развития производственной демократии в СССР. — «Вопросы экономики», 1990, № 11; Э. Рудык. Производственная демократия: значение западного опыта для СССР. — «Проблемы теории и практики управления», 1991, № 5 — 6

материала. Но он вместе с тем высвечивает и немалое число недостатков системы собственности работников по сравнению с частно-индивидуальной и частно-акционерной: более слабая реакция на колебания рыночной конъюнктуры, трудности с привлечением внешнего капитала (его владельцы опасаются, что работники — «внутренние собственники» и одновременно хозяева на предприятии — могут сократить или даже перекрыть поток прибыли за заводские ворота путем, например, повышения размеров отчислений из доходов фирмы на свои индивидуальные счета), более низкие показатели капиталовооруженности предприятия (по приведенной выше причине), более медленное внедрение передовой техники и технологии, а также присущие данной форме собственности свойства тормозить необходимые структурные сдвиги в народном хозяйстве страны (оборотная сторона такого ее достоинства, как поддержание занятости на производстве) и ряд других. В расчет должны быть приняты и трудности перехода к «народным предприятиям» психологического порядка, особенно в России, большинству граждан которой пока еще ближе психология наемного работника, а не собственника.

Встает нелегкая задача: как существенно уменьшить недостатки собственности работников, сохранив ее главные преимущества? Решение этой проблемы в немалой степени зависит от верного определения удельного веса данного типа собственности в масштабе всего народного хозяйства и отдельных его секторов, отраслей; правильного выбора в каждом конкретном случае одной из двух основных разновидностей собственности работников (неделимая или долевая), конкретных форм участия персонала в управлении, собственности и доходах, а также от наличия опорных структур и степени содействия со стороны государства в период (и только!) ее формирования (принятие законов об участии трудящихся в управлении производством и собственности предприятия; предоставление субсидий, льготных кредитов тем, кто выкупает имущество предприятия, налоговых привилегий фирмам, переходящим в собственность их персонала)¹².

Подобного рода вопросы вышли в России за рамки научных дискуссий и споров в печати. Главная причина этого — начавшийся процесс разгосударствления и приватизации. Он сопровождается требованиями трудовых коллективов государственных предприятий предоставить им право выбора формы собственности.

Для того чтобы выбор трудовыми коллективами был осознанным и ответственным, ему, как представляется, должен предшествовать подготовительный этап. В начале его работники могли бы ознакомиться с результатами сравни-

тельного анализа различных форм собственности и их модификаций (по критериям эффективности, возможности и целесообразности внедрения на данном предприятии, последствий для его персонала), изучить механизмы перехода к выбранной форме собственности и организации системы обучения основам хозяйствования в новых условиях.

Желательно, чтобы были представлены рекомендации, выработанные не только сторонниками, но и противниками собственности работников, с тем чтобы избежать односторонней информации. Тем более это важно сделать в начале разгосударствления и приватизации, когда трудовые коллективы государственных предприятий поставлены перед нелегким выбором: согласиться на участие в собственности приватизируемого предприятия на условиях, определенных правительством, либо добиваться предоставления себе преимущественного права на владение предприятием, либо, наконец, бороться за перевод предприятия на долгосрочную аренду с правом последующего его выкупа.

Принятию трудовыми коллективами правительственной программы приватизации мешают заложенные в ней многочисленные ограничения участия трудящихся в управлении производством и в собственности предприятия: наделение работников именными привилегированными акциями, не дающими их владельцам права голоса на собрании акционеров¹³; продажа предприятия на аукционах и по конкурсу, что резко уменьшает возможность трудового коллектива стать его владельцем; предоставление работникам приватизируемого предприятия весьма скромных льгот¹⁴. Кроме того, установлены барьеры на пути трансформации государственных предприятий в «народные» (запрет на заключение договора на аренду имущества государственного предприятия с предоставлением арендатору права его выкупа; обязательное преобразование закрытых акционерных обществ с долей государственного или муниципального капитала в открытые, акции которых свободно продаются и покупаются на рынке ценных бумаг).

Наиболее горячие споры идут вокруг варианта правительственной программы приватизации, допускающего выкуп работниками по закрытой подписке до 51 процента акций своего предприятия, но без всяких льгот и по цене, которую определит Госкомимущество России.

Часть рабочих активистов — сторон-

¹³ Мировая практика приватизации дает немало примеров иного подхода, при котором работники бесплатно получают определенное число голосующих акций. Так, в Австрии работникам приватизируемых предприятий безвозмездно передается 10 процентов акций с правом голоса и с правом их продажи на рынке ценных бумаг по истечении трехлетнего срока.

¹⁴ Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации на 1992 год. — «Коммерсантъ», 1992, № 24.

¹² В. Попов. Утопия или реальность XXI века? — «Мировая экономика и международные отношения», 1992, № 3.

ников производственной демократии — убеждает членов своих трудовых коллективов пойти на все связанные с выкупом предприятия финансовые жертвы, аргументируя это тем, что только передача предприятия в собственность их работников — неделимую или долевую — может обеспечить им главенствующее место в управлении производством.

Разумеется, возможности установления производственной демократии на предприятиях, принадлежащих их работникам, значительно больше, чем, например, на частных фирмах. Но переход собственности предприятия в руки наемных работников автоматически не ведет к демократии на производстве, по крайней мере к развитым ее формам¹⁵. Об этом свидетельствует, в частности, организация управления производством в большей части американских ЕСОПов.

Кроме того, если признать, что производственная демократия базируется главным образом на исключительности на собственности работников, то надо либо вернуться к идее выделения одной формы собственности в качестве приоритетной, что уже имело в СССР самые негативные последствия, либо согласиться ограничить сферу действия демократических принципов управления рамками одного сектора экономики.

Между тем демократия на производстве основывается главным образом не на собственности (хотя связь между ними, разумеется, существует), а на неотъемлемом праве каждого работника на участие в управлении производством и распределении результатов труда независимо от того, имеет ли он долю в собственности предприятия или нет. Как было провозглашено Папой Римским Иоанном Павлом II, «самим актом своего труда человек становится господином на своем рабочем месте, хозяином трудового процесса, хозяином продуктов своего труда и их распределения»¹⁶.

Кроме того, переход предприятия в собственность его персонала может иметь не только как уже было сказано, позитивные последствия, но и негативные, в том числе и для самих работников. В частности, использование ими собственных средств для финансирования своей фирмы не только создает трудности при переходе на другое предприятие, но и может привести в случае банкротства фирмы к потере работы и накоп-

лений. Как члены товарищества с ограниченной ответственностью либо акционерного общества открытого или закрытого типа они отвечают по обязательствам своих предприятий в пределах полного размера собственного вклада в них в виде пая или акций. Разумеется, речь не идет о возможности конфискации мебели, дачи, машины и другого личного имущества работника пропорционально полученной им сумме заработной платы за все время работы на предприятии, как это пытаются представить некоторые эксперты Госкомимущества России — противники собственности работников¹⁷. Но в любом случае степень финансового риска остается достаточно высокой. Неблагоприятная ситуация может также сложиться при переходе предприятия в полную собственность работников и для тех из них, кто по тем или иным причинам не станут его совладельцами. Они скорее всего превратятся в граждан второго сорта на производстве.

Избежать подобного рода явлений можно, как показывает мировой опыт, путем отделения собственности на имущество предприятия от управления им, использования института аренды (право пользования и распоряжения, но без права владения), привлечения внешнего капитала. Но при этом возникают сложности, связанные с введением акций. Дело в том, что выпуск предприятием «внешних» акций может привести к захвату внешними акционерами власти на нем либо даже поставить под угрозу существование предприятия, а введение «внутренних» акций — к расслоению работников с точки зрения управленческих прав (голосование проводится с учетом количества акций у одного работника, а не по принципу: один человек — один голос).

Решить данную проблему можно путем выпуска вместо акций облигаций, дающих их владельцу право на получение определенного процента, но не на участие в управлении предприятием, либо путем закрепления в договорной форме вышеуказанного принципа. Принцип один человек — один голос позволяет обеспечить равенство прав всех работников независимо от того, имеет ли кто-нибудь из них долю в собственности предприятия и каковы ее размеры. Большое количество акций (облигаций) может принести их владельцу и больший доход, но не увеличит его влияние на принятие решений на предприятии.

Таковы некоторые соображения относительно эффективности собственности работников (неделимой и долевой), ее сильных и слабых сторон, целесообразности разветвления данной формы собственности в России и возможных способов и механизмов функционирования основанных на ней предприятий.

¹⁵ По степени участия трудящихся в управлении производством обычно различают: соучастие (совещательный характер полномочий, меньшинство в органах управления предприятием); соуправление (участие в принятии решений, право вето на определенные постановления администрации, равное представительство в органах управления); рабочий контроль за действиями администрации без непосредственного вовлечения в управление производством; самоуправление (прямое управление предприятием по главным направлениям всеми его работниками на основе принципа: один человек — один голос и косвенное управление — через избранных представителей — по всем остальным).

¹⁶ Цит. по: В. Белоцерковский. Самоуправление. Мюнхен, 1985, стр. 32.

¹⁷ См.: А. Браверман. Зачем трудовому коллективу быть собственником? — «Независимая газета», 3.VII.1992.

Мужество быть*

Возникновение современного индивидуализма и мужество быть собой

Индивидуализм — это самоутверждение индивидуального Я как такового, независимо от соучастия Я в своем мире. Индивидуализм противоположен коллективизму, самоутверждению Я как части целого, независимо от его специфики как индивидуального Я. Индивидуализм зародился под гнетом первобытного коллективизма и средневекового полукolleктивизма. Он смог развиваться под защитным слоем демократической конформности¹ и затем вышел на поверхность в умеренных либо радикальных формах. Это произошло в рамках экзистенциалистского движения.

Опыт личной вины и индивидуального вопрошания подорвал основы первобытного коллективизма. Обе эти силы действовали на закате античности и породили радикальный нонконформизм киников и скептиков, умеренный нонконформизм стоиков, а также попытки достичь трансцендентное основание для мужества быть, предпринятые стоицизмом, мистицизмом и христианством. Все эти мотивы присутствовали и в средневековом полукolleктивизме, который, как и ранний коллективизм, пришел к концу, когда выявились опыт личной вины и разлагающая сила радикального вопрошания. Но полукolleктивизм не вел непосредственно к индивидуализму. Протестантизм, при всем его внимании к индивидуальной совести, упрочился как строго авторитарная и конформистская система, во всем подобная своему противнику, католической церкви эпохи Контрреформации. Ни для одной из этих двух конфессиональных групп не был

характерен индивидуализм. И даже за их пределами индивидуализм существовал лишь в скрытом виде, ибо обе эти конфессии вобрали индивидуалистические тенденции Возрождения и приспособили их к своей церковной конформности.

Такая ситуация просуществовала лишь 150 лет. После этого периода конфессиональной ортодоксии личностный элемент вновь заявил о себе. Пнетиизм и методизм² снова сосредоточили внимание на личной вине, личном опыте и индивидуальном совершенствовании. Эти движения не стремились отклониться от церковной конформности, однако с необходимостью отклонялись от нее: субъективное благочестие способствовало победоносному возвращению автономного разума. Пнетиизм проложил дорогу Просвещению. Но даже Просвещение не считало себя индивидуалистическим. Человек доверял не той конформности, которая основана на библейском откровении, а той, которая должна основываться на силе разума каждого индивида. Предполагалось, что принципы практического и теоретического разума универсальны и способны создать с помощью исследования и воспитания новую конформность.

Вся эпоха поверила в принцип «гармонии» — той гармонии, что есть закон Вселенной, в согласии с которым деятельность индивида, пусть истолкованная и реализованная предельно индивидуалистически, «за спиной» отдельного исполнителя устремлена к гармоническому целому, к истине, с которой в конце концов согласится огромное большинство, к добру, в котором все большее число людей сможет соучаствовать, к конформности, которая будет основана на свободной деятельности каждого индивида. Индивид может оставаться свободным, не подрывая при этом согласия группы. Казалось, что система экономического либерализма подтверждает это

* Глава из книги: Paul Tillich. The courage to be. Ch. 5. Courage and individualization. — N. Y. 1952, p. 114—151.

¹ Конформность — социологический термин, указывающий на тот аспект личности, который позволяет ей вступать в согласие с группой: принять мнение большинства и соблюдать принятые в группе нормы. (Здесь и далее примечания переводчика и редактора.)

² Пнетиизм — мистическое течение в немецком протестантизме, возникшее в конце XVII в. Методизм — протестантское обновленческое движение, возникшее в Англии в первой четверти XVIII в. и вскоре обособившееся в отдельную церковь.

положение: законы рынка за спиной рыночных конкурентов стимулируют производство максимального количества товаров для всех. Система либеральной демократии доказала, что свобода индивидуальных политических решений отнюдь не означает неизбежного разрушения политической конформности. Прогресс в науке доказал, что индивидуальное исследование и свобода научных убеждений не препятствуют единству науки в целом. Сложившаяся система воспитания доказала, что принцип свободного развития ребенка как индивида не лишает его возможности стать активным членом конформного общества. А творцы Реформации, как о том свидетельствует история протестантизма, были убеждены в том, что свободная встреча каждого человека с Библией способна создать церковную конформность, невзирая на индивидуальные и даже конфессиональные различия. Поэтому сформулированный Лейбницем закон предустановленной гармонии никоим образом не казался абсурдным: Лейбниц учил, что монады, из которых состоит все существующее, несмотря на то, что у них и нет ни окон, ни дверей, которые они могли бы открыть друг перед другом, соучаствуют в одном и том же мире, присутствующем в каждой из них независимо от того, постигается этот мир смутно или отчетливо. Казалось, что проблема индивидуализации и соучастия решена как теоретически, так и практически.

Мужество быть собой в понимании эпохи Просвещения — это такой тип мужества, при котором индивидуальное самоутверждение подразумевает соучастие во всеобщем, рациональном самоутверждении: себя утверждает не индивидуальное Я как таковое, а индивидуальное Я как носитель разума. Такое мужество быть собой есть мужество следовать доводам разума и не подчиняться власти иррационального. В этом (и только в этом) отношении оно есть форма неостоицизма. Ибо мужество быть эпохи Просвещения — это не покорное мужество быть. Оно не только смело встречает превратности судьбы и неизбежность смерти, но и утверждает себя как спонтанное преобразовывать реальность в согласии с требованиями разума. Это борющееся, дерзающее мужество. Угрозу отсутствия смысла оно побеждает мужественным действием. Угрозу вины оно побеждает, признавая, что ошибки, недостатки, злодеяния неизбежно присутствуют как в индивидуальной, так и в социальной жизни, но при этом настаивая на том, что воспитание призвано их преодолеть. Мужество быть собой в эпоху Просвещения — это мужество утверждать себя в движении от низшей к высшей ступени рациональности. Очевидно, что этот вид мужества быть должен стать конформным в момент, когда завершается его революционная борьба с тем, что противоречит разуму, т. е. одновременно с победой буржуазии.

Романтические и натуралистические формы мужества быть собой

Романтизм выработал такое понятие индивидуальности, которое отличается как от средневекового, так и от просвещенческого понятия, хотя и содержит элементы того и другого. Индивид выделяется своей уникальностью как единственное в своем роде бесконечно значимое выражение сути бытия. Пути Бога ведут не к достижению конформности, а к установлению различий. Настоящее мужество быть — это самоутверждение своей уникальности, отстаивание требований своей индивидуальной природы. Но это не то же самое, что своеволие и иррациональность; ведь уникальность индивида обусловлена его творческими возможностями. Однако опасность этого очевидна. Романтическая ирония поставила индивида над любым содержанием и таким образом опустошила его: он более не был обязан всерьез в чем-либо участвовать. Для такого человека, как Фридрих Шлегель, мужество быть индивидуальным Я обернулось пренебрежением к соучастию, и в то же время оно обернулось — и это была реакция на бесодержательность подобного самоутверждения — желанием вернуться в коллектив³. Шлегель, а вместе с ним многие радикальные индивидуалисты прошлого столетия стали католиками. Мужество быть собой потерпело крах, и человек обратился к тому институту, который воплощал мужество быть частью. Но существовала и другая сторона романтической мысли, способствовавшая такому обращению: это тот особый смысл, которым наделялись коллективы и полукolleктивистские сообщества прошлого, идеал «органического общества». Организм, как это уже случалось и раньше, стал символом равновесия индивидуализации и соучастия. Однако в начале XIX века историческая функция этого символа сводилась к выражению не столько потребности в равновесии, сколько ностальгии по коллективистскому полюсу. Этим воспользовались все реакционно настроенные группы того времени, которые, руководствуясь политическими или интеллектуальными мотивами, а порой — тем и другим, стара-

³ Ирония — одна из важнейших категорий эстетики и всей философии романтизма. У немецких романтиков она связана с «сократовской иронией», которую Платон понимал как жизненную позицию, направленную на опровержение мнимого знания и установление истины. Для романтиков начала XIX в. ирония — средство разрушения всего неподвижного и застывшего, то есть сущность искусства. Так ирония понималась кружком Йенских романтиков, молодым Шлейермахером, Фридрихом Шлегелем. Указывая на то, что романтическая ирония, направленная на собственного субъекта, имела разрушительные последствия для личности, Тиллинг присоединяется к известным суждениям Кьеркегора, критиковавшего романтическую иронию.

лись воссоздать «новое Средневековье». Таким образом, романтизм породил как радикальную форму мужества быть собой, так и (несбытующуюся) мечту о радикальной форме мужества быть частью. Романтизм как позиция пережил романтизм как движение. Так называемая богема стала продолжением романтического мужества быть собой. Представители богемы продолжили романтическую борьбу против господства буржуазии и свойственного ей конформизма. Как движение романтизм, так и его порождение — богема⁴ решительным образом повлияли на современный экзистенциализм.

Но как богема, так и экзистенциализм испытывали на себе воздействие другого движения, отстаивавшего мужество быть собой, — натурализма. Слово «натурализм» используют в самых разных значениях. Мы ограничимся той разновидностью натурализма, в которой присутствует индивидуалистическая форма мужества быть собой. Нищие — выдающийся представитель такого натурализма. Он — романтический натуралист и в то же время один из самых значительных (возможно, наиболее значительный) предшественник экзистенциалистского мужества быть собой. Может показаться, что выражение «романтический натурализм» есть противоречие в терминах. Кажется, что между свойственным романтическому воображению самотрансцендированием и свойственным натурализму самоограничением эмпирической данностью лежит глубокая пропасть. Но натурализм — это отождествление бытия и природы и, следовательно, отрицание сверхприродного. Такое отождествление оставляет открытым вопрос о природе природного. Природа может быть описана механистически. Она может быть описана в органических терминах. Она может быть описана как процесс неуклонной интеграции или творческой эволюции. Ее также можно описать как систему законов, или структур, или как соединение того и другого. В качестве модели реальности натурализм может принять нечто совершенно конкретное, например — индивидуальное Я в том виде, в котором мы можем его обнаружить в человеке, или нечто абсолютно абстрактное, например, математические уравнения, которые описывают силовые поля. Все это, а также многое другое можно назвать натурализмом.

Однако не все эти типы натурализма способны выразить мужество быть собой. Только если структура природного основана на преобладании индивидуалистического полюса, натурализм может быть назван романтическим и может соединиться с идеологией богемы и экзи-

стенциализмом. Это относится к волюнтаристским типам натурализма. Если рассматривать природу (а для натурализма она означает «бытие») или как творческое самовыражение бессознательной воли, или как объективацию воли к власти, или как продукт *élan vital*⁵, то тогда именно волевые центры, т. е. индивидуальное Я, имеют решающее значение для движения целого. В самоутверждении индивидов жизнь либо утверждает, либо отрицает себя. Даже если эти Я безусловно подчинены космической судьбе, свое собственное бытие они определяют свободно. Американский прагматизм в значительной мере следует этой философской тенденции. Несмотря на американский конформизм и присущее ему мужество быть частью, прагматизм имеет много общего с этим направлением мысли, более известным в Европе как «философия жизни». Этический принцип прагматизма — рост, его воспитательный метод — самоутверждение индивидуального Я, его излюбленное понятие — творчество. Философы-прагматисты, однако, не всегда осознают тот факт, что мужество творить подразумевает мужество заменить старое новым — новым, для которого нет ни норм, ни критериев, новым, которое есть риск и которое непредсказуемо с позиций старого. Социальная конформность мешает прагматикам увидеть то, что в Европе было выражено открыто и сознательно. Они не понимают, что из прагматизма логически следует (в том случае, если его не сдерживает христианская или гуманистическая конформность) такое же мужество быть собой, какое провозглашают радикальные экзистенциалисты. Прагматизм как разновидность натурализма по характеру своему — пусть и непреднамеренно — преемник романтического индивидуализма и предшественник экзистенциалистской установки на независимость. Неуправляемый рост по своей природе не отличается от воли к власти и от *élan vital*. Однако сами натуралисты различаются между собой. Европейские натуралисты последовательны в своем саморазрушении; американских же натуралистов спасает их счастливая непоследовательность: они все еще приемлют конформное мужество быть частью.

Мужество быть собой, присущее всем этим философским течениям, имеет характер самоутверждения индивидуального Я в качестве такового, вопреки тем элементам небытия, которые ему угрожают. Самоутверждение индивида как бесконечно значимого образа Вселенной — микрокосма — побеждает тревогу судьбы. Индивид опосредует сконцентрированные в нем силы бытия. Они присутствуют в нем в виде знания, и он преобразует их в действие. Он направляет ход своей жизни и способен лицом к лицу встретить трагедию и смерть,

⁴ Богема — феномен европейской культуры XIX — начала XX в., порождение позднего романтизма. Главным героем литературы богемы — студент или свободный художник, для которого типичны презрение к богатству и социальной стабильности, культ свободной любви, склонность к странствиям.

⁵ жизненный порыв (франц.)

охваченный «героическим аффектом» и преисполненный любовью ко Вселенной, которая в нем зеркально отображается. Даже одиночество — не абсолютное одиночество, потому что внутри индивида содержатся смыслы Вселенной. Этот тип мужества, характерный для традиции, объединяющей эпоху Возрождения, романтизм и современность, отличается от стоического тем, что придает особое значение уникальности индивидуально-го Я. Для стойка именно мудрость мудреца (а она присуща в равной мере каждому) — источник мужества быть. В Новое время таким источником становится сам индивид как индивид. За этим изменением позиции стоит христианское представление о бесконечной ценности каждой души. Однако человек Нового времени черпает свое мужество не в христианском учении, а в учении об индивиде как зеркале Вселенной.

Энтузиазм по отношению ко Вселенной как в познании, так и в творчестве также разрешает проблемы сомнения и отсутствия смысла. Сомнение — необходимое орудие познания. И угроза отсутствия смысла не существует до тех пор, пока жив энтузиазм по отношению ко Вселенной и человеку — ее центру. Тревога вины отступает: позабыты символы смерти, суда и ада. Все сделано для того, чтобы лишить их серьезности. Тревога вины и осуждения не будет более потрясать основы мужества самоутверждения.

Поздний романтизм открыл новое измерение тревоги вины и выработал новый способ преодоления этой тревоги. В человеческой душе были обнаружены разрушительные тенденции. Второй этап романтического движения отказался как в философии, так и в поэзии от тех представлений о гармонии, которые господствовали с эпохи Возрождения до классицизма и раннего романтизма. Этот этап, в философии представленный Шеллингом и Шопенгауэром, а в литературе — такими писателями, как Э. Т. А. Гофман, породил своего рода демонический реализм, который оказал огромное влияние на экзистенциализм и глубинную психологию. Мужество самоутверждения неизбежно подразумевает мужество утверждения собственной демонической глубины, что в корне противоречило моральному конформизму среднего протестанта и даже среднего гуманиста. Но богемные и романтические натуралисты с жадностью за это ухватились. Мужество принять на себя тревогу демонического, невзирая на ее разрушительный и подчас опустошающий характер; было формой победы над тревогой вины. Однако это стало возможным лишь потому, что предшествовавшее развитие привело к устранению представления о личностном характере зла, заменив его злом космическим, которое структурно и не становится делом личной ответственности. Мужество принять на себя тревогу вины превратилось в мужество утверж-

дать в себе демоническое начало. Это произошло потому, что демоническое уже не воспринималось как нечто безусловно отрицательное, но мыслилось как часть творческой силы бытия. Демоническое как двусмысленная основа творчества — открытие позднего романтизма, которое через богему и натурализм пришло в экзистенциализм двадцатого века. Глубинная психология обосновала «демоническое» на языке науки.

Все эти формы индивидуалистического мужества быть в некотором смысле предвзрели радикализм XX века, в недрах которого развивалось мужество быть собой, наиболее ярко выразившееся в движении экзистенциализма. Обзор, сделанный в этой главе, показывает, что невозможно полностью обособить мужество быть собой от другого полюса — мужества быть частью — и более того, что преодоление изоляции и встреча с опасностью утратить собственный мир при утверждении себя в качестве индивида — это шаги к чему-то, что трансцендирует Я и мир. Представление о микрокосме, отображающем Вселенную, или о монаде, репрезентирующей мир, или об индивидуальной воле к власти, которая выражает присущую самой жизни волю к власти, — все это указания на возможность такого решения, которое трансцендирует оба эти типа мужества быть.

Экзистенциалистские формы мужества быть собой

Экзистенциальная позиция и экзистенциализм. Поздний романтизм, богема и романтический натурализм проложили путь сегодняшнему экзистенциализму — наиболее радикальной форме мужества быть собой. Несмотря на то что в последнее время появилось огромное количество литературы об экзистенциализме, нам необходимо обратиться к онтологии экзистенциализма и рассмотреть его связь с мужеством быть.

Прежде всего мы должны различать экзистенциальную позицию и философию или искусство экзистенциализма. Экзистенциальная позиция в отличие от просто теоретической или беспристрастной — это позиция вовлеченности. В этом смысле «экзистенциальную» позицию можно определить как позицию соучастия индивида — всем его существованием — в ситуации, особенно в когнитивной ситуации. А ситуация подразумевает временные, пространственные, исторические, психологические, социальные, биологические условия. Ситуация включает также конечную свободу индивида, которая позволяет ему реагировать на эти условия, изменяя их. Экзистенциальное знание — это такое знание, в котором участвуют все эти составляющие, следовательно, все существование того, кто познает. Может показаться, что

это противоречит необходимой объективности познавательного акта и требованию беспристрастности. Но знание зависит от своего предмета. Существуют такие сферы реальности или, точнее говоря, сферы абстрагирования от реальности, по отношению к которым адекватный когнитивный (познавательный) подход возможен лишь при максимальной беспристрастности. По отношению ко всему, что можно измерить и рассчитать, характерен именно такой подход. Но он совершенно неприменим по отношению к реальности в ее бесконечной конкретности. Если Я стало объектом расчетов и манипуляций, то оно перестало быть Я. Оно превратилось в вещь. Чтобы познать Я, необходимо соучаствовать в нем. Но соучастие в нем видоизменяет его. Для всякого экзистенциального знания характерно то, что сам акт познания преобразует как субъект, так и объект. Экзистенциальное знание основано на встрече, в результате которой создается и осознается новый смысл. Знание о другой личности, знание истории, знание о духовном творчестве, религиозное знание — все они имеют экзистенциальный характер. Это не исключает теоретической объективности, основанной на беспристрастности. Но это делает беспристрастность лишь одним из компонентов всеохватывающего акта когнитивного соучастия. Можно обладать точным и беспристрастным знанием о другой личности, ее психологическом типе и ее предсказуемых реакциях, но, зная все это, нельзя знать самое личное, ее самоцентричное Я, ее знание о самой себе. Лишь соучаствуя в этом Я, совершая экзистенциальный прорыв в центр его бытия, находясь в ситуации прорыва к нему, можно его познать. Таково первое значение слова «экзистенциальный»: это позиция соучастия индивида собственным существованием в существовании другого.

Слово «экзистенциальный» может также обозначать содержание, а не позицию. Я имею в виду особое направление философии — экзистенциализм. Мы обязаны обратиться к экзистенциализму, так как это наиболее радикальная форма мужества быть собой. Но вначале мы должны выяснить, почему как позиция, так и содержание названы словами, которые образованы от одного и того же слова — «экзистенция». Экзистенциальную позицию и экзистенциалистское содержание роднит определенная интерпретация человеческой ситуации, противостоящая неэкзистенциальной интерпретации, которая основана на уверенности в том, что человек способен как на уровне знания, так и на уровне жизни, трансцендировать конечность, отчуждение и двусмысленность человеческого существования. Система Гегеля — классический тип такой философии сущностей. Когда Кьеркегор порвал с гегелевской системой сущностей, он сделал две вещи: провозгласил экзистенциальную

позицию и пробудил к жизни философию существования. Он понял, что знание о том, что захватывает нас бесконечно, становится возможным, только если занять позицию бесконечной захваченности, т. е. экзистенциальную позицию. Одновременно он разработал такое учение о человеке, в котором отчуждение человека от его сущностной природы описано в терминах тревоги и отчаяния. Человек в экзистенциальной ситуации конечности и отчуждения способен достичь истины, лишь заняв экзистенциальную позицию. «Человек не занимает трон Бога», не соучаствует в Его знании о сущности всего, что есть. У человека нет места в мире чистой объективности, над конечностью и отчуждением. Его познавательная способность так же обусловлена его существованием, как и его бытие в целом. Так связаны между собой два значения слова «экзистенциальный».

Экзистенциалистская точка зрения

Теперь, если мы обратимся к экзистенциализму — но не к экзистенциальной позиции, а к содержанию экзистенциализма, — то сможем обнаружить три свойственных ему функции: представлять точку зрения, выражать протест и служить средством выражения. Экзистенциалистская точка зрения представлена прежде всего в теологии, а также в философии, искусстве и литературе. При этом она остается просто точкой зрения, порой — неосознанной. Экзистенциализм как протест, несмотря на то, что некоторых мыслителей можно назвать его предшественниками, оформился как самостоятельное движение во второй трети XIX века и как таковой во многом определил судьбу XX века. Экзистенциализм как средство выражения характерен для философии, искусства и литературы периода мировых войн и всеобщей тревоги сомнения и отсутствия смысла. Он выражает нашу собственную ситуацию.

Приведем несколько примеров экзистенциалистской точки зрения. Самым характерным из них может служить Платон, существенным образом повлиявший на дальнейшее развитие всех форм экзистенциализма. Следуя за орфиками⁶, описывавшими трагическую ситуацию человека, он учил, что человеческая душа отделена от своего «дома» — царства чистых сущностей. Человек отчужден от того, чем он по своей сущности является. Его существование в преходящем мире противоречит его

⁶ Тиллих имеет в виду веру в первородный грех и в возможность его искупления, присутствующую орфикам — участникам древнегреческого религиозного движения, возникшего в VI в. до н. э.

сущностному соучастию в вечном мире идей. Это противоречие выражается на языке мифологии, потому что существование сопротивляется понятности. Лишь по отношению к миру сущностей применимо аналитическое исследование. Платон использует миф всякий раз, когда описывает переход от сущностного бытия человека к его экзистенциальному отчуждению, а также возвращение от последнего к первому. Платоновское различие мира сущностей и существования легло в основу всего дальнейшего развития философии. Это различие можно обнаружить даже в том, что мы называем современным экзистенциализмом.

Другой пример экзистенциалистской точки зрения — классическое христианское учение о грехопадении и спасении. Структура этого учения аналогична платоновскому различению сущности и существования. Как и у Платона, сущностная природа человека и его мира — благо. Согласно христианскому пониманию, она такова потому, что человек и его мир — божественные творения. Но человек утратил свою сотворенную сущность, которая есть благо. Грехопадение исказило не только его этическую природу, но и его познавательную способность. Человек находится во власти противоречий существования, и его разум несвободен от них. Но подобно тому, как у Платона надъисторическая память всегда присутствовала даже в наиболее отчужденных формах человеческого существования, в христианстве сущностная структура человека и его мира остается неизменной потому, что ее поддерживает и направляет творческое вмешательство Бога. Именно в силу этого становится возможной не только определенная доля добра, но и определенная доля истины. Именно по этой причине человек способен осознавать противоречия своей экзистенциальной ситуации и надеяться на восстановление своего сущностного статуса.

Как платонизм, так и классическая христианская теология включают экзистенциалистскую точку зрения. Она определяет их понимание человеческой ситуации. Но все же ни платонизм, ни классическая христианская теология не являются экзистенциализмом в специальном смысле этого термина. Экзистенциалистская точка зрения составляет компонент системы эссенциалистской онтологии⁷. Это характерно не только для Платона, но и для Августина, хотя теология Августина в большей мере, чем чья-либо еще в раннем христианстве, исполнена глубокого понимания негативных сторон человеческого существования и хотя он вынужден был защищать

свое учение о человеке от эссенциалистского морализма Пелагия⁸.

Продолжение Августинова анализа трагической ситуации человека мы находим в самоуглублении монахов и мистиков, которое дало огромный материал «глубинно-психологического» типа, проникший в христианское учение о тварности человека, его греховности и освящении. Также достаточно материала для глубинной психологии можно обнаружить в средневековом понимании демонического и в практике исповеди, особенно монашеской. Значительная часть того материала, с которым работают сегодня глубинная психология и современный экзистенциализм, уже была известна религиозным «психоаналитикам» средних веков. Этот материал был известен и деятелям Реформации, особенно Лютеру; его диалектические описания двойственности добра, демонического отчаяния и необходимости божественного прощания своими корнями уходят в средневековое исследование человеческой души в ее отношении к Богу.

Величайшее поэтическое выражение экзистенциалистской точки зрения в средние века — это «Божественная комедия» Данте. Как и религиозная «глубинная психология», характерная для монашества, она остается в рамках схоластической онтологии. Однако, несмотря на эти рамки, поэма Данте проникает как в глубочайшие пласты человеческого саморазрушения и отчаяния, так и в высочайшие сферы мужества и спасения и содержит всеобъемлющее экзистенциальное учение о человеке, выраженное на языке поэтических символов. Некоторые художники эпохи Возрождения в своей графике и живописи предвосхитили современное экзистенциалистское искусство. Демонические сюжеты, так привлекавшие Босха, Брейгеля, Грюневальда, испанцев и южных итальянцев, поздних готических мастеров — создателей массовых сцен и многих других, были выражениями экзистенциалистского понимания человеческой ситуации (например, серия картин Брейгеля «Вавилонская башня»). Но ни один из них не стремился полностью порвать со средневековой традицией. Это была лишь экзистенциалистская точка зрения, а не сам экзистенциализм.

Говоря о проблеме возникновения индивидуализма Нового времени, я уже упоминал о том, что в номинализме универсалии распались на индивидуальные объекты. Некоторые тенденции номинализма превосходят определенные черты современного экзистенциализма. Например, иррационализм, который возник в результате крушения философии сущностей под ударами Дунса Скотта и

⁷ Эссенциалистская онтология — философское учение о бытии, имеющее дело с сущностями, а не с существованием.

⁸ Пелагий — христианский писатель, работавший в начале V века. Великий оппонент Августина, Пелагий отстаивал представление о том, что благая сущность человека до конца не извращена первородным грехом.

Оккама⁹. Если настаивать на случайном характере всего существующего, то тогда случайными становятся как воля Бога, так и бытие человека. В результате человек чувствует, что исчезла последняя необходимость не только в нем самом, но и в его мире. И это вызывает в нем тревогу. Номинализм предвосхитил еще одну черту современного экзистенциализма — стремление укрыться за авторитетом как следствие распада системы универсалий и неспособности изолированного индивида сохранить мужество быть собой. Следовательно, именно номиналисты открыли дорогу церковному авторитаризму, который господствовал в эпоху раннего и позднего Средневековья и породил католический коллективизм Нового времени. Номинализм предвосхитил наиболее значительные черты экзистенциалистского мужества быть собой, но не стал экзистенциализмом в собственном смысле слова. Этого не произошло потому, что даже номинализм не пытался порвать со средневековой традицией.

Что же такое мужество быть в ситуации, в которой экзистенциалистская точка зрения еще не разрушила эссенциалистскую систему? В общем и целом, это мужество быть частью. Но такой ответ недостаточен. Там, где существует экзистенциалистская точка зрения, существует проблема человеческой ситуации, переживаемой индивидом. В заключительной части платоновского «Горгия» человек после смерти должен предстать перед судьей из подземного мира, Радамантом, который оценивает его личную праведность или несправедливость. В классической христианской традиции индивид затронут возможностью вечного осуждения; у Августина универсальность первородного греха не лишает индивида двух вариантов вечной судьбы; самоуглубление монахов и мистиков затрагивает индивидуальное Я; Данте помещает человека в зависимости от его заслуг и достоинств в разные области реальности; художники, изображавшие демоническое, заставляют нас почувствовать, что индивид одинок и в этом мире; номинализм сознательно изолирует индивида. Однако во всех этих случаях мужество быть не становится мужеством быть собой. Каждый раз индивид черпает мужество в некоем всеохватывающем целом; в высшей сфере, в Царстве Бога, в божественной благодати, в провиденциальной структуре реальности, в авторитете Церкви. Однако это не шаг назад

к непоколебленному мужеству быть частью. Скорее это движение вперед и вверх, к истокам того мужества, которое возвышается как над мужеством быть частью, так и над мужеством быть собой.

Утрата экзистенциалистской точки зрения

Экзистенциалистский бунт девятнадцатого столетия — реакция на утрату экзистенциалистской точки зрения в начале Нового времени. И если первую половину эпохи Возрождения, времена Николая Кузанского, Флорентийской академии¹⁰ и ранней ренессансной живописи определяла Августиновская традиция, то позднее Возрождение порвало с этой традицией и создало новую, научную философию сущностей. Антиэкзистенциалистская тенденция наиболее заметна у Декарта. Существование человека и его мира было «заключено в скобки», как сказал бы Гуссерль, который создал свой «феноменологический» метод под влиянием Декарта. Человек превращается в чистое сознание, в голый эпистемологический, познающий субъект; мир (включающий и психосоматическое бытие человека) превращается в объект научного исследования и промышленной организации. Исчезает человек в его экзистенциальной ситуации. Таким образом, вполне понятным было движение мысли современного философского экзистенциализма, показавшего, что за *sum* (Я есмь) в декартовом *Cogito ergo sum* стоит проблема природы этого *sum*, которое есть нечто большее, чем просто *cogitatio* (мышление), а именно существование во времени и пространстве в условиях конечности и отчуждения.

Может показаться, что протестантизм, отвергнув онтологию, вернулся к экзистенциалистской точке зрения. И, в самом деле, протестантизм, который свел догматику к противопоставлению человеческого греха и божественного прощения, способствовал развитию экзистенциалистской точки зрения. Однако следует оговорить, что не сами творцы Реформации, но те их последователи, которые опирались на учение об оправдании и на концепцию предопределения, утратили богатство экзистенциалистского материала, обретенного в средние века в монашеской практике самоуглубления. Протестантские теологи настаивали на безусловности божественного суда и свободе божественного прощения. Они относились с недоверием к исследованию человеческого существования: их не интересовал относительный и двусмысленный характер человеческой ситуации. На-

⁹ Тиллих говорит здесь о позднесcholasticком номинализме, отрицавшем, в отличие от реализма, бытийственный статус общих понятий (универсалий). Собственно, средневековый номинализм и возник в ходе схоластического спора об универсалиях. Иоанн Дунс Скотт и Уильям Оккам — наиболее выдающиеся представители этого течения мысли. Номинализм сильно повлиял на развитие логики и философии науки. Мартин Лютер использовал понятийный аппарат номинализма при формулировке своего теологического учения.

¹⁰ Неоплатонический кружок, существовавший во Флоренции в последней трети XV в. Его создателем и вдохновителем был Марсилио Фичино. Академия оказала большое влияние на интеллектуальную жизнь Флоренции.

против, они полагали, что исследования подобного рода способны ослабить безусловный характер Нет или Да в отношениях между Богом и человеком. Однако такое неэкзистенциальное учение протестантских теологов вело к тому, что вероучительные положения библейской Вести проповедовались в качестве объективной истины и отвергались всякие попытки соотнести Весть с человеком в его психосоматическом и психосоциальном существовании. И лишь под давлением общественных движений конца XIX века и развития психологии XX века протестантизм стал более открытым для экзистенциальных проблем современности.

В кальвинизме и сектантских движениях человек все более и более превращался в абстрактный нравственный субъект, подобно тому как у Декарта он рассматривался как эпистемологический субъект. В XVII веке, когда содержание протестантской этики приспособлялось к зарождающемуся индустриальному обществу, которое требовало разумного управления собой и своим миром, антиэкзистенциалистская философия и антиэкзистенциалистская теология слились воедино. Разумный субъект морали и науки занял место экзистенциального субъекта с его противоречиями и отчаянием.

Философия Иммануила Канта, одного из главных представителей этого направления, основателя учения об этической автономии, содержит два положения, отвечающих экзистенциалистской точке зрения: одно из них — это учение о дистанции между конечным человеком и предельной реальностью, другое — учение об искажении рациональной способности человека изначальным злом. Но именно за эти экзистенциалистские идеи на него и обрушились некоторые из его почитателей, среди них — великие Гёте и Гегель. Оба эти критика были прежде всего антиэкзистенциалистами. Эссенциалистская ориентация философии Нового времени проявилась наиболее ярко в попытке Гегеля истолковать всю реальность как систему сущностей, более или менее адекватным выражением которой являлся наличный мир. Существование превратилось в сущность. Мир, каков он есть в действительности, разумен. Существование есть неизбежное выражение сущности. История — это проявление сущностного бытия в условиях существования. Ее ход можно понять и оправдать. Лишь тот, кто соучаствует в мировом процессе, в котором реализует себя Абсолютный дух, способен мужественно одолеть недостатки индивидуальной жизни. Преодоление тревоги судьбы, вины и сомнения происходит посредством движения вверх сквозь различные степени постижения смысла к высшему смыслу, философскому постижению самого мирового процесса. Гегель пытается соединить мужество быть частью (особенно частью нации) и мужество быть собой (особенно в качестве мыслителя), утвер-

ждая такое мужество, которое трансцендирует оба эти типа мужества и имеет мистическую основу.

Однако было бы ошибкой не замечать у Гегеля экзистенциалистских черт. Они гораздо ярче, чем принято считать. Во-первых, Гегель признает онтологию небытия. Отрицание в его системе — это сила, ведущая Абсолютную идею (царство сущностей) к существованию, а существование — обратно к Абсолютной идее (которая в этом процессе осуществляет себя как Абсолютный дух). Гегель знает о тайне и тревоге небытия, но он делает небытие частью самоутверждения бытия. Другой экзистенциалистский элемент у Гегеля — его учение о том, что ничто великое в мире существования не совершалось без страсти и заинтересованности. Эта формула, взятая из его Введения в «Философию истории», показывает, что он признавал за романтиками и представителями философии жизни способность проникать на нерациональные уровни человеческой природы. Третий экзистенциалистский элемент, который, как и два предыдущих, сильно повлиял на гегелевских недругов-экзистенциалистов, — это реалистическая оценка трагической ситуации индивида внутри исторического процесса. История, говорит он в том же Введении, — это не место для индивидуального счастья. Это предполагает следующую альтернативу: либо индивид должен возвыситься над мировым процессом до положения постигающего смысла философа, либо экзистенциальная проблема индивида неразрешима. Именно этот вывод стал причиной экзистенциалистского протеста против Гегеля и того мира, который отображается в его философии.

Экзистенциализм как бунт

Бунту против гегелевской философии сущностей способствовали экзистенциалистские элементы, присутствующие, хотя и неявно, в учении самого Гегеля. Первым эту экзистенциалистскую атаку начал бывший друг Гегеля — Шеллинг, под влиянием которого Гегель находился в молодые годы. На склоне лет Шеллинг предложил так называемую «позитивную философию», многие положения которой были позже позаимствованы революционными экзистенциалистами XIX столетия. Он назвал философию сущностей «негативной философией», потому что она отстраняется от действительности существования, а позитивной философией он считал мысль индивида, который переживает, думает и принимает решения внутри своей исторической ситуации. Именно он первым, полемизируя с философией сущностей, употребил термин «существование». Философская позиция Шеллинга не была принята из-за того, что он истолковал христианский миф в философских, экзистенциалист-

ских понятиях. Однако он повлиял на многих, особенно на Сёрена Кьеркегора.

Шопенгауэр в своем противостоянии философии сущностей следовал традиции волюнтаризма. Он вновь обратился к вопросу, который был отодвинут на второй план эссенциалистской тенденцией философской мысли Нового времени, — к вопросу об особенностях человеческой души и трагической ситуации существования. В это же время Фейербах подчеркивал значение материальных условий человеческого существования, а причину возникновения религиозной веры видел в стремлении человека преодолеть конечность при помощи трансцендентного мира. Макс Штирнер написал книгу, в которой мужество быть собой выражается на языке практического солипсизма, разрушающего всякое общение между людьми. Маркса можно отнести к представителям экзистенциалистского бунта, так как он противопоставил действительное существование человека в системе раннего капитализма примитивному человеку с самим собой в существующем мире, описанному Гегелем на языке философии сущностей. Для Ницше, наиболее значительного из всех мыслителей экзистенциалистского направления, европейский нигилизм — это такая картина мира, внутри которой человеческое существование погружено в полную бессмысленность. Представители философии жизни и прагматизма (Дильтей, Бергсон, Зиммель, Джемс) пытались найти объяснение существующей пропасти между субъектом и объектом в том, что предшествовало как субъекту, так и объекту, — в «жизни», и определяли объективированный мир как самоотрицание творческой жизни. Один из крупнейших ученых XIX века, Макс Вебер, описал трагическое саморазрушение жизни в условиях господства индустриально-технического разума. Однако в конце века все это было лишь формой протеста. Сама ситуация еще не претерпела явных изменений.

Начиная с последних десятилетий XIX века именно бунт против объективированного мира определял характер искусства и литературы. Французские импрессионисты, несмотря на то, что субъективность имела для них большое значение, не возвысились над пропастью между субъективностью и объективностью, а рассматривали сам субъект как объект исследования; ситуация изменилась лишь с появлением Сезанна, Ван Гога и Мунка. Начиная с этого времени проблема существования выражается в тревожных формах искусства экспрессионизма. Экзистенциалистский бунт на всех этапах своего развития породил огромное количество нового психологического материала. Такие революционеры экзистенциализма, как Бодлер и Рембо — в поэзии, Флобер и Достоевский — в прозе, Ибсен и Стриндберг — в театре, открыли много нового в дебрях челове-

ческой души. Глубинная психология, возникшая в конце столетия, подтвердила и методологически оформила их прозрения. Когда 31 июля 1914 года XIX век завершился, экзистенциалистский бунт перестал быть бунтом. Он стал зеркалом эмпирической реальности.

Именно угроза бесконечной утраты — утраты своей индивидуальной личности — побудила революционных экзистенциалистов XIX века к борьбе. Они осознали, что идет процесс превращения людей в вещи, в кусочки реальности, которые могут исчисляться чистой наукой и которыми можно управлять, пользуясь достижениями прикладной науки. Идеалистическое направление буржуазного мышления превратило личность в сосуд, в котором более или менее удобно размещаются универсальные понятия. Натуралистическое направление буржуазной мысли превратило личность в пустое пространство, которое заполняют чувственные впечатления, и наиболее интенсивные из них воцаряются над остальными. В обоих случаях индивидуальное Я — это пустое пространство и носитель чего-то такого, чем оно само не является, чего-то чуждого, что отчуждает Я от самого себя. Идеализм и натурализм занимают сходную позицию по отношению к существующей личности; они игнорируют ее бесконечную значимость и превращают ее в пространство, которое служит проводником чего-то другого. Оба эти течения мысли суть средства выражения того общества, которое создавалось для освобождения человека, но попало под гнет созданных им самим объектов. Гарантии, которые предоставляют хорошо отлаженные механизмы технического контроля над природой, изощренные методы психологического контроля над личностью, быстро развивающийся организационный контроль над обществом — такие гарантии дорого стоят: человек, для которого все это было изобретено в качестве средства, сам стал для этих средств вспомогательным средством. Именно это побудило Паскаля критиковать господствовавшую в XVII веке математическую рациональность; подвигло романтиков на борьбу с господством рассудочной морали в конце XVIII века; заставило Кьеркегора обрушиться на обезличивающую логику гегелевской мысли. Именно это стоит и за борьбой Маркса против экономической дегуманизации, и за битвой Ницше в защиту творчества, и за борьбой Бергсона против пространственного царства мертвых объектов. Это же стоит за желанием большинства представителей философии жизни спасти жизнь от разрушительной силы самообъективации. Они боролись за сохранение личности, за самоутверждение Я, боролись в ситуации постепенного исчезновения Я в окружающем мире. Они пытались в условиях уничтожения Я и подмены его вещью указать путь к мужеству быть собой.

Экзистенциализм сегодня и мужество отчаяния

Мужество и отчаяние. Возникший в XX веке экзистенциализм наиболее ярко и грозно выражает смысл «экзистенциального». В нем весь процесс достигает той точки, дальше которой он уже не способен развиваться. Экзистенциализм распространился во всех странах западного мира. Он проявляется во всех сферах духовного творчества, проник во все образованные классы. Это не изобретение божьего философа или писателя-неврастеника; это не сенсация, раздутая ради денег и славы; это не болезненная игра отрицаниями. Отчасти все это затронуло, но сам по себе экзистенциализм — нечто совсем иное. Экзистенциализм — это средство выражения тревоги отсутствия смысла и попытка принять эту тревогу в мужество быть собой.

Именно с этих двух точек зрения и нужно рассматривать современный экзистенциализм. Ведь это не просто индивидуализм рационалистического, романтического или натуралистического типа. В отличие от трех своих предшественников экзистенциализм прошел через тотальный крах смысла. Человек XX века утратил осмысленный мир и то Я, которое жило в этом мире смыслов, исходящих из духовного центра. Созданный человеком мир объектов подчинил себе того, кто сам его создал и кто, находясь внутри него, утратил свою субъективность. Человек принес себя в жертву собственному созданию. Однако он все еще сознает, что именно он утратил или продолжает утрачивать. Он еще достаточно человек для того, чтобы переживать свою дегуманизацию как отчаяние. Он не знает, где выход, но старается спасти свою человечность, изображая ситуацию как «безвыходную». Его реакция — это мужество отчаяния, мужество принять на себя свое отчаяние и сопротивляться радикальной угрозе небытия, проявляя мужество быть собой. Любой исследователь современной экзистенциалистской философии, искусства и литературы обнаружит характерную для них двойственность: с одной стороны, отсутствие смысла, ведущее к отчаянию, страстная критика этой ситуации, а с другой — попытка принять тревогу отсутствия смысла в мужество быть собой.

Не удивительно, что любые проявления экзистенциалистского мужества отчаяния раздражают именно тех, кто непоколебим в своем мужестве быть частью как в его коллективистском, так и в конформистском варианте. Они неспособны понять, что происходит в наше время. Они неспособны отличить в экзистенциализме подлинную тревогу от невроза. Они нападают на то, что им кажется болезненной склонностью к отрицанию, но что на самом деле есть мужественное принятие негативного. Они

называют упадком то, что в действительности представляет собой творческое изображение упадка. Они порицают за бессмысленность осмысленную попытку выявить отсутствие смысла в нашей ситуации. Это устойчивое сопротивление современному экзистенциализму обусловлено не столько обычной трудностью при понимании тех, кто прокладывает новые пути мышления и художественного творчества, сколько желанием сохранить самодостаточное мужество быть частью. Так или иначе люди чувствуют, что экзистенциализм не дает настоящих гарантий; они всячески сторонятся экзистенциалистских прозрений и, хотя с любопытством читают экзистенциалистские романы и смотрят экзистенциалистские спектакли, все же отказываются принимать их всерьез, то есть как указание на отсутствие смысла и отчаяние, скрытые в их собственном существовании. Та ярость, с которой как коллективистские (нацисты, коммунисты), так и конформистские (американская демократия) круги обрушиваются на современное искусство, свидетельствует о том, что они ощущают серьезную угрозу с его стороны. Но никто не может ощущать угрозы своему духовному центру со стороны чего-либо, что не составляет его части. А поскольку сопротивление небытию путем редукции бытия есть невротический симптом, то в качестве возражения на обычные обвинения в неврозе экзистенциалист может выявить невротические механизмы защиты в самом антиэкзистенциалистском стремлении к традиционным гарантиям. Не может быть никаких сомнений по поводу того, что следует делать в этой ситуации христианской теологии. Она обязана выбрать правду, а не гарантии, даже если церкви освящают и поддерживают гарантии. Конечно же, христианский конформизм существовал в Церкви с момента ее возникновения и существует по сию пору, как существовал и христианский коллективизм — или по крайней мере полукolleктивизм — в некоторые периоды ее истории. Но это не должно побуждать теологов отождествлять христианское мужество с мужеством быть частью. Им следует осознать, что мужество быть собой есть необходимое дополнение к мужеству быть частью, — пусть даже они справедливо признают, что ни одна из этих форм мужества быть не дает окончательного решения.

Современное искусство и литература: мужество отчаяния

Мужество отчаяния, опыт отсутствия смысла и самоутверждение вопреки всему этому характерны для экзистенциалистов XX века. Отсутствие смысла — общая для них проблема. Тревога сомнения и отсутствия смысла — это тревога нашей эпохи. Тревога судьбы и смерти и тревога вины и осуждения

играют заметную, но не решающую роль. Когда Хайдеггер говорит о предчувствии собственной смерти, его забывает не вопрос о бессмертии, а вопрос о том, что означает предчувствие смерти для человеческой ситуации. Когда Кьеркегор обращается к проблеме вины, то побуждает его к этому вовсе не теологический вопрос о грехе и прощении, а вопрос о возможности личного существования в условиях личной вины. Проблема смысла волнует современных экзистенциалистов, даже когда они говорят о конечности и вине.

Событием, определившим поиск смысла и возникновение отчаяния в XX веке, стала утрата Бога в XIX веке. Фейербах отделился от Бога, объяснив Его как бесконечную жажду человеческого сердца; Маркс отделился от Него как от идеологической попытки возвыситься над наличной реальностью; Ницше отделился от Него как от того, что ослабляет волю к жизни. В результате появился лозунг «Бог умер», но вместе с Ним умерла и вся система ценностей и смыслов, внутри которой жил человек. Это ощущается и как утрата, и как освобождение. Это ведет человека либо к нигилизму, либо к мужеству, принимающему небытие на себя. Пожалуй, нет никого, кто бы повлиял на современный экзистенциализм так же сильно, как Ницше, и, пожалуй, нет никого, кто бы выразил волю быть собой более последовательно и в более абсурдной форме, чем он. Для него ощущение отсутствия смысла стало безнадежным и саморазрушительным.

Философия Ницше стала фундаментом, опираясь на который экзистенциализм, это великое искусство, литература и философия XX века, выработал мужество смотреть в лицо реальности и выражать тревогу отсутствия смысла. Этот вид мужества творческий, он выражается в творческих проявлениях отчаяния. Одну из своих самых сильных пьес Сартр назвал «Нет выхода», и это стало классической формулой для ситуации отчаяния. Однако у него самого есть выход. Он может сказать: «Нет выхода», принимая на себя ситуацию отсутствия смысла. Т. С. Элиот назвал первую свою крупную поэму «Бесплодная земля». Он описывает распад цивилизации, отсутствие убеждений и цели, скудость и истерию современного сознания. И именно эта поэма, похожая на прекрасный возделанный сад, описывает отсутствие смысла на «бесплодной земле» и выражает мужество отчаяния.

В романах Кафки «Замок» и «Процесс», язык которых достигает классической чистоты, источник смысла недосягаемо далек, а источник справедливости и милосердия скрыт в неизвестности. Мужество принять на себя творческое одиночество подобного рода и ужас подобных прозрений есть выдающийся пример мужества быть собой. Человек обособлен от источника мужества, но

не окончательно: он все же способен без страха встретить и принять свою обособленность. В сборнике стихов Одена¹¹ «Век тревоги» явственно выражены как мужество принять на себя тревогу в мире, утратившем смысл, так и глубокое переживание этой утраты: оба полюса, объединенные в выражении «мужество отчаяния», значимы здесь в равной мере. В романе Сартра «Возмужание» герой оказывается в ситуации, где его страстное желание быть собой приводит его к отрицанию всяких человеческих обязательств. Он отказывается принять что-либо, что могло бы ограничить его свободу. Ничто для него не имеет окончательного смысла: ни любовь, ни дружба, ни политика. Единственная точка опоры — неограниченная свобода: менять все, сохраняя лишь одну бессодержательную свободу. В этом образе представлена одна из наиболее крайних форм мужества быть собой, мужества быть тем Я, которое свободно от всяких уз и платит за это абсолютной пустотой. Изображая именно такого героя, Сартр доказывает свое мужество отчаяния. Обратная сторона той же самой проблемы представлена в повести Камю «Посторонний». Камю находится на границе экзистенциализма, но видит проблему отсутствия смысла так же остро, как и экзистенциалисты. Его герой — человек, лишенный субъективности. Он ничем не примечателен. Он поступает так, как поступал бы любой заурядный мелкий чиновник. Он посторонний потому, что совершенно не способен установить экзистенциальную связь с самим собой и своим миром. Ничто из происходящего с ним не обладает для него реальностью и смыслом: любовь — не настоящая любовь, суд — не настоящий суд, казнь не имеет никакого оправдания в реальности. У него нет ни вины, ни прощения, ни отчаяния, ни мужества. Он описан не как личность, а как абсолютно обусловленный психологический процесс: он или работает, или любит, или убивает, или ест, или спит. Он объект среди объектов, лишенный смысла в себе и поэтому неспособный найти смысл в своем мире. Он символизирует ту предренность абсолютной объективности, против которой борются все экзистенциалисты. Он символизирует ее непримиримо и в наиболее радикальной форме. Мужество, с которым создан этот образ, подобно мужеству Кафки, создавшего образ господина К.

Если мы бросим взгляд на театр, то увидим сходную картину. Театр, особенно в Соединенных Штатах, полон образами, передающими отсутствие смысла и отчаяние. Некоторые пьесы посвящены только этим темам («Смерть коммивояжера» Артура Миллера); в других отрицание не так безусловно — «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса. Но это

¹¹ У. Х. Оден (1907—1973) — английский поэт. С 1939 г. жил в США.

отрицание редко оборачивается положительным решением: даже при более или менее благополучных развязках присутствуют сомнения и осознание двусмысленности всякой развязки. Однако удивительно, что в стране, где преобладает мужество быть частью системы демократического конформизма, на эти спектакли приходят толпы зрителей. Что это может значить для ситуации в Америке и одновременно для человечества в целом? Можно без труда оспорить важность этого феномена. Конечно же, можно сослаться на тот бесспорный факт, что даже самые огромные толпы театралов — это бесконечно малая часть населения Америки. Можно принизить значение той притягательной силы, которой обладает в глазах многих театр экзистенциализма, и назвать его займствованной модой, обреченной на скорое исчезновение. Возможно, это и так, но вовсе не обязательно. Может быть, эти сравнительно немногие (немногие, даже если добавить к ним всех юнцов и разочарованных из наших высших учебных заведений) и есть тот авангард, который предвещает кардинальную перемену духовной и социально-психологической ситуации. Может быть, границы мужества быть частью стали видны большему числу людей, чем об этом свидетельствует нынешняя конформность. Если привлекательность экзистенциалистского театра объясняется именно этим, то следует отнестись к нему со всем вниманием, дабы он не стал предвестием коллективистских форм мужества быть частью, — а наличие этой угрозы история многократно доказывала.

Сочетание опыта отсутствия смысла и мужества быть собой определяет развитие изобразительного искусства с начала века. Экспрессионизм и сюрреализм разрушают внешние формы реальности. Категории, лежащие в основе житейского опыта, утратили свою силу. Утрачена категория субстанции — твердые предметы вьются, как веревки; причинная связь вещей игнорируется — все возникает совершенно случайно; временная последовательность лишена значимости — совершенно безразлично, произошло ли данное событие до или после другого; пространственная протяженность отвергнута или поглощена ужасающей бесконечностью. Органические структуры жизни расчленены и произвольно (с точки зрения биологии, но не искусства) составлены вновь: части тела разъединены, цвета отделены от их естественных носителей. Психологический процесс (это в большей мере относится к литературе, чем к искусству) обращен вспять: человеческая жизнь направлена из будущего в прошлое, и все это лишено ритма и какой-либо осмысленной организации. Мир тревоги — это мир, в котором утрачены категории, задающие структуру реальности. У всякого голова пойдет кругом, если причинность вдруг утратит силу. В искусстве экзистенциализма

(я предпочитаю так его называть) причинность утратила силу.

Современное искусство обвиняли в том, что оно ведет за собой тоталитарные системы. В качестве возражения недостаточно указать на то, что все тоталитарные системы начинали свой путь с борьбы против современного искусства: ведь тогда можно ответить, что тоталитарные системы боролись с современным искусством лишь потому, что они пытались оказывать сопротивление выраженному в нем отсутствию смысла. Настоящий ответ на этот вопрос лежит гораздо глубже. Современное искусство — это не пропаганда, а откровение. Оно говорит правду о действительности нашего существования. Оно не скрывает реальности, в которой мы живем. Поэтому возникает следующий вопрос: служит ли откровение о ситуации средством пропаганды этой ситуации? Если бы это было так, то всякое искусство превратилось бы в бессовестное украшательство. Искусство, пропагандируемое тоталитаризмом и демократическим конформизмом, — это бессовестное украшательство. Эти системы предпочитают идеализированный натурализм, потому что он не грозит критичностью и революционностью. Создатели современного искусства смогли увидеть отсутствие смысла в нашем существовании; они соучаствуют в присутствующем ему отчаянии. В то же время у них достало мужества взглянуть отчаянию в лицо и выразить его в своих картинах и скульптурах. Они проявили мужество быть собой.

Мужество отчаяния в современной философии

Экзистенциальная философия дает теоретическое обоснование тому, что в искусстве и литературе мы назвали мужеством отчаяния. Хайдеггер в своей работе «Бытие и время» (значение этой работы для философии не зависит от того, что сам Хайдеггер, критикуя и отрекаясь, о ней говорит) описывает мужество отчаяния в точных философских терминах. Он тщательно разрабатывает понятия небытия, конечности, тревоги, заботы, неизбежности смерти, вины, совести, Я, соучастия и т. д. Затем он анализирует феномен, который он называет «решимостью». Соответствующее немецкое слово (Entschlossenheit) символизирует отрицание того, что было заперто тревогой, конформностью и самозащитой. Когда то, что было заперто, отрицается, человек способен действовать, не подчиняясь нормам, заданным кем-то или чем-то. Никто не может направлять действия «решившегося» индивида — ни Бог, ни социальные условности, ни законы разума ни нормы или принципы. Мы должны быть самими собой, мы должны решать, куда идти. Наша совесть — это призыв к нам самим. Этот призыв не сообщает нам ничего конкрет-

ного, он не есть голос Бога или осознание вечных принципов. Он зовет нас к нам самим, от жизни добродетельного обывателя, от повседневных разговоров, от рутины, от приспособления — этого главного принципа конформного мужества быть частью. Однако если мы следуем этому призыву, то неизбежно становимся виновными, но не в силу нашей нравственной уязвимости, а в силу нашей экзистенциальной ситуации. Обладая мужеством быть собой, мы становимся виновными, и от нас требуется принять на себя эту экзистенциальную вину. Лишь тот, кто решительно принимает на себя тревогу конечности и вины, может смело встретить отсутствие смысла во всех его проявлениях. Не существует ни норм, ни критериев того, что правильно, а что нет. Решимость делает правильным то, что она считает правильным. Историческая роль Хайдеггера состоит в том, что он осуществил экзистенциалистский анализ мужества быть собой полнее, чем кто-либо другой, а в историческом плане — с более разрушительными последствиями.

Из ранних произведений Хайдеггера Сартр сделал такие выводы, которые поздний Хайдеггер не принял. С точки зрения истории Сартр вряд ли был прав, делая такие выводы. Сартру легче было их сделать, чем Хайдеггеру: ведь за онтологией Хайдеггера стоит мистическое понятие бытия, для Сартра — лишенный смысла. Выводы Сартра из экзистенциальной аналитики Хайдеггера не ограничены мистическим понятием бытия. Именно по этой причине Сартр стал символом сегодняшнего экзистенциализма — и не столько благодаря оригинальности своих исходных понятий, сколько благодаря радикализму, последовательности и той психологической убедительности, с которыми он их отстаивал. Я имею в виду прежде всего его тезис: «Сущность человека есть его существование». Это изречение, как луч света, освещает всю сцену экзистенциалистского творчества. Его можно было бы назвать самым отчаянным и самым мужественным изречением во всей экзистенциалистской литературе. Оно означает, что человек не обладает сущностной природой: он обладает лишь возможностью сделать из себя то, что захочет. Человек сам создает то, что он есть. И ему не дано ничего, что обуславливает этот творческий процесс. Сущность его бытия — императивы «надо», «следует» — это не то, что он находит, а то, что он создает. Человек — это то, что он из себя делает. А мужество быть собой — это мужество быть тем, кем ты решил быть.

Существуют экзистенциалисты, занимающие менее радикальную позицию. Карл Ясперс предлагает новую конформность, выраженную на языке всеохватывающей «философской веры»; другие говорят о *philosophia perennis*¹², а Габри-

эль Марсель движется от экзистенциалистского радикализма к полуконформизму средневековой мысли. И все же экзистенциализм в философии представлен прежде всего Хайдеггером и Сартром.

Нетворческое экзистенциалистское мужество отчаяния

В предыдущих разделах я писал о людях, чье творческое мужество позволяет им выразить экзистенциальное отчаяние. Творческих людей мало. Но существует и цинизм, нетворческая экзистенциалистская позиция. Современное представление о цинике не соответствует древнегреческому употреблению этого слова. Для греков киник был критиком существующей культуры с позиций разума и естественного закона; он был революционным рационалистом, последователем Сократа. Современные циники не способны следовать за кем-либо. У них нет ни веры в разум, ни критерия истины, ни системы ценностей, ни ответа на вопрос о смысле. Они стараются нарушить всякую предложенную им норму. Их мужество выражается не в творчестве, а в стиле жизни. Они мужественно отвергают любое решение, которое может лишить их свободы отвергнуть все, что они хотят отвергнуть. Циники одиноки, хотя они нуждаются в других людях для того, чтобы продемонстрировать свое одиночество. Они лишены как предварительных смыслов, так и окончательного смысла и поэтому легко становятся жертвами невротической тревоги. Проявление нетворческого мужества быть собой подчас выливается в самоутверждение, понимаемое как обязанность, и в фанатичное самоотречение.

Границы мужества быть собой

Все это подводит нас к вопросу о границах мужества быть собой как в его творческих, так и в нетворческих формах. Мужество — это самоутверждение «вопреки», а мужество быть собой — это самоутверждение Я в качестве самого себя. Но тогда напрашивается вопрос: что такое это Я, которое утверждает себя? Радикальный экзистенциализм отвечает: это то, что оно из себя делает. И это все, что он способен сказать, потому что любой другой ответ ограничил бы абсолютную свободу Я. Я, отсеченное от соучастия в мире, — это пустой сосуд, чистая возможность. Оно вынуждено действовать в силу того, что живет, но оно вынуждено переделывать всякое действие потому, что деятельность вовлекает действующего человека в сферу того, на что он воздействует. Деятельность задает содержание и по

¹² «Вечная философия». Имеется в виду философия Фомы Аквинского.

этой причине ограничивает свободу человека сделать из себя то, что он хочет. В классической теологии, как католической, так и протестантской, лишь Бог обладает подобной прерогативой. Он есть *a se* (из себя), или абсолютная свобода. Все, что есть в Нем, — от Него. Экзистенциализм, воспринявший известие о смерти Бога, передал человеку божественную «асейность». Все в человеке должно быть от человека. Но человек конечен, он предоставлен самому себе таким, каков он есть. Он получил свое бытие и вместе с ним — его структуру, включающую конечную свободу. А конечная свобода — это не *асейность*. Человек может утверждать себя лишь в том случае, если он утверждает не пустой сосуд, не чистую возможность, а структуру бытия, внутри которого он располагается еще до действия или не-действия. Конечная свобода обладает определенной структурой, и если Я пытается преодолеть эту структуру, то утрачивает само себя. Несочастливый герой «Возмужания» Сартра пойман в сеть случайностей, обусловленных отчасти подсознательными уровнями его собственного Я, а отчасти окружением, с которым он не может порвать. Уверенное в своей пустоте, Я заполняется содержаниями, которые поражают его лишь потому, что оно не понимает или не принимает эти содержания в качестве содержаний. То же самое относится и к цинику, о чем мы уже говорили выше. Он не способен избавиться от тех устремлений своего Я, которые могут повлечь за собой полную утрату той свободы, которую он хочет сохранить.

В мировом масштабе эта диалектика саморазрушения радикальных форм мужества быть собой проявилась в тоталитарной реакции двадцатого века на революционный экзистенциализм девятна-

дцатого. Экзистенциалистский протест против дегуманизации и объективации и свойственное ему мужество быть собой обратились в наиболее продуманные и жесткие формы коллективизма, которые когда-либо знала история. Подлинной трагедией нашего времени стало то, что марксизм, возникший как движение за освобождение каждого, превратился в систему порабощения каждого, даже тех, кто сам поработает других. Трудно представить себе размеры этой трагедии и ту психологическую катастрофу — особенно в среде интеллигенции, — которую она повлекла за собой. Огромное число людей утратило мужество быть, потому что это было мужество быть в смысле революционных движений XIX века. Когда оно потерпело крах, люди обратились либо к неокolleктивистской системе, что было фанатично-невротической реакцией на причину их трагического разочарования, либо к цинично-невротическому безразличию по отношению к любой системе и всякому содержанию.

Очевидно, что нечто подобное можно проследить и на примере превращения нищепанского типа мужества быть собой в фашистско-нацистские формы неокolleктивизма. Фашистско-нацистские движения породили такие тоталитарные механизмы, которые воплотили едва ли не все то, чему противостоило мужество быть собой. Они использовали всевозможные средства для того, чтобы сделать подобное мужество невозможным. И хотя в отличие от коммунизма эта система пала, за ее падением последовали замешательство, безразличие и цинизм. А все это создает почву, на которой произрастает ностальгия по сильной власти и новому коллективизму.

Перевод с английского Татьяны ВЕВЮРКО

Пауль Тиллих: оправдание сомнениям

Пауль Тиллих — крупнейший христианский философ и теолог, оказавший значительное влияние на религиозно-философскую мысль XX века.

Он родился 20 августа 1886 г. в Пруссии, в небольшом селении (сейчас это территория Польши). Тиллих вырос и сформировался под сильным влиянием лютеранского христианства и классической немецкой культуры XIX века. Оба эти компонента соединились в личности его отца, лютеранского пастора, который был высшим авторитетом в мире юного Пауля. В зрелом возрасте Тиллих сохранил духовную близость с отцом, однако сознательно преодолел зависимость от отцовского авторитета: эта борьба была важна для развития его личности и для его творчества.

Пауль учился в классических гимназиях в Кенигсберге и Берлине, универси-

тетские годы (1904—1909) он провел на теологических факультетах Берлина, Тюбингена, Галле. С гимназических лет он изучал античную и немецкую классическую философию. В студенческие годы Тиллих увлекался философией Шеллинга и написал диссертацию «Предпосылки и принципы концепции истории религии в позитивной философии Шеллинга», за которую в 1910 г. получил ученую степень доктора философии в университете Бреслау. Два года спустя он стал также доктором теологии, представив в университет Галле работу «Мистицизм и сознание вины в философской эволюции Шеллинга».

В студенческие годы для Тиллиха была важна встреча с Мартином Келером, профессором университета Галле. Под конец жизни, уже в 60-е годы, Тиллих вспоминал, что зерно его идеи об «оп-

равдании сомнением» содержалось в лекциях Келера: «Он учил нас: сомневающийся в любом утверждении Библии или вероисповедного документа может, тем не менее, быть принят Богом. Можно сочетать уверенность в том, что ты будешь оправдан, с самым радикальным сомнением».

В августе 1912 г. Тиллих стал лютеранским пастором. Два года он служил в рабочих кварталах Берлина, а с началом первой мировой войны пошел добровольцем в армию и был назначен капелланом в артиллерийский полк.

П. Тиллих провел на фронте почти всю войну. Его военный опыт во многом подобен опыту тех молодых интеллигентов, которые позже написали «На Западном фронте без перемен» и «Прощай, оружие» — книги, выразившие новое мировосприятие «потерянного поколения».

Когда двадцатидевятилетний пастор Тиллих попал на Западный фронт, он был монархистом, вполне традиционным лютеранином и политически наивным немецким патриотом. За годы войны он пережил решающий и единственный в своей жизни перелом. Немецкая культура XIX века, сформировавшая его и давшая смысл его жизни, рухнула у него на глазах. В этом эсхатологическом крушении Тиллих участвовал всем своим существом.

Сначала он разделял всеобщий патриотизм, надежду на скорую победу и «веру в доброго Бога, который все устроит к лучшему». Во время боевых действий он подвергался тем же опасностям, что и солдаты. В мае — июне 1916 года Тиллих участвовал в Верденском сражении — самой кровопролитной битве той войны. Постоянное созерцание смерти и страданий опрокинуло его представление о мире. В декабре 1916 г. он писал отцу: «Мы испытываем страшнейшую из катастроф — конец мирового порядка... Конец близится, и он сопровождается глубочайшими страданиями». Переживание того, что вместе с сотнями тысяч жертв гибнет вся его цивилизация, чтобы уступить место некоему новому миру, Тиллих назвал своим «личным **кайросом**». («Кайрос» — греческое слово, означающее «время свершения» и употребляющееся в Новом Завете; оно стало одним из важнейших понятий в социальной мысли Тиллиха.) Личный кайрос молодого капеллана Тиллиха — это осознание того, что нечто новое и непредвиденное врывается в его жизнь в момент, когда и он созрел для перемен, готов принять это новое и действовать в согласии с ним.

Результатом стало переосмысление собственной веры. Вера в доброго Бога, который все устроит к лучшему, утратила достоверность. Старое понятие о Боге рухнуло, на его месте возникла пустота, «значимое отсутствие», смысл которого человеку веры теперь предстояло осознать. Поэтому в декабре 1917 г. Тил-

лих написал: «Продумав идею оправдания верой до ее логического завершения, я пришел к парадоксу о вере без Бога».

В самом деле: ведь по учению реформаторов человек оправдывается *sola fide*, только верой, а тогда даже при распаде предмета или содержания веры сам акт веры не делается бессмысленным. Тиллих имел в виду именно это: несколько десятилетий спустя в «Мужестве быть» он напишет о «безусловной вере», которая появляется отделенная от всех утраченных свой смысл религиозных содержаний, «когда Бог исчезает в тревоге сомнения».

Пастор Тиллих прошел через опыт молчания, когда почувствовал, что более не способен проповедовать надежду перед лицом бессмысленной смерти. Погибли миллионы, а он оставался жить, и это породило чувство вины.

Война закончилась поражением, в Германии разворачивалась революция. Тиллих, молодой философ и бывший фронтовик, видел свою задачу в том, чтобы на обломках буржуазной цивилизации участвовать в создании чего-то нового, что он вскоре назовет «религиозным социализмом».

Однако ближайшим образом ему хотелось продолжить свою прерванную академическую карьеру и достичь положения ординарного профессора философии.

В конце войны Тиллих вернулся в Берлин и после увольнения из армии получил место приват-доцента в университете. Русский читатель знает о Берлине начала двадцатых годов, в частности, из прозы Набокова и Эренбурга. Это было время бурного обновления интеллектуальной культуры на фоне социальной смуты и экономического хаоса. Война и революция сломили старый порядок и его ценности, а облик нового мира был неясен. Наступило время растерянности и поиска. Тиллиха манило все новое: экспрессионистская живопись, экспериментальный театр, новые социальные и психологические теории. В берлинский период обнаружилась его склонность к тому, что он описывал словом «богема», т. е. к тем социокультурным явлениям, которые противоречили буржуазному порядку и его ценностям; богема — это все «пограничное» в культуре. Богема притягивала Тиллиха: он посещал кафе, где собирались «новые» художники и поэты, легко увлекался женщинами; его интересовали психоанализ и марксизм, что предполагало критическое отношение к буржуазному обществу и его морали. И все же Тиллих был не в состоянии забыть свою кровную связь с немецкой культурой XIX века и лютеранской традицией. Всю жизнь он хотел примирить эти два взаимоисключающие устремления: верность традиции и тягу ко всему неизведанному, едва появляющемуся. Эта особенность духовного склада Тиллиха определила и его творчество: в своей апологетической «системе» он попытался соединить и синте-

зирать то, что другие великие теологи нашего века (и прежде всего Карл Барт) стремились разделить и развести.

В двадцатые годы Тиллих начал искать ответы на вопросы, возникшие в результате кризиса западноевропейской культуры и христианства. Тогда же начал складываться собственный язык Тиллиха, на котором позже он сформулировал свою апологетическую теологию — попытку ответа на все эти вопросы. Так рождалось его учение о кайросе, его теология культуры, представление о демоническом в человеческой душе и истории — все то, что затем вошло в его «систему».

«Теология культуры», по мысли Тиллиха, призвана выявить конкретный религиозный опыт, находящийся в основе культуры во всех ее проявлениях; религия рассматривается здесь как **субстанция** культуры, а не как одна из ее областей.

В те же годы формировалась и социальная мысль Тиллиха, его «религиозный социализм». В 1919 г. Тиллих прочел доклад на собрании Независимой социалистической партии, за что его критиковали в церковных кругах. Лютеранская церковь оставалась одной из самых консервативных сил в немецком обществе. Между тем доклад Тиллиха, текст которого был опубликован отдельной брошюрой, назывался «Социализм как вопрос Церкви».

В 1920 г. Тиллих посещает собрания религиозного социалистического кружка, который стал известен в Берлине как «кружок кайроса». Религиозный социализм Тиллиха родился из надежды на возникновение нового порядка, который будет религиозным и социалистическим одновременно. Целью религиозного социализма в понимании членов этого кружка была **теономия**, т. е. суверенное господство Бога, признание людьми того, что Бог есть все во всем. Тиллих считал, что в отличие от гетеронимии и автономии в их Кантовом понимании теономия предполагает большую открытость общества навстречу творческому участию Духа в истории. Стремление к теонимному порядку общества, по мысли Тиллиха, противостоит демоническому началу и должно преодолеть его господство в человеческой истории, в социальной и политическом устройстве. Представление о **кайросе** как о моменте исполнения такого эсхатологического чаяния, моменте соединения божественного порядка с человеческой историей всегда оставалось центральным в социальной мысли Тиллиха, хотя со временем его политические взгляды стали более реалистичными.

Двадцатые годы и начало тридцатых были для Тиллиха временем плодотворной работы в разных университетах Германии. После приват-доцентства в Берлине он преподавал теологию в Марбурге, а затем, наконец, его пригласили на должность профессора философии и религии в Дрезденский технологический

институт. Последним и наиболее блестящим этапом его академической карьеры в Германии стал Франкфуртский период (1929—1933); он был профессором философии вплоть до эмиграции в 1933 г. В эти годы вышли в свет его первые крупные работы — «Религиозная ситуация современности», «Оправдание и сомнение», «Социалистическое решение».

Как известно, после первой мировой войны возникла и привлекла к себе всеобщее внимание **диалектическая теология**, которую ее противники называли «неоортодоксией». Диалектическая теология, сделавшая главным объектом своей критики либеральную теологию XIX—начала XX в., заявила о себе как о принципиально новой модели теологического познания. Первый теоретик диалектической теологии Карл Барт указывал на пагубность отождествления христианства с культурой и социальными институтами буржуазной («христианской») Европы. Христианство находится «по ту сторону буржуазной религии». Вера как парадоксальное откровение «неизвестного Бога» не опосредуется религией, Церковью или культурой¹³.

Когда Тиллих начал преподавать в университетах Германии, среди студентов-теологов (особенно в Марбурге) было немало последователей Барта. Тиллих всегда держался в стороне от этого нового теологического движения и относился к нему скорее критически. А собственные идеи Тиллиха, опиравшиеся на наследие философии религии, на традицию протестантского мистицизма и использовавшие язык классической философии, марксизма и психоанализа, были чужды значительной части его аудитории.

Как уже отмечалось, Тиллих искал возможность **синтеза** там, где Барт провозглашал «**диастаз**», разрыв. Философско-теологическая система Тиллиха стремилась сделать все области культуры предметом христианской теологии. Более того, дальнейшее развитие мысли Тиллиха показывает: его апологетическая теология «примиряет» либерализм и неоортодоксию.

Пять лет во Франкфурте в должности профессора философии стали для Тиллиха годами первой славы. Франкфуртский университет был известен своим левым радикализмом, в это время возникла знаменитая Франкфуртская школа. Здесь Тиллих чувствовал себя гораздо лучше, чем в протестантском Марбурге. Он, естественно, не был членом Франкфуртского института социальных исследований и не отождествлял себя со «школой», но дружба Тиллиха с ее создателями, его готовность обсуждать проблематику новой социальной философии в предложенных ими категориях свидетельствуют о том, что открытость к «си-

¹³ О диалектической теологии и К. Барте см.: С. В. Лёзов. Христианство и политическая позиция: Карл Барт.— «Путь», 1992, № 1, с. 153—180.

туации» действительно была предпосылкой творчества Тиллиха.

Уже в начале тридцатых годов, по мере усиления нацистов, над Франкфуртским университетом стали сгущаться тучи: он получил прозвище «красного университета». Отношение Тиллиха к национал-социализму было безусловно отрицательным: его друзья, в частности Теодор Адорно, попросили Тиллиха выразить свою позицию публично. Так в 1932 г. появилась работа «Социалистическое решение». В ней Тиллих характеризовал национал-социализм как политический романтизм, способный вернуть европейское общество в эпоху варварства. Когда в 1933 г. Гитлер пришел к власти, «Социалистическое решение» было сразу же запрещено и изъято из продажи. В том же 1933 г. Тиллих в числе других профессоров был отстранен от преподавания.

Приход нацистов к власти подменил собой **каприз** или исполнение «нового бытия», которого Тиллих ждал в 20-е годы. Он решил, что теперь история европейской цивилизации повернула вспять. Торжествующий национал-социализм вызывал у Тиллиха прежде всего отвращение.

Уже в первые месяцы национал-социалистического господства перед гуманитарной интеллигенцией, не готовой к сотрудничеству с новой властью, встал вопрос о возможности и оправданности эмиграции. Жена Тиллиха настаивала на отъезде. Вот как он вспоминал об этих обстоятельствах в пятидесятые годы: «К моменту нашей эмиграции нас более всего шокировала не его [Гитлера] тирания и жестокость, а его невообразимо низкий культурный уровень, проявлявшийся в его речи. Мы вдруг поняли, что если немецкая культура смогла породить Гитлера, то с этой культурой что-то не в порядке. Это подготовило нас к эмиграции в Америку и сделало более открытыми для восприятия новой реальности, с которой мы здесь встретились».

Тиллих все больше осознавал, что не готов отказаться от академической деятельности ради политической борьбы против нацистского режима. В ноябре 1933 г. по приглашению знаменитой нью-йоркской высшей теологической школы Union Theological Seminary Тиллих вместе с семьей отправился в Америку. Он оказался в чужой стране, когда ему было 47 лет. Он не знал английского языка и был уверен, что по-настоящему философия и теология едва ли возможны за пределами Германии и менее всего — в глубоко провинциальной, как он считал, Америке.

Америка приняла Тиллиха дружелюбно. Union Theological Seminary находится в самом центре огромного Колумбийского университета в Нью-Йорке. Там Тиллих почувствовал себя уютно. В первые месяцы по приезде в США он занимался главным образом изучением английского языка, так как уже с весеннего

семестра 1934 г. должен был приступить к чтению лекций. Надо заметить, что почти все свои работы американского периода Тиллих написал по-английски, хотя необходимость выражать свои мысли на этом языке поначалу вызывала у него внутреннее сопротивление. Он очень тосковал по родине, в душе отгораживался от американской жизни и почти год все еще не терял надежды на скорое возвращение в Германию.

Вначале американские коллеги нашли Тиллиху работу в качестве «приглашенного профессора» философии религии и систематической теологии, а в 1937 г. он получил постоянное преподавательское место. В 1940 г. Тиллих стал штатным профессором философской теологии в Семинарии (в том же году он получил американское гражданство) и оставался в этой должности по 1955 г. Вершиной профессиональной карьеры Тиллиха в Америке стало его профессорство в Гарвардском университете (1955—1962). В последние годы жизни Тиллиха Америка видела в нем живого классика, он был широко известен за пределами академических кругов.

Вот что интересно в этой истории: образ мышления Тиллиха был чужд и часто непонятен его американским коллегам, в тридцатые годы его работы были практически неизвестны в США, а его устный английский долгое время оставался желать лучшего. Все это не помешало американцам понять, что их интеллектуальное сообщество может научиться от немецкого эмигранта Тиллиха чему-то важному, если оно поможет ему выразить себя в непривычных условиях. (Стоит заметить, что в середине тридцатых годов, в разгар Великой депрессии, жалованье Тиллиха складывалось в значительной мере из регулярных пожертвований семинарской профессуры.) И обратно: есть основания думать, что Тиллих вопреки своим предвзятым мнениям тоже научился в Америке чему-то важному. Здесь его творчество достигло высшего подъема.

Действительно, в творчестве П. Тиллиха встретились европейская и американская интеллектуальные традиции. Изжив «немецкий провинциализм», он почувствовал себя уже не эмигрантом, а «гражданином мира». В современную ему американскую философию, где господствовал прагматизм Джона Дьюи, он внес элементы классического немецкого идеализма и экзистенциализма, христианскую мысль в Америке он обогатил синтезом философии и теологии.

В 1947 г. Тиллих впервые после отъезда посетил Германию. Впоследствии он еще несколько раз приезжал на родину, читал лекции в немецких университетах. В 50—60-е годы его идеи стали возвращаться в немецкую академическую среду, о чем свидетельствовали переводы его американских книг и публикация четырнадцатитомного собрания его сочинений на немецком языке.

Тогда же, в пятидесятые — начале шестидесятых годов, выходят в свет важнейшие произведения Тиллиха. Главным своим трудом и делом всей жизни он считал трехтомную «Систематическую теологию», в которой был сформулирован окончательный вариант «системы».

Мы уже знаем, что Тиллих называл свою систему «апологетической». Вот как он объяснял это понятие: «Апологетическая теология — это «отвечающая теология». Она отвечает на вопросы, содержащиеся в «ситуации». При этом она исходит из вечной христианской Вести и использует средства, предоставленные той ситуацией, на чьи вопросы она отвечает».

Ситуацию, с которой имеет дело теолог, Тиллих определял как «творческую интерпретацию человеческого существования», то есть как интеллектуальную культуру, истолковывающую свою социальную среду. Итак, теология отвечает на вопросы, задаваемые культурой.

Построение системы оказывается возможным благодаря предложенному Тиллихом «методу корреляции», то есть постоянного соотнесения между собой христианской Вести и ситуации, на вопросы которой Весть должна ответить.

Таковы некоторые важные предпосылки, на которых основана «Систематическая теология» Пауля Тиллиха. Однако среди его работ наибольшей популярностью у читателей-неспециалистов пользуются три тома проповедей и несколько небольших книг, в которых разработаны отдельные элементы «системы». «Мужество быть» — пожалуй, самая яркая из этих работ.

В Америке Тиллих окончательно понял свое творчество как мышление, осуществляющее себя «на границе». Его первая интеллектуальная автобиография так и называется — «На границе». Заглавие этой книги содержит аллюзию на ключевой термин экзистенциализма и психоанализа — «пограничная ситуация». В одной из своих поздних речей Тиллих говорил о том, что задача философии и социального действия — сначала признать, а затем преодолеть границы, проходящие между идеями, людьми и народами. Как мы видели, это положение укоренено в собственном жизненном опыте Пауля Тиллиха.

Действительно, мысль Тиллиха пересекает границы философии, теологии и психоанализа, его философская теология стремится соогнести Откровение и историческую ситуацию («каирос»), христианскую веру и светскую культуру XX века. Это ведет к переосмыслению основополагающих понятий самой христианской традиции. «Бог» становится «основанием бытия», «вера» — «предельной захваченностью» (или «тем, что касает-

ся меня безусловно»), «грех» — «отчуждением от бытия», «благодать» — «приятием». Центральный для Реформации принцип «оправдания верой» трансформируется в «оправдание сомнением». Здесь можно увидеть опыт того, что Дитрих Бонхёффер называл «нерегиозной интерпретацией библейских понятий».

Пауль Тиллих умер 22 октября 1965 г., в один год с Мартином Бубером и Альбертом Швейцером, двумя другими великими творцами западной религиозной философии XX века.

Книга «Мужество быть», опубликованная в 1952 г., сразу же привлекла к себе внимание читателей в разных странах. Она относится к философской классике нашего века.

Эта небольшая работа обращается скорее к «обычному» читателю, нежели к специалистам по философии, поэтому язык ее прост и «нетехничен». В книге говорится о том, что было важно для человечества на протяжении всей его истории, — о проблеме тревоги. Тиллих выделяет три типа тревоги — тревогу судьбы и смерти, тревогу вины и осуждения, тревогу пустоты и отсутствия смысла.

Человек преодолевает тревогу посредством утверждения своего Я вопреки небытию, т. е. посредством того, что Тиллих называет «мужеством быть». При этом, как показывает автор, для разных культурных эпох характерно преобладание разных типов мужества, которые он описывает как «мужество быть частью», «мужество быть собой» и «мужество принять приятие». Этот последний вид мужества Тиллих понимает как осознание человеком того, что он «принят», т. е. оправдан «силой самого бытия». Здесь мы видим христианский ответ Тиллиха на вопрос той «ситуации», в которой прошла его собственная жизнь. Его опыт показывал, что в культуре XX века распадаются все унаследованные из прошлого смыслы. Поэтому вопрос ситуации формулируется следующим образом: какое мужество может справиться с тревогой пустоты и отсутствия смысла?

Разработанная Тиллихом философская категория «мужество быть» соединяет этическую проблематику с онтологической, охватывая их и открывая путь к новому философскому синтезу. Этот синтез позволяет автору дать оригинальное толкование важнейших явлений в истории западной цивилизации. В публикуемой здесь пятой главе Тиллих рассматривает литературу, искусство и философию середины XX века как проявление «мужества быть».

Татьяна ВЕВЮРКО,
Сергей ЛЕЗОВ.

Путешествие из Петербурга в Стамбул*

Стамбул гяуры нынче славят...

А. С. Пушкин

...что в кошачьем мешке у пространства хитро,
прогрызаешь дыру,
чтобы слез европейских сушить серебро,
на азийском ветру.

И. А. Бродский, Ночной полет.

«Путешествие в Стамбул» Иосифа Бродского (1985)** — вещь странная и причудливая. Прежде всего она существует в двух вариантах — русском и английском¹ — и тем самым входит в два разных текстуальных пространства. Кстати говоря, это свойственно многим поздним произведениям Бродского, едва ли не их большинству. Английский текст переведен с русского Аленом Майерсом при участии автора. Все же его следует считать самостоятельным произведением. Русский и английский варианты не совпадают: так, первый разбит на 43 главы, второй на 46. Разнятся шутки, каламбуры, намеки, внутритекстовые комментарии: русскому читателю в отличие от англо-американского не надо объяснять, как называется родной город автора или кто такие Ходасевич и Циолковский. Иногда в английскую версию введены существенные дополнения; обратный случай, когда в переводе пропущен немаловажный кусок из русской версии, только один. Особенно примечательно то, что два варианта ориентированы на разные литературные подтексты. Английское название «Flight from Byzantium» парфразирует «Sailing to Byzantium» У. Б. Йейтса. Связь подчеркнута тем, что последняя строка знаменитого йейтсовско-

го стихотворения («Of what is past, or passing, or to come») в несколько измененном виде введена в патетический эпилог эссе «...to roar to a sea of heads about your letestation of the past, the present, and what is to come». Можно заметить и другие переключки с Йейтсом, от конкретных деталей (механический соловей) до наиболее общих пронизывающих весь текст мотивов (тема старости). В целом эссе Бродского — что видно уже из названия — строится как отрицание Йейтса. Великолепной Византии, средоточию искусства, мудрости и святости, преддверию рая, а то и попросту раю. Бродский противопоставляет угрюмый Стамбул, где путнику, равно как и местному жителю, надлежит оставить всякую надежду. Эта тонкая игра теряется для русского читателя, который со стихами Йейтса, увы, обычно незнаком (точно так же англоязычный читатель не ощутит пастернаковскую цитату «тысячелетие на дворе», которая в английской версии заменена нейтральным «millennium»). Русское название эссе, намеренно прямолинейное, отсылает к другой традиции — традиции российских философских путевых очерков: «Путешествие в Армению», «Путешествие в Арзрум», а в конечном счете «Путешествие из Петербурга в Москву».

Есть еще одна существенная разница между версией русской и версией английской. Хотя английский текст оперирует разговорным языком и даже слэнгом, в нем, несомненно, скрадывается острый стилистический рельеф рус-

* Статья написана для сборника «Brodsky's Poetics and Aesthetics» под ред. Льва Лосева и Валентины Полухиной. (The Macmillan Press, London, 1990).

** Эссе И. Бродского «Путешествие в Стамбул» напечатано в альманахе «Петрополь». Л., «Ахвилон», 1991.

ского текста. «Путешествие в Стамбул» изобилует выражениями, как бы подслушанными на ленинградских и московских кухнях, в разговорах тамошних интеллигентов, а точнее — полуинтеллигентов. Это спотыкающийся, разнаправленный, искаленный клише, канцеляризмами и псевдонаучными выражениями язык, то и дело скатывающийся к пустой болтовне, часто — к ругани: «на сегодняшний день», «на пару градусов», «немедленно снялся с места»: «александрийская традиция вертела в себя все эти веши и сильно их ужала», «Эней — по существу беспринципный прохвост», «летающий в морду песок», «война суть эхо кочевого инстинкта», «любые представления о чем бы то ни было зиждятся на опыте», «выблядок», «мы опять-таки имеем дело», «устервим». Порою это Мандельштам, пересказанный устами современного обитателя Литейного проспекта: «Тот или иной бог может, буде таковой каприз взбредет в его кучевую голову, в любой момент посетит человека и на какой-то отрезок времени в человека вселиться. <...> Очаг не отличается от амфитеатра, стадион от алтаря, кастрюля от статуи». Порою это рассуждения об истории, приводящие на мысль Зоценко и даже Аверченко: «Что впоследствии — хорошо известно: невесть откуда возникли турки. Откуда они появились, ответ на это не очень внятен; ясно, что весьма издалека. Что привело их на берег Босфора — тоже не очень ясно, но понятно, что лошади».

Эти приемы Бродского невозможно подвести под понятие сказа — уже хотя бы потому, что расстояние между нарратором и автором определяется с трудом. Скорее следовало бы говорить о специфическом модусе повествования. Этот модус включает, среди прочего, постоянную оглядку на читателя или собеседника, постоянное его провоцирование, стремление к диалогу, который кончается, не успев начаться («И еще я предвижу, что не будет ни ваз, ни черепков, ни блюда, ни человека в очках. Что возражений не последует, что воцарится молчание. Не столько как знак согласия, сколько как свидетельство безразличия»).

Во всяком случае, переводить эту речь на английский язык затруднительно или невозможно. «Выблядок — не то, что «bastard», «устервим» — не то, что «let us nastify», «рззать», произнесенное с кавказским акцентом, — далеко не то, что «massacre». «Ихних» переводится как «theirs», «две тыщи» — как «two thousands», «шикарный вид» — как «splendid papogama», и, наконец, «в процессе все мы знаем чего» переводится «in the course of the Great Terror».

Лихой, даже фельетонный язык обладает у Бродского особым семантическим потенциалом. Как уже отмечалось, он ироничен по отношению к самому себе: осознавая и используя безъязычие со-

ветской эпохи, поэт тем самым его преодолевает². Маска записного остряка-полуинтеллигента то и дело оборачивается лицом историка и мыслителя. Рядом с вызывающе-несерьезными замечаниями появляются блистательные афоризмы («Следствие редко способно взглянуть на свою причину с одобрением») или просто фразы, лишенные пародийности («В чисто структурном отношении, расстояние между Вторым Римом и Оттоманской Империей измеряемо только в единицах времени»). Да и в пассажах, данных в специфическом модусе, Бродский умудряется высказать основательную — хотя и спорную — историософскую концепцию. Парад пародий на страницах «Путешествия в Стамбул» снимает приподнято-торжественное, напряженное отношение к истории. История для Бродского есть нечто интимно-близкое, кровно, физиологически задающее (единственная аналогия здесь — вероятно, поздний Мандельштам). Поэт — естественный обитатель той среды, в которой история разворачивается, а именно времени («...пространство для меня действительно и меньше, и менее дорого, чем время. Не потому, однако, что оно меньше, а потому, что оно — вещь, тогда как время есть мысль о вещи. Между вещью и мыслью, скажу я, всегда предпочтительнее последнее»). Как раз поэтому, восприятие истории у Бродского трагичнее, чем у других крупных русских писателей. Но жертвой истории быть униженно и внутренне невозможно, ибо поэт причастен к тому — и властен над тем, — что больше историй, что ее объемлет. Давление истории преодолевается великолепным презрением стойка.

Время — основная тема «Путешествия в Стамбул», как, впрочем, и всего творчества Бродского. Во времени в отличие от пространства он чувствует себя дома. «Путешествие» достаточно сложным образом переплетает время личное («я прожил 32 года в Третьем Риме, примерно с год — в Первом»; «Сегодня мне сорок пять лет») и время историческое — пятый, девятый, двадцатый и многие другие века. В русской литературе трудно найти более полихронический текст: речь идет о Тамерлане и Сулове, о Дарии и Петре, о Тиберии, о Дидоне, о Леонтьеве. Автор считает нужным постоянно указывать на свою непрофессиональность, он извиняется, поправляет себя, предвидит и допускает возражения: «Здесь я хотел бы заметить, что мои представления об античности мне и самому кажутся немножко диковатыми. Я понимаю политизм весьма простым — и поэту, вероятно, ложным образом. Постоянно встречаются фразы типа: «Я не очень хорошо представляю себе, что творилось об ту пору в Иудее»; «При не помню уж каком султани, да это и неважно — была Ая-София превращена в ме-

чень». Эрудиция Бродского порой и в самом деле дает неожиданные сбои — например, в рассуждении об элегическом дистихе, которое уточнено в английской версии. И все же главное впечатление от «Путешествия в Стамбул» — широта исторического и культурного горизонта, свобода в обращении с материалом самых разных времен, зоркость в улавливании аналогий и структурных сходств между удаленными друг от друга на диахронической оси феноменами. Добавим к этому оригинальность мысли, которой способствует «остраняющий» взгляд внешнего, случайного, неавторитетного наблюдателя.

Византия, Константинополь, как известно, занимают особое место в российском культурном сознании. Стоит напомнить, что первый сохранившийся русский текст о путешествии — «Хождение игумена Даниила» — включает в себя, причем в самом начале, замечания о Царьграде. Таким образом эссе Бродского опирается на восьмисотлетнюю традицию. Семиотическая связь Константинополя и Москвы — огромная и многократно исследованная тема³. Однако несомненна также семантическая параллель между Константинополем и Петербургом (можно постулировать пропорцию: Москва относится к Риму так, как Петербург относится к Константинополю). Рим и Москва — старшие, первичные города, находящиеся в центре соответственных государственных универсумов и при этом естественно, постепенно выросшие из своей почвы. Константинополь и Петербург — младшие, вторичные города, эксцентрические по отношению к своим универсумам, созданные однократным волевым актом выдающегося реформатора. Оба названы именами своих основателей (в случае Петербурга это имя небесного покровителя Петра, что, впрочем, не меняет дела). При этом в обоих случаях имена эти были заменены на другие, «варварские». Москва и Рим расположены на суше («на семи холмах» у небольшой реки), Петербург и Константинополь — на морском берегу. В случае Константинополя речь идет о городе, расположенном на самой границе Европы и Азии и при этом обращенном к той Азии, которую еще предстоит вовлечь в культурный мир Римской империи. В случае Петербурга мы имеем дело с идеально обратной ситуацией: это, как известно, «окно в Европу», позволяющее азиатской или полуазиатской России приобщиться к Западу (заметим, что в обоих случаях эти «сверхзадачи» оказались невыполненными или выполненными далеко не полностью). В мифологии Константинополя и Петербурга, как недавно указал Ю. М. Лотман, устойчив эсхатологический мотив «невечного города», который должен быть стерт с лица земли наводнением — точ-

нее, потоком. Таково предсказание о Константинополе Мефодия Патарского: «И разгневается на ню Господь Бог яростию великою и пошет архангела своего Михаила и подрежет серпом град той, ударит скиптром, обернет его, яко жернов камень, и тако погрузит его и с людьми во глубину морскую и погибнет град той; останется же ся на торгу столп един <...>»⁴. Соответствующий петербургский миф широко известен. Можно заметить, что эти эсхатологические пророчества также исполнились, во всяком случае, на социально-историческом уровне: оба города потеряли свой статус и оказались отлученными от мировой цивилизации.

В сходстве двух великих городов отдавали себе отчет многие русские художники⁵. Бродский постоянно держит в памяти сетку уподоблений Стамбула и Ленинграда, указывая, в частности, на то, что по выразительному совпадению они находятся практически на одном меридиане (более восточный по культуре Стамбул парадоксально сдвинут чуть-чуть на запад). Евразийский Стамбул — как и евразийский Ленинград во всем творчестве Бродского — предстает в апокалиптическом освещении, символизируя цивилизацию, подошедшую к грани катаклизма⁶, точнее, уже перешедшую грань. Позвоительно сказать, что Стамбул и Ленинград у Бродского противопоставлены, но на определенном уровне отождествлены. Поездка в Стамбул оказывается психологическим и метафизическим субституттом невозможного возвращения в Ленинград, в Россию, в «некрополь» Чаадаева и Ходасевича.

«Путешествие в Стамбул» распадается на два текста не только внешним образом, но и внутренне. Оно не просто существует в двух вариантах — русском и английском, — но в каждом из вариантов делится на две части, не совпадающие по жанру, стилю и семантике, хотя и накрепко переплетенные. В нем можно выделить главки, повествующие об исторической судьбе Константинополя, о взаимоотношениях Европы и Азии: они складываются в цельный рассказ, имеющий признаки научно-философского трактата. Хотя и уснащенный многочисленными, порою причудливыми отступлениями, рассказ этот в общем следует хронологии и исторической логике. Начав с Константина, автор кончает современным, полностью десакрализованным Стамбулом — городом Третьего мира, где «есть только незавидное, третьесортное настоящее трудолюбивых, но ограбленных интенсивностью истории этого места людей». С другой стороны, начав с Римской империи и рассказав об империях Византийской и Османской, он завершает свой трактат новейшим воплощением имперской идеи, а именно Советским Союзом (дореформенной поры). Это

внешне спокойное (и внутренне напряженное) повествование перебивается главками иного порядка. Их можно назвать лирическими отступлениями (в любимом Бродским элегическом роде), можно назвать картинами, гравюрами, виньетками. Они также складываются в единое целое, но уже не синтагматически, а парадигматически. Их общая тема, повернутая во всевозможных ракурсах, как бы проведенная сквозь разные лица или падежи, определяется словами, открывающими одну из первых виньеток — «Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии». Если повествовательная часть насыщена именами, датами и фактами, в лирической части преобладают метафора и метонимия, горькая шутка и попросту крик. Есть главки, где оба подхода в определенной степени совмещены; в центре вещи находится метатекстовая главка 23, где автор выражает недовольство, что его записка о путешествии так разрослась, и говорит о своей нелюбви к прозе («она лишена какой бы то ни было формы дисциплины, кроме подобия той, что возникает по ходу дела»). Однако следует заметить, что оба текста, накладываясь друг на друга, «по ходу дела» создают выразительную и дисциплинированную композицию. Виньетки перебивают рассказ подобно рефрену или рифме; возникает иконический аналог греческого орнамента, которому Бродский посвящает важную часть своих рассуждений («Орнамент этот <...> временной. Отсюда его ритмичность, его тенденция к симметрии, его принципиально абстрактный характер, подчиняющий графическое выражение ритмическому ощущению. <...> Его — за счет ритмичности, повторности — постоянное абстрагирование от своей единицы, от единожды уже выраженного. Говоря короче, его динамичность»).

Любопытно, что прием этот имеет достаточно архаический antecedent в одном из ранних русских описаний путешествия на Восток, а именно у Афанасия Никитина. «Манеру изложения Афонасия Никитина можно описать так: Афонасий Никитин ведет изложение в спокойном тоне, потом вдруг вспоминает, как он был одинок среди иноверцев, и начинает плакаться, жаловаться, сокрушаться, молиться; потом опять начинает спокойно излагать дальше, но через некоторое время опять съезжает на жалобы и молитвы, потом опять принимается спокойно рассказывать, через некоторое время опять переходит к жалобам и молитвам и т. д. Словом, — все «Хождение» представляет из себя чередование довольно длинных отрезков спокойного изложения с более короткими отрезками религиозно-лирических отступлений»⁷. Аналогия композиции «Хожения за три моря» и «Путешествия в Стамбул», кстати говоря, заходит и дальше: так, повествователь-

ная часть в обеих вещах построена кольцевым образом⁸. Этот факт, который можно интерпретировать как совпадение, все же заставляет задуматься о такой категории, как «память жанра».

Обе части — историко-философская и лирическая, или же синтагматическая и парадигматическая — не просто сплетены композиционно: их связывает общая мифологическая подкладка, хотя и приобретающая разную наполненность в зависимости от контекста. Презрительно-отчужденный тон Бродского по отношению к Турции может шокировать и уже шокировал некоторых критиков, усмотревших в нем «имперскую гордыню»⁹. Если это и справедливо, то лишь отчасти («Расизм? но он всего лишь форма мизантропии»). При этом всегда следует иметь в виду мифопоэтический характер эссе и то, что Турция и мусульманство в нем являются метафорой (или метонимией) иных (более обширных) культурно-исторических явлений.

Сквозь картины «брета и ужаса Востока» просвечивает один из архетипов, интегрирующих всю мировую культуру: перед нами описание катабазиса, нисхождения в Аид, посмертных мытарств. Эта тема прямо — и с большой поэтической силой — затрагивается в главке 18: автор бредет в афинской толпе, которая представляется ему миром иным, и только то, что он не может встретить своих умерших родителей, заставляет его догадаться, что это все же не вечность. Однако лирические пассажи о Стамбуле утверждают нечто противоположное: описана именно «дурная вечность», угнетающий энтропический мир, нечто вроде бани с пауками у Достоевского. Здесь играют любые конкретные (и фактуально обособленные) детали. Так, показательна уже изолированность стамбульского пространства. Автор посещает Стамбул самолетом, то есть используя наиболее современное средство передвижения, и все же как бы сказочным путем. При этом из Стамбула трудно выбраться, его пространство оказывается ввязким, втягивающим в себя, «непокидаемым» (на другом уровне эта тема дана разрастанием, вязкостью самого текста). Замечательна кафкианская история с компанией «Бумеранг», которая автора поначалу обнадеживает, а потом оборачивается советским туристским предприятием: бумеранг констатирует постоянное возвращение — и в Стамбул, и в СССР, точнее, невозможность выхода из описанного мира, преодоления границы между универсумом мертвых и универсумом живых. Первый лирический отрывок, с которого, собственно, и начинается повесть о Стамбуле, посвящен сну — тягостному, словно сон Ипполита. Воздерживаясь от психоаналитического истолкования этого сна, обратим внимание

на два момента: во-первых, в нем лишний раз сближены Стамбул и Ленинград, во-вторых, существует устойчивая связь между сном и катабазисом — в шаманском поведении, в ритуалах, мифах, в литературе, включая «Энеиду» (Эней посещает мир иной наяву, но выходит из него воротами сна — это столь же неоднозначная ситуация, как и в эссе Бродского, где границы сна и действительности несколько смещены). Город воспринимается не только как сон, который надлежит дешифрировать, но и как болезнь («Я прибыл в этот город и покинул его по воздуху, изолировав его, таким образом, в своем сознании, как некий вирус под микроскопом. <...> Меня действительно немного лихорадит от увиденного отсюда — некоторая сбивчивость всего нижеследующего»; ср. очень сходное понимание Петербурга в «Медном всаднике», в текстах русских символистов, в «Египетской марке»: «Он думал, что Петербург — его детская болезнь, и что стоит лишь очухаться, очнуться — и наваждение рассыплется...»¹⁰).

В описании Стамбула нагнетаются отрицательные предикаты — теснота, узость, искривленность пространства, жара и духота, зловошие, «адская» гамма красок («Повсеместный бетон, консистенции князя и цвета разрытой могилы»; «у вас под ногами змеятся бурочерные ручейки <...> вниз по горбатым артериям этого первобытного кишлака»; «Нормальный, душный, потный, пыльный майский день в Стамбуле»; и мн. др.). Тупиковость пространства обманчиво компенсируется избытком времени — прошлым бесчисленных, превращенных в прах поколений, и безрадостным, неподвижным настоящим. Мир этот населен босховскими чудовищами: «Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от нее оторваться застывшие каменные жабы!» Люди в городе представлены как обитатели ада: «Местное население, в состоянии полного ступора сидящее в нищих закусовых, задрав головы, как в намазе навыворот, к телеэкрану, на котором кто-то постоянно кого-то избивает. Либо — перекидывающееся в карты, вальты и девятки которых — единственная доступная абстракция, единственный способ сосредоточиться»; «Странное это ощущение — наблюдать деятельность, не имеющую денежного выражения, никак не оцениваемую»; (ср. пушкинское «Ведь мы играем не из денег, / А только б вечность проводить»). Коммуникация с ними невозможна. Автор ни с кем в Стамбуле не знаком, не знает языка («Хватит с меня и русского, думал я»); он окружен «недосягаемыми для зренья» или «недоступными разумению» знаками, надписями, иероглифами; в этом навыворотном мире сдвигаются означаемое и

означаемое, издевательски подмигивают секвенции звуков и букв («Кто здесь кого слышит? Здесь, где «бардак» значит стакан. Где «дурак» значит остановка. «Бир бардак чай» — один стакан чаю. «Дурак автобуса» — остановка автобуса»). Вся эта ситуация — язвительная и горькая пародия на билингвизм и полилингвизм мировых городов.

Основным символом этого мира оказывается пыль, издавна (и особенно с начала нашего века) коннотирующая дьявольское начало, зло в его энтропийном аспекте¹². Это хаос без космогенных и речегенных потенций, бесконечно удаленный от логоса, разума, слова. Город оборачивается безднй крошечной («И голоса играющих на гусях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе», Откр. 18, 22). Единственный художник, которого он достоин, — путник, чуждый ему и безуспешно стремящийся вырваться из него.

Суживающееся и теснящее пространство, инертная и неподвижная среда имеют свой гравитационный центр и логический предел^{12а}. В центре Стамбула находится дворец Топкапи, в центре Топкапи — павильон, где хранятся реликвии Пророка, в центре павильона, под стеклянным колаком, — отпечаток его стопы. «Минимум сорок восьмой размер обуви, подумал я, глядя на этот экспонат. И тут я содрогнулся. Иети! Это мифологема «Кашеевой смерти» — прямое воплощение опасности, ловушки и одновременно нечеловеческой сущности описанного универсума.

Следует сказать, что мифопозитическое описание Стамбула парадоксально слетено с его демифологизацией: Стамбул есть город без глубины, сводящийся к поверхности, к видимому и непосредственно ощущаемому. Хотя поэт и пытается его дешифрировать, он не сходен с книгой. Он не имеет истинного онтологического статуса и локуса — и именно это есть главный признак (современного) Аида. Настоящее имя этого города — Нигде. Так же, впрочем, как и название недостижимого Ленинграда.

Главка 39, образец высокой поэзии Бродского, описывающая греческий храм на мысе Суньон, находится в сложном контрапункте с этими стамбульскими картинками. Тесное пространство здесь размыкается, время сдвигается с места, зловещую пыль сменяют четыре классические (и, кстати, петербургские) стихи — вода и воздух, земля и свет. Храм на Суньоне — восемнадцать белых колонн, подспудно ассоциирующихся с петербургскими колоннами, — представляет начало индивидуальности, порядка, ритма, то есть

всего того, что чуждо энтропийному универсуму Стамбула. Стамбул и Суньон — пространственные и смысловые полюса «Путешествия». Главка о Суньоне может быть интерпретирована как выход из ада, конец мытарств, обретение онтологической полноты. Однако за нею следует антиклимакс — рассказ возвращается к Стамбулу, к Третьему миру (и Третьему Риму); вся вещь завершается на горчайшей, хотя и стоической ноте — на улыбке, достойной жителя дантовского Inferno.

Синтагматическая часть эссе также основана на мифе, имеющем в русской да и в западной традиции достаточно глубокие корни: это манихейски окрашенный миф о Востоке и Западе, об их извечной противопоставленности и борьбе. Говоря в этой связи о мифе, я не хотел бы уподобиться «искусствоведу или этнологу», позитивистские возражения которого автор предвидит и отвергает. Миф для меня — не оценочная категория, а категория, наиболее удобная для описания структуры поэтической мысли. Несомненно, построения Бродского можно критиковать, усматривая в них влияние стереотипов и т. д. Однако если дело поэта — дать цельный и внутренне убедительный образ (гештальт) культуры, то Бродский не обманывает наших ожиданий. Его «трактат» есть также попытка поэтической типологии культур и опыт о культурогенной роли символа, разных возможностях его прочтения, о том, как символы обретают собственную жизнь, становясь уже не столько realia, сколько realissima.

Запад в системе Бродского далеко не идеален; но Восток, Азия даны как отрицательный полюс человеческого общества и человеческого опыта. Это прежде всего относится к исламу. Здесь легко усмотреть подтекст, восходящий к акмеистам (ср. воспоминания Надежды Мандельштам: «О. М. считал <...> тягу к мусульманскому востоку не случайной у наших людей. Детерминизм, растворение личности в священном воинстве, орнаментальные надписи на подавляющей человека архитектуре — все это больше подходило для людей нашей эпохи, чем христианское учение о свободе воли и самоценности личности. Сам О. М., чуждый мусульманскому миру — «и отвернулась со стыдом и болью от городов бородатых востока», — искал лишь эллинской и христианской приемственности»¹³). Однако Бродский идет значительно дальше. Высокая Porta для него непосредственно соотносится с православной Византией, а «дух суровый византийства» — с языческим духом Вергилия и Августа. Три империи семитически изоморфны: незвизира на разницу культур и религий, они оказываются логическим продолжением друг друга. Государство Османов (а за ним — современный Советский Союз) лишь доводит до предела возможности, изна-

чально заключенные в Византии и Риме. Так изоморфны ракета и минарет¹⁴.

«Путешествие в Стамбул» — исключительной силы инвектива против авторитарного духа, присущего русской (и советской) традиции. Можно было бы сказать, что это наиболее замечательная такого рода инвектива после «Философического письма» Чаадаева, но Бродский, пожалуй, превосходит Чаадаева по «скандальности»: он стремится вскрыть более глубокие культурные пласты, усматривая опасные авторитарные потенции в христианстве как таковом, более того — в монотеизме как таковом. Достаточно неожиданно, что «Путешествие в Стамбул» опубликовано в «Континенте» — журнале, который можно обвинить в чем угодно, но не в западническом уклоне.

Историософскую систему Бродского можно рассматривать в ряду систем, выводящих культуру из некоего «первофеномена». Наиболее известна среди них система Шпенглера. Оппозиция Запада и Востока у Бродского в общем сходна с оппозицией «аполлоновской» и «магической» культур в шпенглеровском «Закате Европы». Но Бродский предлагает для типологии культур своеобразный и, по-видимому, оригинальный критерий: они делятся на два больших класса — культуры, ориентированные на пространство, и культуры, ориентированные на время.

«Путешествие в Стамбул» выстраивает серию противопоставлений Запада и Востока, во многом традиционную. Запад рассматривается как начало демократии, Восток — как начало автократии («Не хочется обобщать, но Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии, выгоды, торговли, приспособления — т. е. традиция, в значительной степени чуждая принципам нравственного абсолюта, чью роль — я имею в виду интенсивность ощущения — выполняет здесь идея рода, семьи. Я предвижу возражения и даже согласен принять их в деталях и в целом. Но в какую бы крайность мы при этом ни впали с идеализацией Востока, мы не в состоянии будем приписать ему хоть какого-то подобия демократической традиции»). Запад осознает человека как индивидуальность, на Востоке отсутствует уважение к индивидуальности и само ее понятие («Потому возможно и «рзать», что все так друг на друга похожи и нет ощущения потери»). Запад диалогичен, Восток монологичен («Если в Афинах Сократ был судим открытым судом, имел возможность произнести речь — целых три! — в свою защиту, в Исфагане или, скажем, в Багдаде такого Сократа просто бы посадили на кол — или содрали бы с него живьем кожу, — и дело с концом, и не было бы вам ни диалогов Платона, ни неоплатонизма, ни всего прочего — как их действительно и не было на Востоке; был бы просто моно-

лог Корана...») ¹⁵. Запад стремится к законности, порядку, норме, — Восток есть внесистемное, «кромешное» начало беззакония и произвола; в этом одна из слабостей Запада, ибо он закрывает глаза на негативный потенциал человека, на его способность к анархическому и деструктивному поведению, относя оное к области патологии, и тем самым лишается возможности на него адекватно реагировать. Если на Востоке можно найти нечто позитивное, — это в лучшем случае способность погружаться в себя, строить частные и местные альтернативы окружающему миру. Таковы самаркандские мавзолеи Шах-И-Зинда: «Как лампы в темноте. Лучше: как кораллы — в пустыне».

Вся эта система оппозиций сводится Бродским к некоему инварианту. Запад обладает ощущением времени (которое «есть глубоко индивидуалистический опыт»), Восток подставляет на место уникальности коллективистскую связанность, то есть заменяет время пространством («все в этой жизни переплетается, <...> все, в сущности, есть узор ковра. Попираемого стопой»). По сути дела это развитие чаадаевской идеи о «географическом факте» и «историческом движении» из его «Апологии сумасшедшего».

Мысль Бродского блестяще эксплицирована на примере арабского и греческого орнамента: в первом случае он основан на чисто пространственном, визуальном, обессмысливающим использовании буквы, слова, фразы, во втором — на ритмически повторяющихся зарубках, устанавливающих некие параллелизмы, отмечающих движение времени; кстати, поэзия — то, что, по Бродскому, выражает глубинную сущность человека как вида, — основана на сходстве бегущих вдалеке однообразных дней («Стихи на смерть Т. С. Элиота»).

Пространство для Бродского связано с линейным принципом (проявившимся и в эпике Вергилия, и в расширении Римской империи, и в походах номадов, и в монотеизме), время — с принципом упорядоченности, с циклом, повтором, возвращением (наиболее отчетливо проявленным в греческой культуре и близкой к ней культуре римских эллигов: «Греков особенно идеализировать не стоит, но в наличии принципа космоса — от небесных светил до кухонной утвари — им не откажешь»). Линейный принцип,

согласно «Путешествию в Стамбул», идеально выражен в символике креста, который есть не только — а может быть, и не столько — священный знак христианства, сколько план римского поселения. Из текста эссе можно выделить причудливый этюд о семиотике креста; многим он, вероятно, покажется кощунственным, хотя ему свойственна внутренняя логика и острая свежесть. Тема креста в различных поворотах проходит сквозь все эссе: крест предстает то в наиболее конкретных (знак на куполе; распятие на стамбульском базаре), то в весьма абстрактных (географическая широта и долгота; движение цивилизаций с Юга на Север и кочевников с Востока на Запад) воплощениях. В конечном счете он, пожалуй, приобретает особое, окончательное и непоправимое значение: это знак перечеркивания нашей цивилизации, знак на могиле нашей эры. Ибо линейный принцип, исчерпав себя, не привел к восстановлению космического цикла. Центр и смысл мира потеряны бесповоротно: цивилизация необратимо повергается в энтропию и хаос; нет спасения от дегуманизации, от «порчи». Торжество линейности сводится к тому, что человек — в том числе, и прежде всего, поэт — оторван от своих корней, от своего места в мире. «Мизантропия? Отчаяние? Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа: от человека, которому некуда возвращаться?». Линейный, пространственный Восток, пыль и прах Востока превалируют над Западом, поглощают его. Ни стены, ни море не спасают Константинополь от натиска Азии. Последняя фраза эссе недвусмысленно дает понять, что ничто не спасет демократии Запада от натиска новоявленного тоталитарного Третьего Рима.

С Бродским можно — и, вероятно, надлежит — не соглашаться. Не будем говорить о том, что Третий Рим, как сейчас оказалось почти очевидным, к счастью, оказался непригоден для выполнения своей апокалиптической роли. Главное опровержение тезиса, что Восток есть безнадежная тирания и энтропийная «черная дыра», для меня заключается в самом явлении поэта во всем его творчестве — разумеется, не только в «Путешествии в Стамбул». «Я думаю, что страна и народ уже оправдали себя, если они создали хоть одного совершенного свободного человека» ¹⁶.

¹ «Путешествие в Стамбул». Континент (Париж), 1985, № 46, с. 67—111: «Flight from Byzantium» in Joseph Brodsky, *Less than One: Selected Essays*, Farrar, Straus, Giroux, N. Y., 1986, pp. 393—446.

² Ср.: (Аноним). «Письма о русской поэзии», в кн. Поэтика Бродского. Нью-Джерси, Эрмитаж, 1986, с. 16—37.

³ Среди новейших публикаций см.: С. С. Аверинцев. Византизм и Русь: два типа духовности. Статья первая. Наследие священной державы. Новый мир, 1988, № 7, с. 210—220.

⁴ Цит. по: Ю. М. Лотман. Символика Петербурга и проблемы семиотики города. Труды по знаковым системам, 18 (Ученые записки Тартуского государственного университета. 664), с. 31—32.

⁵ Ср. работу автора «Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов» (Yale Russian and East European Publications, 1986, № 9), с. 160—161.

⁶ Ср.: З. Г. Минц, М. В. Безродный, А. А. Данилевский. Петербургский текст и русский символизм. Труды по знаковым системам, 18, с. 87.

⁷ Н. Трубецкой. «Жожение за три моря» Афонасия Никитина как литературный памятник. Версты (Париж), 1926, № 1, с. 166—167.

⁸ Ср.: там же, с. 171.

⁹ Ср.: Rafał Grupiński «Ci wspaniali mężczyźni od podstawowych wartości...»: Kultura (Paryż), 1988, № 9, p. 13—23.

¹⁰ Осип Манделштам. Собрание сочинений в трех томах, т. 2, Международное литературное содружество, Нью-Йорк, 1971, с. 37.

¹¹ Ср. многочисленные работы В. Н. Топорова о «петербургском тексте».

¹² Более широкое обсуждение вопроса дано в работе автора «К демонологии русского символизма» (в печати).

¹³ Ср.: В. Н. Топоров. Господин Прохарчин: к анализу петербургской повести Достоевского. The Magnes Press, Jerusalem, 1982, с. 49, 69.

¹⁴ Н. Я. Манделштам. Воспоминания. Изд. 3-е, УМСА-Press, Paris, 1982, с. 268.

¹⁵ Как возможный подтекст укажем «минаретные штыки» в стихотворении Вяземского «Поздравить с Пасхой вас слышу» (1853).

¹⁶ Здесь Бродский почти дословно совпадает с Аверинцевым (см.: Сергей Аверинцев. Религия и литература, Эрмитаж, Ани Арбор, 1981, с. 43), что, видимо, следует рассматривать не как заимствование, а как конвергенцию.

¹⁷ Осип Манделштам, op. cit., с. 291.

Отклик

В ТРЕХТОМНИК ЧЕСТЕРТОНА, ИЗДАННЫЙ «ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ» (1900—1992), вошли пять из шести написанных им романов: «Человек, который был Четвергом», «Наполеон Ноттингхильский», «Возвращение Дон-Кихота», «Жив-человек», «Перелетный кабак» (все романы, кроме одного, в новых переводах), а также избранные стихотворения и множество рассказов.

Если вспомнить, что всякий раз интерес к Честертону приходился в России на эпоху, переломную для общественного сознания, то станет ясно, что нынешнее, третье явление Гилберта Кита Честертон — симптоматично. Когда в двадцатые годы переводились его рассказы и романы, в них искали занимательного чтения, а не философствования. В шестидесятые опять вспомнили о занимательности и переиздали рассказы, уже без романов. Теперь появился интерес к Честертону-мыслителю, более того, везде затихнув, литературоведческие споры о нем переключались к нам.

В предисловии к недавнему сборнику честертоновских эссе и статей С. Аверинцев схватился с Борхесом, как кажется, за поруганную честь Честертон. В предисловии к трехтомнику его поддержала переводчица и пропагандист творчества английского писателя Н. Трауберг. Совместными усилиями они доказывают, что Честертон не только и даже не столько автор детективов, сколько нравственный проповедник. Говорят ли они о Честертоне — или решают российские проблемы нравственности?

Мне кажется, попытки свести творчество Честертон лишь к нравственной проповеди менее убедительны, чем борхесовское отношение: Честертон воспевал светлое, а тянулся к темному (хотя и здесь слышится странная однозначность, почти дидактика, но навыворот). Какой-то страх вызывает у меня категоричность в истолковании его книг. Каждому предмету, каждой случайной детали предлагается свой уровень подчинения.

А как же сам Честертон?

Можно создать некий обобщенный образ его жизни и творчества — рыцарь сражается с драконом. Рыцарь бескомпромиссен, неотступен и борется за справедливость. Как бы то ни было, здесь есть несколько вариантов, о которых стоит задуматься.

Либо — меч в его руках настоящий, тогда и кровь, отворенная им, тоже настоящая; либо — меч картонный, тогда все еще сложнее: рыцарь или сумасшедший, или же сознает, что он борется с картонными декорациями. Возможен и еще вариант. Дон-Кихот владеет настоящим мечом, но вышедшим из употребления и не достигающим действительности. Тогда — цель и средства принципиально не соотносимы. Может быть, тут и содержится разгадка Честертон, вернее, дорога к разгадке? Он знал, что и высшее и низшее существуют, но он же знал, что они далеки друг от друга, а потому писал детективы и нравственные проповеди, иногда смешивая задачи жанров, но никогда не смешивая их средства.

Он призывал к ежедневному сражению с драконом, но осуществлял эти призывы лишь на бумаге — не из лукавства, но зная подлинное устройство мира, и, будучи благородными, его призывы оставались лишь призывами. Но в России, где учительство литературы так традиционно, как бы ни прочитали их, словно приказы по армии... Поэтому, наверное, хорошо, что в трехтомник вошли не философские трактаты, а популярные детективные истории и эксцентрические романы.

Как кончается самый известный роман Честертон? В божественном ярком свете восседает на престоле Четверг, окруженный своими спутниками. Кажется, хаос поражен. Все завершилось. Но это завершение есть сон. Кошмарный сон, не более.

Феликс ИКШИН

Давид САМОЙЛОВ

Друг и соперник

Впервые я встретился с Борисом Слуцким в доме Ильи Лапшина, только поступившего в Литинститут. Привел меня, кажется, Борис Смоленский, школьный товарищ хозяина. Это было весной 1939 года.

Воспоминания о Слуцком я уже один раз написал — еще при его жизни, в начале 70-х годов, — и прочитал их ему. Слушая, он сильно краснел, что было признаком волнения. Выслушав, сказал несколько коротких фраз:

— Ты написал некролог... В общем, верно... Не знал, что оказывал на тебя такое влияние....

Воспоминания те я сейчас перечитал. Они несправедливы. Они писаны в раздражении. Думаю, что их можно дополнить, исправить * <...>

Итак, у Ильи Лапшина я встретился со Слуцким. Он сразу произвел на меня большое впечатление.

Слуцкий занимался тогда инвентаризацией московской молодой поэзии. Ему нужно было знать всех, чтобы определить, кто лучше, кто хуже. Он искал единомышленников, а если удастся — последователей.

Мы вышли вместе из продыmlенной комнаты. Слуцкий был худощав и по-юношески прыщеват. Легко краснел. Голову носил высоко и как-то на отлете. Руки длинные торчали из заурядного пиджачка не первого года носки.

Он ходил, рассекая воздух.

Он не лез за словом в карман. У него была масса сведений. Он знал уйму дат и имен. Он знал всех политических деятелей мира. И мог назвать весь центральный комитет гондурасской компартии. Он знал наизусть массу стихов. Он понимал, что такое талант, и был выше зависти. Он умел отличать ум от глупости. Он умел разбираться в законах. Он умел различать добро и зло. Он был частью общества и государства. Он был блестящ. Он умел покорять и управлять. Он был человек невиданный.

Он действительно рассекал воздух.

Можно себе представить, с какой гордостью я шагал рядом с ним, обшагивая который раз клумбу в сквере бывшей Александровской площади, ныне площади Борьбы, радуясь невероятному открытию и ликуя, что наконец-то, наконец-то открылся тот, кто может превосходно мыслить и решать за меня, невдомо как одаренный ранней мудростью, давать оценку стихам и вести за руку куда угодно.

Слуцкий учинил мне допрос. Он всегда гордился умением учинять допросы. Через час он знал обо мне все.

Мы подружились быстро. С осени стали ходить на семинар молодых поэтов при тогдашнем Госиздате, куда Илья Львович Сельвинский собрал московскую молодую поэзию.

Приехал Кульчицкий. Слуцкий познакомил с ним нас, ифлийцев, — Павла Когана, Сергея Наровчатова и меня.

Кульчицкого он любил верно, нежно и восторженно. Ему отдавал пальму первенства. На него возлагал главные надежды. После гибели Кульчицкого постоянно тосковал о нем. Часто вспоминал. Испытывал чувство одиночества:

И я, как собака, вою
Над мертвой твоей головою...

Слуцкий сыграл главную роль в организации нашей компании, уже не внутриинститутской, а как бы всемосковской, ставшей чем-то вроде маленькой партии, впрочем, вполне ортодоксальной. Само наличие такой компании, где происходили откровенные разговоры о литературе и политике, разговоры по гамбургскому счету, разговоры, которые мы называли «откровенным марксизмом», могло в ту пору окончиться плохо. Но среди нас не было предателя.

В компанию, просуществовавшую до самой войны, а после финской гордо называвшую себя «поколением сорокового года», вошли Коган, Наровчатов и я — из ИФЛИ, Слуцкий — из Юридического, Кульчицкий и Львовский — из Литинститута.

Слуцкий жаждал деятельности. Он был прирожденный лидер. Тогда и долго

* Эти воспоминания никогда не публиковались.

еще потом был честолюбив. Лидером по натуре был и Павел.

Кульчицкий жил Франсуа Вийоном между щедрыми стихами и нищенскими пирами. Наровчатов был упоен обретенным знанием, своей красотой, силой и звучащими в нем стихами. Львовский и я на лидерство не претендовали.

Впрочем, нетерпимость Павла в нашей компании амортизировалась. А Слуцкому даже он отдавал предпочтение в организационных делах. Мы называли Бориса «административный гений».

Он был организатором знаменитого тогда вечера молодых поэтов в Юридическом институте, за который сильно досталось устроителям, выступления в клубе МГУ.

Чего мы хотели?

Хотели стать следующим поколением советской поэзии, очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить неудавшееся, на наш взгляд, предыдущее поколение.

Трагические условия формирования этого поколения мы не понимали, не видели, что отделенное от нас всего несколькими годами, оно еще не раскрылось. За Твардовским была одна «Муравья», за Смеляковым — «Любка Фегельман». Симонов иногда нравился. Мартынов жил на отшибе, поэмы его иногда доходили до нас, но он не вписывался в поколение, не воспринимался нами в его контексте, Борис Корнилов и Павел Васильев были убиты. И они в поколение не вписывались. Тарковский, Петровых и Липкин не были известны. Оставались только те, кто «на плаву». Их-то мы и считали предыдущими.

Все они для нас были одним миром мазаны. Их мы собирались вытолкнуть из литературы. Мы мечтали о поэзии политической, злободневной, но не приспособленной. Нам казалось, что государство ищет таланты, чтобы призвать, пожать руки и доверить. Мол, действуйте, пишите правду, громите врагов, защищайте нас. Те не годятся. Но теперь есть вы. Входите, ребята, располагайтесь в литературе.

Вот как мы представляли себе схему ближайшего будущего и тщательно готовили себя к высокой службе государственных поэтов. Разочароваться не успели. С этими идеями ушли на войну.

В наибольшей готовности находился Слуцкий. И долго еще находился. Уже после войны сказал мне:

— Я хочу писать для умных секретарей обкомов.

Идею слияния поэзии с властью не мы придумали. Она перешла к нам от старших. Такова была атмосфера, в которой мы росли, такова была традиция Маяковского, которому мы верили.

Учитель наш Илья Львович Сельвинский тщетно пытался перешибить Маяковского и завоевать Главного Читателя страны. По этому поводу съездив в стихах Слуцкий:

Апокрифы в евангелие хотят,

Но мы-то были не апокрифы, готовились в прямые евангелисты. «Готовились в пророки товарищи мои», — позже скажет тот же Слуцкий. Время было такое: верили в молитву и в разговор с земными богами.

Отношения поэзии с властью в России порой бывали интимными. Так было при Екатерине, когда поэзия была делом придворным; и при Александре, когда она стала делом светским.

Незадолго до нас литература была еще вхожа к власти.

Совсем недавно Сталин и члены Политбюро бывали у Горького и беседовали с основателем соцреализма и его соратниками о литературных делах...

Компания наша с осени собиралась регулярно. То у Павла Когана, в комнате за кухней, то у меня. Читали стихи, часами спорили о литературе и политике.

Недавнее сближение с Германией рассматривали как тактическую необходимость. Войну с фашизмом считали близкой и неизбежной. Идея различия нравственных норм тактики и стратегии принималась всеми нами. В Слуцком она глубоко и надолго засела.

У меня он стал бывать часто. С порога заявлял:

— Есть пара любопытных фактов.

Излагал какую-нибудь политическую или литературную новость. Или про встречу с интересным человеком. Ценил знакомство с информированными людьми. Таких было несколько в Юридическом институте. Рассказывал интересно. Был весел, оживлен, энергичен. Острил.

Совсем не походил на сурового Слуцкого, образ которого сложился у тех, кто узнал его позднее.

Однажды пришел встревоженный.

— Белинков сказал, что я похож на раннего Сюпервелья.

Такого поэта он не знал, что было ударом по его эрудиции. Предпринял расследование. Выяснилось, что из Сюпервелья на русский язык переведено два стихотворения в антологии Бенедикта Лившица. Выяснилось также, что Белинков французского не знает. Слуцкий успокоился. На Сюпервелья он не был похож. К Белинкову с тех пор не относились всерьез.

Поделившись со мной «парой любопытных фактов», часто доставал с полки сборник стихов — «Гяжелую лиру» Ходасевича, «Версты» Цветаевой, Сельвинского или из классики — Пушкина, Баратынского, Некрасова. Выбирал стихотворение. Читал.

Стихи читал громко, отдельно, с характерным южно-русским «г». От него так и не отучился. Но с придыханием его чтение казалось еще убедительнее. Ему чужды были поэтические завывания и распева. Читал, выделяя смысл, а не ритм, без захлеба, как бы несколько прозаизируя текст. Никто лучше него стихи Слуцкого прочитать не может.

Чаще, чем свои стихи, читал вслух чужие.

Ставил книгу на место. Говорил:

— Вот, пицик, как надо писать.

«Пицик» было харьковское слово, означавшее нечто вроде «несмышлениш».

Спрашивал строго:

— Есть новые стихи?

Их чаще всего у меня не было. Предлагал:

— Послушай стихок.

Требовал оценки. Стихи обычно мне нравились. А если делал замечание, он либо соглашался, либо говорил:

— Есть и другие мнения.

Спрашивал:

— На кого тянет?

Нужно было назвать поэта, на которого тянет. Если затруднялся, спрашивал конкретно:

— На Тихонова? На Сельвинского?

Он любил сравнивать, создавать шкалу успехов, точно определять место: кто входит в первую десятку современных поэтов? А вообще русских поэтов? А мировых? Эту особенность Слуцкого друзья называли субординационным мышлением.

Его ум требовал постоянной систематизации. Но он понимал, что истинные поэтические ценности не поддаются классификации. Сам же он утверждал идеал поэта «самостоятельного», т. е. вне систематизации, и ценил именно «непохожесть».

Однажды по его инициативе, собравшись вместе, провели голосование на тему: десять самых любимых поэтов. На первых местах оказались Маяковский и Пастернак. На последних — Рембо и Шекспир. Предложил тайное голосование — кто из нас шестерых какое занимает место. Дружно отказались.

Уже после войны рассуждал, какое бы кто получил звание, если бы в Союзе писателей ввели военные звания. Мне сказал:

— Больше, чем на майора, не потянешь.

Субординационная манера оценок породила ложное мнение о характере ума Слуцкого и его поэзии. Ум его считался рациональным, а он сам и его стихи малоэмоциональными. Для человека, знавшего его так хорошо и так близко, как я, было очевидно, что это — заблуждение. Слуцкий был чрезвычайно эмоционален, высоко одарен поэтически. Он просто до сих пор еще не прочитан да и не полностью опубликован. Для знавших его лично его манера держаться и манера читать стихи порождали искаженное восприятие его личности и поэзии.

Слуцкий, как и многие поэты, создавал образ, нарочито лишенный всякой поэтической растрепанности. Ему трудно было быть «в образе», но он никогда из него не выходил. Он стеснялся своей непосредственности и пытался рационализировать свой ум. Это удавалось ему только внешне. На самом деле даже его

система субординаций была выражением конкретности поэтического мышления, той самой конкретности, которой он добивался в своих поэтических описаниях.

Несмотря на свой якобы систематический ум, Слуцкий был типичным представителем довоенного вселенского утопизма. С верой в грядущую утопию связана одна особенность ума Слуцкого, ставившая в тупик близко его знавших.

Он точно умел определить, что происходит, но не умел или не хотел предвидеть, что произойдет из того, что происходит. В этом недостатке предвидения усматривалась некая немзыкальность, которую связывали с немзыкальностью поэзии Слуцкого.

На самом деле в этом проявлялись убежденность в осуществимости утопии и нежелание представлять себе будущее иначе.

Мне уже приходилось писать в связи с Велимиром Хлебниковым о том, что вера в социальную утопию — черта крупных писателей. Была эта вера и в творчестве Маяковского.

Слуцкий — их верный ученик. А до времени — и продолжатель.

Он и стиху учился у левых поэтов 20-х годов. Будучи любителем систематизации, стих он искал без систем, вне традиционных ритмов, рифм и образов. Он хотел писать нетрадиционно. Он был сторонником стиха, который И. Шайтанов удачно назвал «одноразовым», т. е. неповторимым. Воспроизвести вторично его нельзя, ибо сразу обнаружится эпитонство. Мне казалось, что в ту пору Слуцкий не отпускал стиха на волю, а постоянно производил над ним формальное усилие.

Однажды я спросил:

— Не надоело тебе ломать строку о колено?

Ответил:

— А тебе не надоело не спотыкаться на гладком месте?

Он ценил содержательность стиха. Но еще отдельно и «левизну», новаторство формы. Этому вкусу он остался верен навсегда. Хотя вкус этот порой подводил его: нравилось иногда и малоталантливое. Ошибался в перспективах начинающих поэтов. Попытки эпатажа и формальное самоутверждение принимал за талант.

Своего он все же добился: стих его ни на чей не похож.

Слуцкий не всегда писал хорошо. Но читать его всегда интересно. Есть поэты, которые всегда хорошо пишут, а читать их скучно.

Трудно излагать настроения того времени. У каждого из нас они приняли разную окраску. А у меня, например, было немало ифлийской путаницы в мозгах.

Яснее и проще всех мыслил Слуцкий, и потому принятые за основу были его формулы, приправленные устремлениями Павла, поэзией Кульчицкого, безоблачной верой Наровчатова и моим недозрелым гегельянством.

Тогдашнее наше мировоззрение оказалось во многом слабым, ложным и постепенно распалось. Но твердо могу сказать, что оно было честным мировоззрением и отнюдь не исчерпывалось идеей служения искусства власти.

Наше как бы согласие с властью не было полной гармонией. Мы одержимо любили подлинную поэзию и учились у нее честности. Мы требовали признания права литературы откровенно говорить с народом. У нас было представление о гражданском назначении поэзии.

И ощущение эпохи у нас было. Тут уж я могу сказать, что оно компенсировало неполноту или неточность помыслов. Оно не было заблуждением.

Умники того времени гордятся тем, что уже тогда все понимали. А они не понимали одного и самого главного: что назначение нашего поколения — воевать и умирать за нашу действительность, что много исторического выбора у нас нет, что для многих это и будет главным назначением жизни. Потому голоса мудрых скептиков всегда звучали для меня, как карканье ворон над полем боя.

Мы тоже ощущали приближение войны и внутренне снаряжались для нее, потому и сейчас продолжается наш спор с всеведущими змьями довоенных времен, сейчас, когда как бы и нету предмета для спора и надо бы признать их правоту. Но дело в том, что важна не только истина, а и путь к ней. А пути у нас разные. В нашем довоенном мышлении и самоощущении если и было трагическое начало, то только объективно, как в каждом поколении, предназначенном для войны. На деле у нас не было чувства фатальной обреченности, мы были веселыми и здоровыми молодыми людьми. Но не пришлось еще прилагать наши схемы на практике.

И в первый же раз это оказалось сложным. В первый же раз в лоб предложенный историей вопрос поверг почти всех нас в смущение.

Это было в начале незначительной финской войны.

Почему на фронт пошел тогда без колебаний один Наровчатов? Кажется, Слуцкий был решительно лучше нас подготовлен к войне. А он, говорят, ушел из добровольческого батальона. Почему не пошел Павел, человек, чья храбрость ярко проявилась в большой войне? Не пошел и Кульчицкий. Его военные письма тоже свидетельствуют о мужестве. О себе и Львовском не говорю. Я поздно созрел для войны. А он не созрел никогда.

Станным и сомнительным оказалось в ту пору поведение нашей поэтической компании. Героем был один Наровчатов. Значит, вера его была подлинная. Может, и раннее его восхождение, и отсутствие сомнения, и преобладание киплингаевского порыва привели потом к быстрому слому и выхолащиванию веры? Может быть, все это свидетельствует об

изъяне нравственного чувства у Наровчатова?

Наверное, никто из нас не думал тогда о нравственном значении той малой войны. Не думал и Наровчатов. Не думал, но и не почувствовал, ибо только подспудным нравственным чувством, неосознанным, свербящим, объясняется нерешительность всех остальных в начале финской.

В ту зиму финской войны Слуцкий появлялся редко. Жестоко тосковал Павел. Это казалось угрызениями совести. В том, как ринулись на войну с Германией Павел и Слуцкий, было и некое чувство искупления.

После финской мы продолжали встречаться, Слуцкий познакомил меня с Петром Гореликом, лейтенантом, учившимся в военной академии, с той поры одним из ближайших моих друзей.

Были какие-то вечера, нас впервые напечатали в «Октябре». Но в компании наступил разброд. Какие-то личные тактизмы. Со Слуцким было легче, чем с другими. Свои личные чувства он не любил выставлять напоказ. Только мучительно краснел от любви.

Я продолжал питаться его соображениями и формулами, как личинка муравьиным медом. Он меня выкармливал, а я ему подражал. И это надолго.

Я усвоил его отрывистую речь и так усовершенствовался, что многие думали, что я всегда так разговаривал. Изучил я и Борисову манеру острить. Некоторые остроты в духе Слуцкого мы и сейчас оспариваем друг у друга. В частности, остроту о Жуковке, приведенную в книге С. А. В любом случае половина авторства — его. Это работа из мастерской Слуцкого...

...Началась война. Помню фразу Слуцкого: «Если кто-нибудь из нас погибнет, какую икону сотворят из него остальные». В этих словах — тяга познать будущее и обычное неумение предвидеть. Иконы из погибших создавали не друзья, не мы дорисовывали недорисованный портрет. Первый день войны я описал. Слуцкий вскоре ушел на фронт. Посылал короткие директивные открытки. Вскоре был ранен и сообщал не без шутки: «Выврало из плеча на две котлеты».

Мы встретились в октябре 41-го, Слуцкий — лихой уже вояка, прошедший трудные бои и госпитали, снисходительный к моей штатской растерянности.

— Таким, как ты, на войне делать нечего, — решительно заявил он. Он, как и другие мои друзья, соглашался воевать за меня. Мне как бы предназначалась роль историографа.

Слуцкий побыл у меня недолго. Эти дни перед 16 октября он был деятелен, увлечен, полон какого-то азарта. Тут была его стихия. На улицах растерявшейся Москвы энергичные люди спасали архивы, организовывали эвакуацию. Слуцкий потом рассказывал, как участвовал в спасении архива журнала «Ин-

тернациональная литература». Пришел проститься.

— Ну прощай, брат, — сказал он, похлопав меня по плечу. — Уезжай из Москвы поскорей.

Я малодушно вскрипнул. Слуцкий, слегка отворачивая лицом, вновь похлопал меня, быстро вышел в переднюю и побежал вниз по лестнице.

Всю войну мы изредка перебрасывались письмами. Вскоре после моей демобилизации мы увиделись, — Слуцкий был в коротком отпуску, но как-то несосредоточенно, и от встречи мало что у меня осталось. Он воротился в Москву в сентябре 1946 года блестящим майором. Похорошевший, возмужавший, с пшеничными усами, грудь в орденах, он в тот же день явился ко мне. Я был уже женат, и жили мы на улице Мархлевского, в центре города. Слуцкий был великолепен. Мы двое суток не могли наговориться. Он тогда замечательно рассказывал о войне, и часть его рассказов, остроумных, забавных, сюжетных, он записал и давал читать друзьям машинописные брошюры: «Женщины Европы», «Попы», «Евреи» и т. д.

Памятуя о военных записках, сказал ему:

— Будешь писать воспоминания? У тебя получается.

— Не буду. Хочу написать историю нескольких своих стихов.

Все, что надо, решил вложить в стихи.

Разговаривали мы власть и в эти двое суток и после, много лет подряд. <...>

На другой день после приезда Слуцкого пришел Наровчатов. Надо было обсудить серьезные проблемы. Время не давало отдыха. Победа, как оказалось, была не только победой народа над врагом, победой советской власти над фашизмом, но и победой чего-то еще над довоенным советским идеализмом. Это чувствовалось в общественной атмосфере, в печати, в озадачивающих постановлениях ЦК.

Наша тройственная беседа происходила в духе откровенного марксизма. Мы пытались рассуждать как государственные люди. И понять суть происходящего.

Концепция Сергея была такова: постановление о ленинградцах — часть обширного идеологического поворота, который является следствием уже совершившегося послевоенного поворота в политике. Соглашение с Западом окончилось. Европа стала провинцией. Складывается коалиция для будущей войны, где нам будут противостоять англичане и американцы. Отсюда резкое размежевание идеологий. Возможно восстановление коминтерновских лозунгов.

Литература отстала от политики. Постановление спасает ее от мешанской узости и провинциального прозябания.

Передавал Сергей и слова Сталина, будто бы сказанные о Зощенко: «Если этот дурак ничего не понимает, то пусть идет к черту со своей обезьяной».

Как видим, откровенный марксизм по своему довольно толково оценивал ситуацию.

Нам не было особенно жаль ленинградцев, ибо мы считали их прошедшим днем литературы, а себя сегодняшним и завтрашним. Мы не хотели сильно обижать Ахматову, Зощенку или Пастернака, но считали, что обижают их из тактических соображений. И гордились тем, что умеем четко отличать стратегию от тактики.

Тактикой, как видно, мы считали начало великодержавной и шовинистической политики. Ждали восстановления коминтерновских лозунгов.

Беда откровенного марксизма состояла в том, что он был явлением односторонним. Власть не признавала ни откровенности, ни марксизма. Тактика оказалась стратегией. И те, поруганные и ошельмованные, были за то и поруганы, что поняли раньше нас смысл стратегии. Опыт и талант придали им силы устоять, противостоять, остаться самими собой и подготовиться к следующей эпохе лучше, чем мы, потратившие столько сил в поисках откровенности и доброго смысла там, где были сплошная ложь и злонамеренность.

Ближайшие два года показали подлинный смысл государственной стратегии. Держава окончательно отливала в азиатско-византийские формы. Требовались новые идеологи. Пресловутая борьба с космополитизмом была тридцать седьмым годом для ортодоксально-марксистских идеологов довоенного типа. Из них уцелели только самые прожженные. Обнаружилось, что во время войны руками и кровью народа одержало победу бюрократическое государство, что незаметно новая государственная идеология подменила довоенную, что некий новый слой, выдвинутый к власти, воевавший за нее ради себя, нуждался в новой своей идеологии, которую для удобства именовал тоже марксизмом, марксизмом творческим...

Прежние идеологи действительно устарели, потеряли почву. Они стаяли на почве «последнего», последний оказался предпоследним. Напрасно они доказывали ссылками и цитатами свою никому не нужную верность теории. Их изничтожали жестоко и грубо. И это даже нас коробило. Но Слуцкий все же со свойственной ему ясностью ума выстраивал новую концепцию.

С Петра I до наших дней происходит бурное развитие государственности и культуры России. Растет ее значение в исторической жизни человечества. Причины этого ее бурного развития лежат где-то в истоках русской истории, русского народного характера и государственности. В XIX веке Россия сравнялась с Европой. Белинскому, Герцену и Чернышевскому для осознания этого факта достаточно было проследить отечественную историю до Петра. Для них русская история начинается с Петра I.

Октябрь, революционное переустройство России и победа в последней войне как результат этих событий сделали Россию главной движущей силой истории и прогресса. Для объяснения факта выхода России в главные двигатели современной цивилизации требуются исследования более отдаленных истоков. Важное значение приобретает то, что игнорировалось прежде в истории духовной, общественной и государственной жизни России. Проследить это нужно до самых отдаленных времен.

С этой точки зрения живопись Рублева может быть важнее живописи Джотто. Преобразования Ивана Грозного значительнее кромвелевской революции. «Слово о полку Игореве» серьезнее песни о Роланде и нибелунгах. Нужно пересмотреть всю историю человечества с древнейших времен с позиций русской революции. Схема такова: Восток — античность — Византия — русское средневековье — Россия XVIII—XIX веков — русская революция.

Эта концепция была последним усилием откровенного марксизма. Он не выдержал ударов реальности, мерзких статей в газетах, распоясавшегося хамства и всего, чем богата была эпоха послевоенного переустройства жизни.

В середине 48-го года Наровчатов принес верстку своей первой книги «Костер», там были строки:

Быть на Одре славянским заставам,
Воевать нам славу мечом.

Остатки довоенной поэтической компании окончательно распались. Только мы со Слуцким еще несколько лет держались вместе.

Слуцкий, вернувшись с войны, привез мало стихов. Но вскоре расписался и именно в ту пору создал лучшие, на мой взгляд, стихи. Они были в духе откровенного марксизма, но это не делало их печатными. Слуцкий ждал своего часа, но кривить душой не умел. В тех стихах перевешивала откровенность. Они были посвящены в основном войне, судьбе поколения. В них были острые сюжеты, ясные чувства, трагические ситуации, хлесткие формулы.

Война была временем сближения интеллигенции с народом, временем гармонического единства. Это чувство единения было одним из самых счастливых, было изживанием интеллигентских комплексов и ощущением собственной полноценности. Это чувство очень сильно в творчестве и сознании Слуцкого.

Глобалистские замыслы, идущие от идеологии двадцатых годов, которые проявились в творчестве Когана и Кульчицкого, в общем, были лишь идеальной абстракцией и так понимались самими молодыми поэтами. В главе угла стоял реальный патриотизм, воспитанный в нас государством и временем. Он преобладал в нас и был реальным побудителем поступков. В Слуцком глобалистские идеи

никогда не были сильны. Он был политическим реалистом и патриотом.

Я усердно пытался ему подражать, но во мне не было той убежденности, марксизм мешал откровенности. Мой поэтический дебют был во всех отношениях неудачен, от него стихов не осталось.

Слуцкий не был в восторге от своего верного последователя. Он всегда умно и откровенно высказывался о моих стихах. Отмечал хорошие строки, некоторую раскованность (теперь она мне кажется раздрызганностью), некий свой облик, но и замах на печатность, утрату независимости, которая была в довоенных «Мамонте» и «Софье Палеолог». Все это верно.

Некоторые из друзей объясняют неудачу моих громоздких и неоконченных поэм послевоенного времени пагубным влиянием Слуцкого, его диктатом и давлением. Действительное отношение Слуцкого к моим стихам опровергает этот взгляд.

Натужность, внутренняя неоткровенность моих стихов, их романтическое велеречие проистекали из страха, настолько вошедшего в плоть тогдашнего времени, что он становился формирующим началом духа, движущей силой фарисейства, обоснованием прития действительности. Это был высший страх, почти страх Божий; настолько высший страх, что существовал отдельно от низшего — от страха расправы, который нарастал с каждым годом и сопровождал повсюду в часы бодрствования.

Страшные были годы, ни с чем не сравнимые.

Слуцкий и я, оба — поэты, принимающие действительность, — мы каждый день могли ожидать ареста, а дальше — известно что — методы, «бессрочные» лагеря, погибель. За что собственно? Только за то, что не умели мы пристроиться к действительности, печатая стихи, где числиться и служить. За то, что собирались кучками больше трех, разговаривали, общались, встречались.

Каково было Слуцкому, майору запаса, пенсионеру по военной инвалидности, кавалеру болгарского креста «За храбрость», члену партии и прочее, расставаться с мечтой о победном въезде в литературу и отмазываться от ласковых стукачей, пытавшихся поймать его на слове? Каково было ему ночью прислушиваться к выстрелам входной двери в парадном и к чужим шагам по лестнице? Он, впрочем, был дисциплинирован, отучал и меня от болтовни, мало с кем разговаривал откровенно.

Я был ежедневным его собеседником. Наши ровесники хорошо помнят спертую, накаленную атмосферу тех лет, нашу постоянную звинченность. Но вспоминается и другое. Был не только ужас, но и веселье. Ужас не разогнал нас по норам, а сблизил. Слуцкий бывал во множестве компаний, его стихи нравились. А объяснения успокаивали. Он

умел находить лазейки для надежды и видеть во всем некую целесообразность.

Подрабатывали мы более или менее регулярно на радио. Слуцкий создавал политические композиции типа «Народы мира славят вождя». Это ему не в упрек, я, например, начинал переводческую карьеру албанской поэмой «Сталин с нами» Алекса Чачи.

На радио Слуцкий познакомился с Ю. Тимофеевым, заведовавшим тогда детским отделом, и стал бывать в его доме на Сытинском, где толклось всегда множество народу и куда можно было забрести в любой час до глубокой ночи. Как-то притащил с собой и меня. Тимофеев умел нравиться. Понравились и его гости: молодые литераторы, актеры.

О тимофеевской компании скажу здесь только несколько слов. Кстати, впервые будущую жену Слуцкого я увидел у Тома, куда Тимофеев привел ее в качестве своей невесты.

После женитьбы отношения Слуцкого с Тимофеевым прекратились. (Одна из причин.)

Слуцкий заставил меня читать стихи. Указывал, что надо читать. Первое выступление мое в этой компании прошло бледно. Я не знаю подлинной дружбы без спора, без «тягания». Почти до конца 40-х годов (до начала 50-х) я находился под сильным творческим влиянием Слуцкого. Стихи, которые ему не нравились, я считал неудачными. Но и те, которые нравились, внутренне меня не устраивали. Большую их часть я потом отбросил. Одним из толчков послужило неудачное чтение в тимофеевской компании, куда меня привел Слуцкий и где я читал стихи по его выбору. После «Чайной» я стал писать, как сам умел. Только постепенно мою новую линию признал Слуцкий. Однако с Тимофеевым мы вскоре подружились. Я начал часто бывать у него.

В тимофеевском кружке Слуцкий был пророком, первым поэтом, непререкаемым авторитетом.

Жизнь его тогда была кочевая. Любитель статистики, он уверял, что переменил 22 квартиры. Переезды бывали не сложны, и я в них всегда участвовал. Собирались в чемодан вещи, связывались в пачки книги. И на такси происходила передислокация.

Все свободные средства Борис тратил на книги. Он умел отыскивать у букинистов редкие книги по искусству 20-х годов, редкие поэтические сборники, вроде довоенного Хлебникова, имажинистов, Тихона Чурилина; покупал множество книг по новой и новейшей истории. Справедливо полагая, что нельзя объять необъятное, мы в шутку разделили области знания между собой. Борис взял новую историю и изобразительное искусство. Я — средневековье и музыку. Мы доверяли друг другу составлять общие мнения по своим отраслям знаний.

Над своей немужьяльностью Борис посмеивался. Рассказывал, что в детстве

насилно был отдан в музыкальную школу имени Бетховена, где был последним учеником, пока не уговорил поступить туда же своего кузена.

...Страшное восьмилетие было долгим. Вдвое дольше войны. Долгим, ибо в страхе отшелушивались от души фикции, ложная вера; медленно шло прозрение. Да и трудно было догадаться, что ты прозреваешь, ибо прозревшие глаза видели ту же тьму, что и незрячие.

Мы со Слуцким сблизились и сдружились совершенно. Навсегда стали друзьями он и Ляля, моя жена. Кажется, многое в нем ей было понятней, чем во мне. Поссорились тогда лишь однажды, по пустяку. Я осмелился где-то назвать имя его любимой женщины, по правде и не подозревая о его чувствах. Недоразумение скоро разъяснилось.

Слуцкий нравился женскому полу. Его неженатое положение внушало надежды. Опять-таки в шутку мы составили список 24 его официальных невест. При всей внешней лихости с женщинами он был робок и греховодником так и не стал. Несмотря на все свои преимущества и на огромное количество послевоенных непристроенных девиц. Непосвяτικότητα Слуцкого вызывало толки, нелестные для его мужества, исходившие, главным образом, от разочарованных невест. Объясняется оно, на мой взгляд, чрезвычайной щепетильностью Слуцкого и старомодным уже понятием о нравственности, а отчасти тщеславной заботой о репутации лихого во всех делах майора, которая, вероятно, была бы поколеблена, если бы перед какой-либо особой женского пола вдруг открылись его юношеская робость, чистота и отсутствие мужского опыта.

В каком-то смысле те годы были временем высших внутренних достижений Слуцкого. Отсутствие выходов вовне умеряло утилитарность его поэтических принципов. Поэт государственный по заданию, но не признанный государством, готовый служить, но не ставший прислуживать, он формировался поэтом гражданским в самом лучшем варианте этого понятия. Отсутствие форума придавало оттенок горечи тщеславию. Честолобие было бескорыстным. Душа была свободна для доброты и участия, глубоко ему присущих и тогда ничем не подавляемых. Сама ортодоксальность была бескорыстным подвигом веры, спасавшим от озлобления, была явлением веры и надежды, которые источались на всех, кто его окружал. Мысль <...> порой побеждала надежду и веру, уставая выстраивать домыслы и приобретала грусть, которая переводит рассудок в план поэзии. Он писал:

Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.

В 1951 году я спросил его:
— Ты любишь Сталина?
Помолчав, ответил:

— В общем, да. А ты?

— В общем нет.

В общем. В частности мы были согласны. Целесообразность послевоенных мероприятий Сталина была нам непонятна. В тридцать седьмом году мы предполагали наличие непостижимой нам политической цели. Теперь, как ни крутили, — не выходило. Думаю, что сейчас, разбираясь в этом, мало учитывают один простой фактор: тяжелую старческую болезнь Сталина, усугубившую его природную подозрительность и жестокость. Он сумел заразить всю страну. Мы жили манией преследования и манией величия.

Когда умер Сталин, Слуцкий находился в возбуждении. Своих коротких определений не выдавал. Зашел и убежал смотреть вождя в Колонном зале. Чуть его не раздавили на Трубной. Он должен был быть там, где творилась история, — при закрытии занавеса.

Вечером пришел усталый, угрюмый.

— Хуже не будет, — сказал я.

Согласился:

— Не будет.

Через немногие годы он стал автором известных по всему свету стихов «Бог» и «Хозяин». Где-то Евтушенко писал, что «Бог» и «Хозяин» были написаны при жизни Сталина. Написаны после смерти, но вскоре, еще до XX съезда. Там все глаголы в прошедшем времени. Про одно произведение кто-то сказал: «Там все глаголы врут». У Слуцкого все глаголы говорят правду.

Любовь к Сталину рухнула и в Слуцком. Но и от себя не освободился.

Он сказал мне по поводу каких-то моих стихов:

— Это стихи ученика, обжевавшего с уроков. Урок — наша литература.

Живя рядом, мы обучались каждый своим наукам. Я — бегать с уроков. А Борис — сидеть в классе даже во время большой перемены. В этом — наше различие. С первой большой переменой настал час Слуцкого, которого он так долго ждал. Он снова стал рассеять воздух.

Воздух был ему благоприятен. В нем носились ожидания. В том числе и ожидание Слуцкого. Проницательный Эренбург, приуговорясь к новой службе, обозначил обнадеживающее веяние словом «оттепель». Оно было точным, потому и не понравилось наверху. У нас эпитеты идут по курсу керенок, — меньше чем за «расцвет» или за «буйное цветение» ничего не купишь. Эренбург не осторожничал, он свободно выразил упование. За оттепелью предполагалась весна.

Один из первых споров был у нас по поводу этой книги. Мне она не понравилась. Эренбург — старый метрдотель в правительственном ресторане — был в восторге, что с ним стали здороваться за ручку. Лакейские упования многим казались тогда пророчеством. Слуцкого тянуло к Эренбургу. Эренбург нашел

Слуцкого. И назвал его. Оттепели полагалась поэтическая капель. Эренбургу казалось, что он нашел подходящего поэта. В срочно формируемый ренессанс был призван Мартынов, в качестве лирика № 1, и Слуцкий на роль первого гражданского поэта. Роль его действительно была гражданской. Вопреки выморочному ренессансу Эренбурга и вступевшимся либералам.

Слуцкий выступил от имени поколения, прошедшего и выигравшего войну. Война была для него оправданием всех грехов и ошибок поколения. Он приподнимал значение отвоевавших в собственных глазах, внушал им гордость, воссоставлял чувство собственного достоинства, убеждал каждого, что тот уже совершил гражданский подвиг и имеет право на самоуважение и признание общества.

Интеллигенция радостно и благодарно прислушивалась к этому свежему голосу. Слуцкий открывал перспективу достойной жизни после недостойного существования. Четыре года войны списывали — год за два — послевоенные позорные годы. Слуцкий внушал надежду на то, что дальнейшая жизнь в рамках улучшающегося государства сулит радужные перспективы. В его стихах были яркие формулы и подлинное гражданское чувство. Казалось, что он видит дальше и видит больше, чем другие. Эренбург сравнивал его с Некрасовым. Не думаю, что галломану Эренбургу нравился подлинный Некрасов.

Слуцкий выступил с отважной критикой почившего Сталина. «Хозяин» и «Бог» разошлись в списках. Это был чуть ли не первый самиздат. Напечатаны эти стихи были постфактум.

Политический ум Слуцкого, его идея отпущения грехов и оптимистический взгляд на современную ситуацию сделали его первым гражданским поэтом того времени. Вопроса об ответственности поколения, о личной ответственности каждого — жгучего и не разрешенного никакой философией, кроме сверблящей совести, — этого вопроса он не ставил.

Нашеприятие 37-го года можно было объяснить и особой прозорливостью поколения, предчувствовавшего войну, готовившегося к ней и простившего Сталину убийства и лагеря во имя единства страны перед главной битвой коммунизма с фашизмом.

Нравственные принципы, изложенные в поэзии Слуцкого, были ясны, просты и реалистичны. Он не призывал к немедленному решительному пересмотру основ. И давал время на отдых. Эстетика Слуцкого как бы специально предназначена для решения подобной задачи. Он принципиальный последователь поэзии 20-х годов, ее лефовского, отчасти — конструктивистского направления. Басам той политической поэзии он хотел придать более мягкий баритональный оттенок.

Слущкий никогда не менял веры, не менял идеала, не изменял ему. Политическую реальность он до какого-то времени считал очередным этапом на пути к осуществлению идеала. Он остро интересовался политикой именно поэтому и всегда искал в политической ситуации признаки продвижения к идеалу. С этой точки зрения он долго был оптимистом и ортодоксом. С этой точки зрения рассматривал и роль Сталина.

Он впоследствии разочаровался в политике и в реальности, убедившись, что они не приближаются, а удаляются от его идеи. Теперь уже его интересовала степень отдаления политики от идеала. Он записывал в стихах свои горькие наблюдения.

Он всегда старался определить свое место в поэзии, в обществе, в мире. Испробовал разные шкалы измерения: по официальному признаку, по славе. Во всем этом разочаровался. Стал судить себя по шкале истории. Трудно было с точками отсчета.

В стихах, как и в принципах его, всегда ощущается некое усилие. Иногда — и насилие над собой. Но усилие внутри стиха и внутри природы противостоят поэзии и правде. Слущкий не лжет, а верит и объясняет веру себе и другим. Но талант его выше веры, сильнее формул и насильственных метафор. Это проявляется очень рано и даже в самых декларативных стихах.

Расту из хребта, как вершина хребта,
И выше вершин над землей вырастаю.

И ниже меня остается крутая
Не взятая мною в бою
высота.

Эта «не взятая в бою высота» оказывается в конечном счете выше метафорических вершин. Правда невзятая высоты всегда тайно присутствует в поэзии Слущкого. Потому так точны и жгучи некоторые его формулы, формулы, где сентиментальность спрессована и отжата. Все многосопливые дольнички какой-нибудь Ю. Друниной не стоят двух строк Слущкого о женской судьбе на войне:

Слишком тяжко даются вам войны,
Лучше б дома сидели.

Как щемяще верны эти строки — из лучших строк о войне!

Спрессованная сентиментальность вообще часто присутствует в стихах Слущкого, та же самая, что и в день нашего расставания, когда он, похлопав меня по плечу, побежал вниз по лестнице. И эта сентиментальность, не показная, не распушенная, не любующаяся собой, украшает поэзию, приближает декларации к сердцу.

Не любовь, не гнев — главное поэтическое чувство Слущкого. Он жалеет детей, лошадей, девушек, вдов, солдат, императоров, даже немца, пленного врага, ему

жалко, хотя и принуждает себя не жалеть:

Мне что!
Детей у немцев я крестил?

От их потерь ни холодно, ни жарко!
Мне всех — не жалко!
Одного мне жалко,
Того, что на гармошке вальс крутил.

Жалко. «А все-таки мне жаль их». «Здесь рядом дети спят...» «А вдова Ковалева все помнит о нем». «Плещут вдовы их пары птицами взвиваются, сияют утреннюю зорькою, и только сердце разрывается от этого веселья горького». Стихи, глубоко присущие Слущкому. Талант, в сущности, состоит в свойстве выразить в искусстве свой характер. Зазор между характером и творчеством тем меньше, чем больше талант. У Слущкого этого зазора нет: его поэтика — это он сам.

В. Соколов говорит, что стихи Слущкого — баллады, сперва романтические, потом без романтизма. Слущкий любил сюжет. Но его стихи не баллады, а отрывки из дневника. Он исповедуется и размышляет. В его стихах есть непосредственность юношеского дневника. Он исследует себя. В этом смысле надо понимать слова Слущкого о том, что он не профессиональный поэт. Профессиональным поэтом он считал Евтушенко. Тот мог загореться от внешней темы.

Жалостливость почти бабья сочетается с внешней угловатостью и резистостью строки. Сломы. Сломы внутренние и стиховые. Болезнь обнажить ранимое нутро. Волевое усилие формы для прикрытия содержания. Гипс на ране — вот поэтика Слущкого. Попытка прояснить содержание времени, текучего, непрояснившегося, не проявившегося четкостью гипсовой отливки. <...>

Весь материал поэзии Слущкого был шит по времени, по его росту и размеру. Слущкий возликовал. Для того чтобы широко осуществиться, ему нужно было сделать одно усилие — порвать со средой, которая по интеллигентскому занудству и вездельности не умела быть счастливой и тут же начала ставить неудобный вопрос о личной ответственности; да и в надеждах была поумеренней.

Всякая среда консервативна, ибо должна сохранять себя как нечто сложившееся и усредненное целое. Среда неохотно отпускает своих завсегдатаев, а особенно кумиров. Она с трудом отпускает от себя человека. Любое новаторское действие требует разрыва, ухода из среды, освобождения от ее нравственных, политических или эстетических запретов. Я не знаю ни одной истории таланта, где бы не было выхода за рамки среды.

Среда мешала Слущкому осуществиться. Друзья всегда восхищались им. Правда, как бы часто он ни создавал для других рабочие гипотезы и мвеня, идеальным выразителем идей своей послевоен-

ной среды Слуцкий быть не мог. Да и не хотел. Ему нужна была иная аудитория. <...>

Он вновь стал деятелен и энергичен. Ввиду больших забот у меня стал бывать редко. Обнаруживал некую снисходительность. Подарил мне фотографию с надписью: «Побежденному ученику от победившего учителя». <...>

Для удобства Слуцкий тогда себе составил иерархический список наличной поэзии. Справедливости ради следует сказать, что себе он отводил второе место. Мартынов — № 1; Слуцкий — № 2. В списочном составе литературного ренессанса не было места для Пастернака и Ахматовой. Слуцкий тогда всерьез мне говорил, что Мартынов — явление поважнее и поэт поталантливее.

Субординация подвела. История с «Доктором Живаго» и с Нобелевской премией потребовала от Слуцкого и от Мартынова ясного решения — встать ли на защиту Пастернака и тем раздражить власти и повредить ренессансу либо защищать ренессанс.

После некоторого колебания Слуцкий и Мартынов публично осудили Пастернака. Мягче других, уклончивей, как тогда казалось, но осудили. Свой ренессанс оказался ближе к телу. Но тогда логика этого поступка казалась убедительней, чем сейчас. Исай Кузнецов рассказывал, что в день собрания по поводу Пастернака Евтушенко разыскивал Слуцкого, чтобы удержать его от выступления. Я о предстоящем выступлении не знал. Он со мной не советовался.

После отвратительного собрания, где все это происходило, Слуцкий, взволнованный, пришел ко мне. Принес свою речь, напечатанную на машинке. Я прочитал. И, каюсь, не ужаснулся. Так еще действовала на меня логика Слуцкого, его как бы историческая, тактическая правота.

Слуцкий сам ужаснулся, но позже, когда окончательно обрисовались границы хилого ренессанса. Он раскаялся в своем поступке. И внутренне давно за него расплатился. Поминают Слуцкому его выступление люди вроде Евтушенко или Межирова, которые никогда не были выше него нравственно, разве что оглядчивей. Почему по поводу исключения Пастернака чаще всего поминают Слуцкого, совсем не поминая Мартынова и вскользь Смирнова? Со Слуцкого спрос больший. Евгений Борисович Пастернак сказал, что Борис Леонидович Слуцкого простил бы. Слуцкий не пошел к Пастернаку каяться. Сам себя судил.

Случай этот многому научил Слуцкого, в частности развенчал в его глазах давнюю и любимую мысль о стратегии и тактике. Нет никакой тактики в нравственных вопросах. Малым грехом великой справедливости не купишь. Тактика отпущения грехов поколению закончилась продажей Пастернака. С этого момента пошел на убыль авторитет лидеров нью-ренессанса. На первый план ли-

тературного процесса выдвинулись другие фигуры.

Чтобы показать, каковы были наши с ним тогдашние споры, приведу письмо, написанное мной и адресованное ему, видимо, летом 1956 года. Разговаривать мы уже не могли. Слуцкий прочитал письмо, приехав ко мне на дачу в Мамонтовку. Сказал коротко:

— Ты для меня не идеолог.

«...Прежде всего о тактике. Если тактикой называть стремление печататься, намерение издать книгу, звучать по радио или выглядывать из телевизора, стать в ряду «наших талантливых» или «наших уважаемых» — что ж, это естественное для поэта намерение, но никакой тактики во всем этом нет, как нет ее и в моей пассивности. Это естественное проявление поэта, который считает, что он готов к встрече с читателем. И это естественное проявление свойственно и Суркову, и Захарченко, и Долматовскому, можно сказать, что в этом у всех поэтов одна тактика.

«Смешное» в тебе именно и идет от попытки убедить себя и окружающих в том, что ты занят особой тактикой, то есть неким важным, существенным для общества делом, организацией литературной жизни. Однако покуда еще масштабы этого дела более чем скромные. Шуму подымать не стоит.

Твоя тактика исходит из тезиса о том, что за последние два-три года в литературе произошли серьезные, коренные, существенные изменения, позволяющие говорить даже о некоем ренессансе, новом периоде нашей литературы, новой ее общественной функции.

Ты вписываешь в актив книгу стихов Мартынова, несколько стихов Заболоцкого, поэму Смелякова, кое-что из Твардовского, конечно, стихи Слуцкого и особенно — готовящийся сборник московских поэтов.

Даже Володя Огнев постесняется называть это ренессансом. Пока это еще слабые проблески поэзии, довольно мирной, довольно законопослушной, просто более талантливой, чем поэзия предыдущего периода. И оттого, может быть, более опасной. По сути же, она еще поэзия предыдущего периода, периода духовного плена, ибо самое существенное, что в ней есть, — это робкая попытка сказать правду о том, что уже миновало. Причем эта правда по своей остроте далеко отстоит от той доли правды, которая была высказана «сверху» о нашей политической и общественной жизни предыдущего периода.

Большого в литературе не произошло. По-прежнему она плетется в хвосте событий.

То, что Ян Котт называет «мифологией», не рухнуло, не отошло в область предания, наоборот, мифология окрепла, поумнела, перекрасилась.

И объективно твоя тактика — это камуфлирование нового мифа, поддержка

мифологии, подкрашивание ее под правду и телесный восторг по этому поводу.

Да, определенная доля правды сказана о нашей жизни, о нашей морали, о нашей экономике, о нашем правосудии. Сказана отнюдь не поэзией. Где в твоём «ренессансе» попытка разбить старые догмы, хотя бы литературные?

Правда о нашем обществе сказана по необходимости. В период культа жизнью страны управлял чиновник, обезличенный культом, исполнитель, отвыкший думать и решать что-либо. Культ снимал с него всякую моральную ответственность. И это его устраивало. Он работал на культ, культ работал на него, предоставив ему целый ряд общественных и экономических привилегий. Этими привилегиями пользовался и литературный чиновник. И он работал на культ, пользуясь привилегиями чиновника и сняв с себя моральную ответственность за свое творчество.

Осиротевший чиновник начал бороться с культом. Начал бороться не потому, что ему нравится литературная тактика Слуцкого. Борясь с культом, он борется за себя в новых условиях. И тоже называет это тактикой и даже стратегией.

А дело в том, что уже не культ, а именно он, чиновник, реально управляет государством, что государство досталось в наследство ему и он как подлинный хозяин должен сделать опись всему, что досталось ему от культа. Когда ждешь наследства, можно преувеличивать его ценность. Когда оно тебе достанется, ты узнаешь его реальную стоимость. Чиновник произвел инвентаризацию. Хозяин узнал правду о своем хозяйстве. Узнал, что оно не в блестящем состоянии. Узнал ту правду, которую способен постичь и которая необходима для дальнейшего хозяйствования. Раздавать свое имущество бедным, в том числе и бедным поэтам, он не собирается. Он считает, что реальное положение дел ему известно, и не намерен вести хозяйство каким-нибудь принципиально новым способом. Он полагает, что полезно ругнуть старого хозяина, чтобы подчеркнуть достоинство нового.

Он ведь не живет за спиной культа, ему нужен здравый свыл, практическая сметка, некое пробуждение разума.

Он критикует не только культ. Он готов критиковать и своего тупого, не применившегося к новым обстоятельствам собрата. Он вырабатывает свой идеал умного, толкового, правдивого чиновника, верного долгу, закону и так далее.

В нем самом происходят изменения, как в приказчике, ставшем компаньоном хозяина. Вот это произошло. Это действительно произошло. Произошло и другое. Он перехитрил литературу, дозволив небольшую правду себе (по необходимости), он дозволил кое-что и поэзии. Старой мифологии не хватало «чувства», «сентиментальности», «человечности», «уютю». А чиновник — тот же мещанин.

Поэтому, восторженно преклоняясь перед аляповатым величием, он в основе своей любит нечто более домашнее, сентиментальное, красивенькое.

Новый чиновник хочет, чтобы литератор стал новым, он готов дать литератору кое-какие права, соответственно своим новым потребностям.

Поэт имеет право на костюм любого покроя (не слишком экстравагантный, впрочем). Поэт имеет право на человеческие чувства, поскольку новому сентиментальному чиновнику вменяется в обязанность их иметь. Поэт имеет право не размахивать кулаками после драки, поскольку драка закончилась в пользу нового чиновника.

Вот откуда и все. Таковы объективные условия «ренессанса». Сводятся они к тому, что несколько расширились рамки печатности. Ряд новых или старых поэтов получили право жительства. Но право жительства не отменяет черты оседлости. Право жительства — еще не демократия. Право жительства каждого поэта в литературе есть его нормальное, естественное право.

В литературе создана обстановка, благоприятная для создания нового камуфлированного сентиментального мифа.

Может быть, поэзия воспользовалась этой обстановкой для чего-то большего?

Пока незаметно. Поэзия показала, что она эти годы все же существовала, текла где-то подземным ручейком, не исцезла вовсе. Но она еще поэзия «старая». Старые стихи публикуют и Заболоцкий, и Пастернак, и Мартынов, старые стихи шести- или десятилетней давности печатают многие из молодых. А новое, что написано уже сейчас, в пору ренессанса, для приспособления к нему оказывается хуже, мельче, пассивнее старых стихов. Так и у тебя.

Всего этого для ренессанса маловато.

Идеи, которые можно извлечь из поэзии последнего времени, немногочисленны и неопределенны.

Во-первых, это признание правильности происходящего. Некоторое недовольство темпами, как сам ты говоришь. Хотелось бы скорей, но можно и так. Разногласия с умным чиновником касаются частного вопроса о скорости, а не главного — о направлении.

Вот тут-то и спотыкается «новый ренессанс», тут он не идет дальше «умного чиновника». Он, по существу, крепко держится за этого чиновника, ибо так же боится демократизации, свободы мнений, свободы печати. Он опасается, что реакционные тенденции в обществе сильнее демократических. Он за постепенное административное изменение основ. Он за административный ренессанс.

Во-вторых, «новый ренессанс» хочет правды о человеке. Правды, не пугающей администратора, правды в административных рамках. А эта правда и есть сентиментальный миф.

Сентиментальный миф — это новый Симонов. Это миф о добрых намерениях

умного чиновника. Мечта об административном рае.

Кстати, это твоя давняя мечта — писать для умных секретарей обкомов. Это — одна из твоих военных тем: умный политработник, нач. отдела кадров. Отчасти это тема военных записок — толковый, образованный офицер, организующий правительства и партии в освобожденных странах.

Не продолжай этой темы — она опорочила себя.

О «новом ренессансе» говорить можно очень много. Думаю, что и сказанного достаточно, чтоб понять, что речь идет не о новых явлениях, а о новых именах и отдельных публикациях.

Стоит подумать о «честном Растиньяке».

Честного и бесчестного Растиньяка объединяет одно — инстинктивный восторг перед официальной иерархией и стремлением занять в ней место. «Честным Растиньяком» был Симонов. «Честным Растиньяком» пытался быть покойный Гудзенко с его «критерием печатного станка». И Сашка Межиров с его «хочу писать про то же, но лучше». Из всего этого не получится ни ренессанс, ни «поэзия поколения».

Та же опасность грозит и тебе. Это видно вовсе не из твоей тактики, которая вовсе не тактика, а желание печатать стихи. Это видно из стратегии, из того, что ты пишешь, говоришь, думаешь последнее время.

А это — разговор особый».

Этим письмом завершились наши серьезные разговоры со Слуцким. <...> Мы друг другу не нравились, но крепко любили друг друга. Наблюдая друг друга, думали про себя: это мне не подходит, это подходит.

Тот же Кузнецов вспоминает, что на дне рождения у Вероники Тушновой своя компания поддевала Слуцкого, особенно отличался я, называя его на «вы» и «Борисы Абрамовичи».

Не к этому ли относится фраза Слуцкого:

— Никто не доводил меня до такой ярости, как ты.

Таня усвоила со мной обычную для нашего общения с Борисом иронию. Это не было уместно. В ее тоне не было ласковой доброты, которой всегда отличалась его ирония по отношению к близким друзьям. Мы ему отвечали тем же. Ей ответить было невозможно. Может быть, ее тон означал, что я — человек из прошлого общения, а не из настоящего и будущего. Возможно, ибо круг общения Слуцкого менялся.

Прервалась дружба с Мартыновым.

Однажды спросил у него:

— Как Леонид Николаевич?

Ответил сухо:

— Я его не вижу.

После опалы Эренбурга Мартынов перестал к нему ходить. Не это ли причина разрыва с Мартыновым?

С начала 60-х годов Слуцкий заметно переменялся. У него отпало честолюбие. Перестал ездить за границу. Наверное, мог бы, если бы захотел. Перестал встречаться с зарубежными деятелями и литературоведами, знакомством с которыми до этого гордился. Отпали его энергия общения и любопытство к разным сборищам. Редко и только по крайней необходимости выступал, избегая «модных вечеров». Никогда не устраивал персональных вечеров. Никогда не занимался «пробиванием» книг. Так и умер, не издав давно положенного ему однотомника.

Близкого общения его тех лет не знаю. В начале 60-х продолжал дружить с Межелайтисом. Ценил его ум и талант. Несколько лет жил на даче рядом с Окуджавой. Жена его дружила с семьей Евтушенко. Кажется, она стремилась к «светскому» общению.

Круг общения был узок. Высоко ценил Трифонова как умного собеседника. Трифонов был одним из тех, с кем встречался регулярно.

Много уделял времени молодым. Старался помочь им, учил их. Даже однажды, помню, поехал в Софрино на семинар молодых. Вел семинар совместно с Окуджавой. К ним валили молодые с других семинаров. Выделил двух-трех по степени «левизны». Ошибся. Это с ним нередко бывало.

Говорили о суде над Бродским. Я спрашивал, почему никто из имеющих вес писателей, кроме Маршака и Чуковского, за него не вступился. Сказал:

— Таких, как он, много.

Тогда судил не по той шкале.

После отъезда Бродского говорили о нем, сравнивая его почему-то с Горбаневской, видимо, пытались определить, как его примут на Западе. Сказал:

— По погонам она намного выше.

Диссидентов Слуцкий сторонился. Они шумно разрушали его мир. Он предпочитал это делать сам. К тому же по привычке не хотел, видимо, привлекать внимание органов.

Помню — петушком налетал на него Якобсон у нас на даче. Слуцкий сердился на него. Скоро уезжал.

В начале 60-х годов мы виделись крайне редко. А одно время даже были в ссоре. Потом встретились, кажется, на вечере памяти Цветаевой и буквально бросились друг к другу. Снова стали встречаться, хотя и не так часто. Однако всегда всегда дружелюбно и приятно. В 63-м году прогнозы Слуцкого были мрачные. Перспектива хрущевской оттепели исчерпывалась. Но какое-то время в Слуцком еще оставался рефлекс деятельности.

Когда умер Иванов, Слуцкий сказал:

— Старики умирают, потеряв надежду.

С Ахматовой встречался. И она отзывалась о нем с неизменным уважением, хотя несколько отстраненно. Они не могли сойтись, и знакомство расстроилось по какому-то пустяку. Будто бы Слуцкий

где-то, говоря о тиражах поэтических книг, заметил, что Ахматова весь свой тираж могла увезти на извозчике. Один из ахматовских пажей, склонных к сплетням, передал эту фразу в искаженном смысле. На что Ахматова гордо сказала:

— Я никогда не возила сама своих тиражей.

Конечно, не это была подлинная причина их охлаждения.

После смерти и похорон Хикмета приехали к Слуцкому. Говорили о наследстве Хикмета. Слуцкий предлагал постертные гонорары отдавать тем, кому посвящены стихи. Симонов посмеялся: тогда, мол, за стихи, посвященные Серовой, должна получать она.

Мы как бы друг от друга отвыкали, а может быть, и отдыхали, уже в другом качестве — не ежедневного общения.

На одном из моих вечеров в ЦДЛ произнес очень теплое запоминающееся вступительное слово.

В 1976-м тоже, в ЦДРИ. Через год он заболел.

Часто говорят о причинах болезни Слуцкого. Говорят, что это болезнь совести после пастернаковской истории. Другие — смерть Тани.

На самом деле причин было много. Во-первых, дурная наследственность. Мать Слуцкого страдала тяжелым склерозом. Сам рассказывал. Ее привезли в Москву. Слуцкий снял дачу на Николиной горе. Однажды, прогуливая мать, встретил Людмилу Ильиничну Толстую, вдову Алексея Николаевича. Поздоровались. Поговорили. Когда расстались, мама сказала:

— А Софья Андреевна ещё совсем неплохо выглядит.

Главной болезни Слуцкого способствовали побочные. Осколок в спине, причинявший ему боли. Простуда лобных пазух, полученная на войне, в результате которой была тяжелая операция (шпрамик между лбом и носом), и тяжелейшая многолетняя бессонница. Слуцкий не спал годами. Рано выезжал в Коктебель. Купался в ледяной воде. Немного помогал.

А главная причина ускорившейся болезни — постоянное напряжение. Он напрягал всю жизнь. К докторам ходил редко — за снотворным. О болезнях не говорил. На вопрос о самочувствии коротко отвечал: «Плохо».

Несколько лет тяжело болела Таня. Однажды сказал:

— В семье должен быть один больной человек.

Этим больным была Таня.

Смерть жены тяжело на нем сказалась. Он был глубоко к ней привязан. Не из-за комфорта, ухода и прочего. Этого в доме не было, хотя и был достаток. Он просто ее любил. В ответ на его

обычное: «Ну как твои романы и адюльтеры?» — я спросил однажды:

— А у тебя есть романы и адюльтеры?

Ответил: «Есть!» Однако развивать эту тему не стал. Может, и были, но он твердо и преданно любил Таню. Их отношений я не знаю. Однажды неожиданно сказал:

— Я сказал Таньке: изменишь — прогоню.

Что-то, может быть, и было. Не знаю. Во время последней болезни сказал мне:

— После смерти Таньки я написал двести стихотворений и сошел с ума.

Это последнее напряжение окончательно сломало его здоровье. Он не сошел с ума. Он не был лишенным ума. Ум остался. Была тяжелая душевная болезнь. Вот и гадай теперь, где помещается душа. В характере его, как это и положено по классической схеме болезни, происходили заметные изменения. Например, он стал тревожиться о своем финансовом будущем, бояться бедности. Это ему не грозило, но он постоянно при посещениях говорил об этом. Это была не скупость, а еще более обострившееся чувство независимости, боязни за независимость.

Когда мы с женой впервые пришли к нему в Первую Градскую, он категорически отказался принять принесенные нами соки, фрукты, что-то еще. Так и заставил унести все обратно. Это тоже казалось ему посягательством на независимость.

Но в целом многие черты его личности остались нетронутыми. Он изображал себя более большим умственно, чем был на самом деле.

Так же внимательно, как и всегда, наблюдал за окружающими. Немало историй рассказывал о больных, лежавших с ним в клиниках. Например, об одном склеротическом генерале, который вообразил себя маршалом. Расспрашивал всегда обо всех знакомых, о событиях в литературном мире, о политических событиях. Утверждал, что не читает, но на самом деле читал, конечно, не так много, как прежде.

Когда он находился уже в Туле у брата, спросил его по телефону:

— Послать тебе новую мою книжку?

— Не посылай. Я ничего не читаю.

Я, однако, послал. Сказал мне по телефону:

— Прочитал. Это лучшая твоя книжка.

С болезнью Слуцкого окончился наш спор. Остались любовь, жалость, сочувствие.

Никого не хотел видеть. Однажды сказал:

— Хочу видеть только Горелика и Самойлова.

Публикация Г. И. МЕДВЕДЕВОЙ

Заканчивается подписка на первое полугодие 1993 года.

Подписка на журнал «ОКТЯБРЬ» принимается всеми отделениями связи и органами «Роспечати» и предприятиями связи стран Содружества.

Ф. СП-1

АБОНЕМЕНТ на газету		73293									
Октябрь		(индекс издания)									
(наименование издания)		Количество комплектов:									
на 19 ____ год по месяцам											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Куда											
(почтовый индекс)		(адрес)									
Кому											
(фамилия, инициалы)											

ДОСТАВочная КАРТОЧКА											
ИВ	место	литер	на газету журнал	73293							
Октябрь				(индекс издания)							
(наименование издания)											
Стоимость	подписки	____ руб. ____ коп.	Количество комплектов								
	пересылки	____ руб. ____ коп.									
на 19 ____ год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Куда											
(почтовый индекс)		(адрес)									
Кому											
(фамилия, инициалы)											

Подписка проводится дважды в год: сначала на первое полугодие, затем на второе полугодие; кроме того, с каждого очередного месяца.

*Подписная цена
объявлена в Каталоге газет
и журналов на 1993 год.*

**ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!**

На абонемента должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонемента проставляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи.

Читайте в ближайших номерах:

Марк АЛДАНОВ. **Десятая симфония.** Повесть.

Судьба великих людей драматична; она драматична и в славе, и в неудачах, и в общественном признании, когда талант художника опережает эпоху, остается не понятым современниками. На долю Бетховена выпало до конца испытать сию горькую чашу. Его трагическая судьба пронизывает блестящую жизнь высшего света Вены конца XVIII века. Посол России в Австрии граф Разумовский хотя и не был музыкантом, но как высокообразованный человек своего времени был едва ли не единственным, кто разглядел гениальность Бетховена и пророчески предсказал его бессмертие. Темы эти: художник и общество, забвение и бессмертие,— и положены Алдановым в основу повести.

«Спектакль не был парадным, но все венцы, знавшие толк в музыке, были в этот день в театре у Каринтийских ворот. О новой симфонии Бетховена после первой же репетиции пошли по городу странные слухи. У старика были фанатические поклонники, как Разумовский, не считавшиеся с модой. Однако и Шиндлер, и Шупанциг растерянно себя спрашивали, что же такое хотел на этот раз сказать старик. Музыканты оркестра, знавшие свое дело, только переглядывались на репетициях; некоторые вполголоса вспоминали: Вебер уже после седьмой симфонии говорил, что Бетховен вполне созрел для дома умалишенных. Вид старика подтверждал такие предположения. На репетициях он стоял подле дирижера, безумными глазами глядел на исполнителей и, вскрикивая, повторял непонятные слова. Все смотрели на него с ужасом».

«ОКТЯБРЬ»-1993

Марк АЛДАНОВ. **Начало конца.** Роман.

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.**

Михаил АРДОВ, священник. **Мелочи архи... прото... и просто иерейской жизни.** Картинки с натуры.

Борис ВАСИЛЬЕВ. **Дом, который построил Дед (Бремя выбора).** Роман, книга вторая.

Юрий ВЛАСОВ. **Тайная Россия.** Роман.

Владимир ВОЙНОВИЧ. **Замысел.** Роман.

Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс. Достоевский и современники: жизнь в документах.** Книга вторая.

Антон ДЕНИКИН. **Очерки русской смуты.** Тт. IV—V.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Мытари и блудницы.** Роман.

Руслан КИРЕЕВ. **Мальчик приходил.** Повесть.

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. **Иисус Неизвестный.** Роман-эссе.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Иван ОГАНОВ. **Венок грехопадений.**

Вячеслав СУХНЕВ. **В Москве полночь.** Роман.

Юлию ЭДЛИС. **Сия пустынная страна.** Повесть.